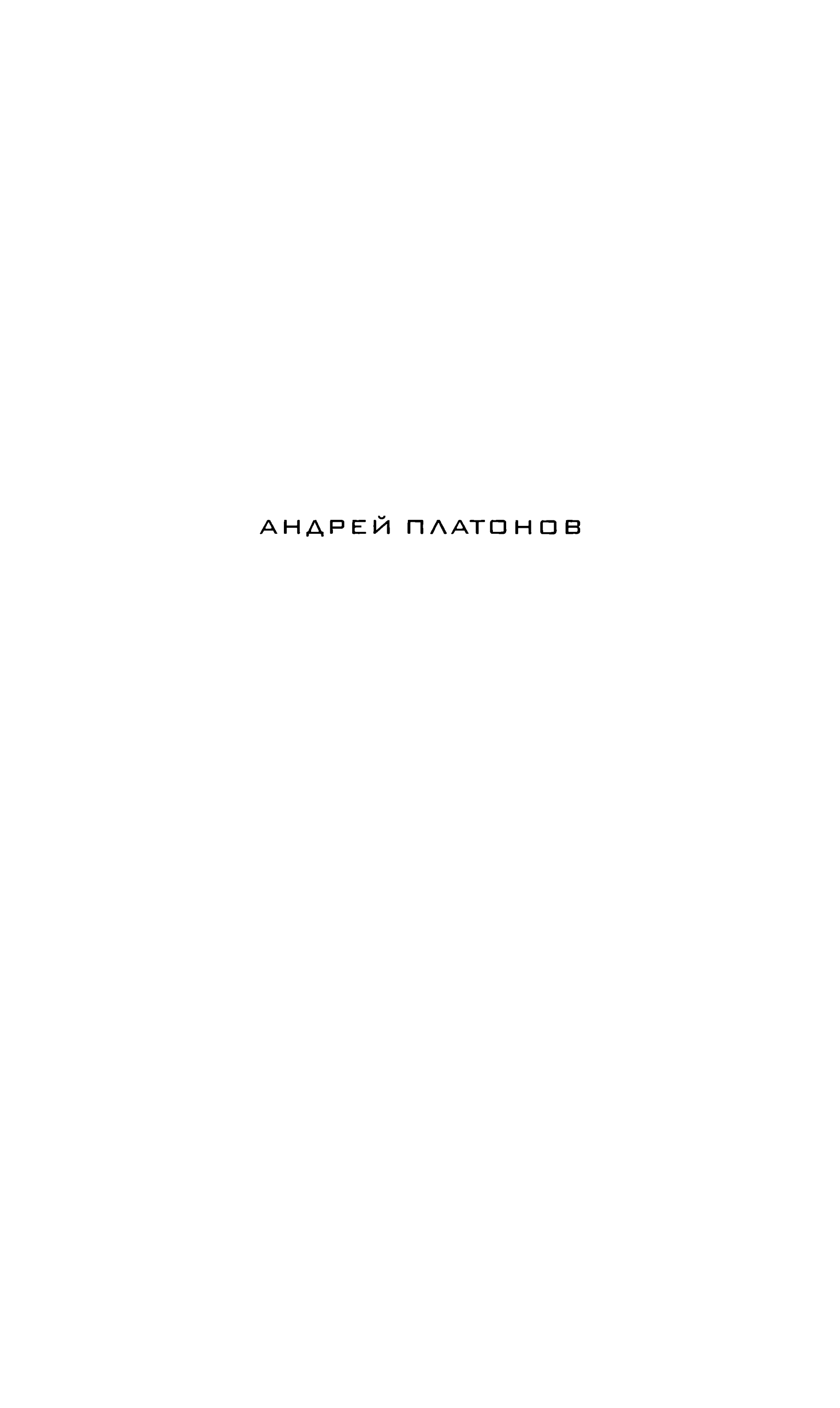
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

СУХОЙ ХЛЕБ

СОБРАНИЕ


АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

СОБРАНИЕ

Андрей Платонов

Сухой хлеб

Рассказы для детей.

Русские сказки.

Башкирские сказки

Москва
2012

УДК 821.161.1-1
ББК 84(0)5
П37

Составитель
Н. В. Корниенко

Художник
В. Я. Калныньш

Платонов А. П.
П37 Сухой хлеб: Рассказы, сказки / Сост., подготовка текста, комментарии Н. В. Корниенко. — М.: Время, 2012. — 416 с. — 2-е изд., стереотип. — (Собрание).
ISBN 978-5-9691-0729-8

В этот том классика русской литературы XX века Андрея Платонова вошли его рассказы о детях и для детей, в том числе неоконченные, а также русские и башкирские народные сказки в пересказе писателя...

ISBN 978-5-9691-0729-8

СТРУКТУРА
СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ
АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА

Усомнившийся Макар.
Стихотворения. Рассказы 20-х годов.
Ранние рассказы. Написанное в соавторстве.

Эфирный тракт.
Повести 1920-х — начала 1930-х годов.

Чевенгур. Котлован.
Роман. Повесть.

Счастливая Москва.
Счастливая Москва. Роман. Джан. Повесть.
Очерки и рассказы 30-х годов.

Смерти нет!
Рассказы и публицистика 1941—1945 годов.

Сухой хлеб.
Рассказы для детей. Русские сказки.
Башкирские сказки.

Дураки на периферии.
Пьесы и сценарии.

Фабрика литературы.
Литературная критика. Публицистика.

РАССКАЗЫ И СКАЗКИ

СЕРЕЖКА

— Это ты побил окна у Толстухи? Ты Сеньку в грязи изваляя? Говори — ты?

— Я, — хрипло, нечеловеческим голосом отвечает семилетний Сережка, стоя в недосягаемом отдалении и подбирая на всякий случай штанишки.

— Ты? Ага. Давай ухо, жабчик!

— Иди-ка к дьяволу, — с полным цинизмом советует Сережка.

— Лучше сразу давай, а то все равно догоню и отдеру, — как можно солиднее предупреждаю я.

— На-ка… Посвисти в худую варежку…

Я, большой и суровый человек, грустно ухожу домой, глубоко оскорбленный последним предложением гениального Сережки и не менее глубоко уверенный в страшной быстроте его ног.

— Ах, Сережка, Сережка, — печально шепчу я, — и что ты за тварь такая, черт тебя подери совсем… — Понемногу я прихожу в одинокую дряблую ярость.

Ночью вспоминаю текущую Сережкину деятельность и скандалы, предстоящие на завтра.

— Посвисти-ка в худую варежку, — вспоминаю я, засыпая в сокрушении…

Под утро снится лавочник Пухлопупов (рыжий старик в овечьей шапке) и пустой сморщенный бабий чулок.

ТЕЧЕНЬЕ ВРЕМЕНИ

На окраине Тифлиса не очень давно, лет двадцать тому назад, стоял небольшой дом, построенный из глины и горного бросового камня-плитняка, внутри дома была одна комната с земляным полом, там сидела за деревянным столом молодая грустная женщина и шила белую материю. На столе всегда — день и ночь — горела керосиновая лампа, потому что на лавке у стены лежала беспомощная слепая старуха, мать белошвейки. Старуха глядела смутными выморочными глазами на свет огня и чувствовала его, он ей

нравился, как утешение, как брезжущий голос из темного мира. Дочь любила мать и тратила деньги на керосин за счет увеличения своего труда и экономии пищи. К ней никто не приходил в гости, и она не имела таких знакомых, которые любили бы и развлекали ее, и ей приходилось изредка улыбаться лишь про себя — неизвестно отчего: может быть, оттого, что сердце не терпит непрерывно печали и иногда способно выправляться и потягиваться само по себе. Женская и человеческая прелесть еще хранилась в ней, но утомление и жалобная нужда, как старость, уже затуманили ее лицо, и оно стало невидимым или неинтересным для всех людей.

Через два дня в третий белошвейка носила в город работу и брала материал; тогда она — во время пути — отдыхала, видела природу и прохожих, разные чужие вещи, высокие горы и воображала в душе чью-нибудь другую жизнь, непохожую на свою, чтобы быть счастливой в своем уме.

На дворе и в близкой окрестности от дома бегала и занималась ее дочь, одиннадцатилетняя девочка Тамара. Девочка жила всегда одна, как круглая сирота, потому что матери некогда было играть с нею; мать еле успевала работать, чтобы кормить дочь и старуху, она спешила шить так скоро, что забывала чувствовать свою любовь к дочери, хлеб ей казался важнее материнства.

Вечером Тамара возвращалась в комнату. Мать ей стелила на полу под лавкой, на которой лежала слепая бабка, и дочь засыпала. Всю ночь ей светила лампа в лицо, всю ночь в одном окне в Тифлисе горел свет, и молодая женщина шила бледными руками по белому, готовя платье и украшение всем спящим и богатым. Кругом жилища близко находились Кавказские горы, точно остановившиеся на ночь. Днем же, во время солнца, казались удаляющимися; по ним было видно, как уходит свет и время.

Наутро Тамара съедала мучную лепешку с черным чаем, потом размачивала другую лепешку в блюдце и кормила слепую старуху. Старуха, наевшись, снова глядела мертвыми глазами на горящую лампу и согревала лицо о ее слабый свет; она опять спала и умирала. Ее дочь весь день сидела одна около лампы и шила — иногда до полуночи, иногда до утра.

Тамара скрывалась по своим детским делам, но она там не веселилась, в одиннадцать лет она уже жила разумом всех бедных — воображением. Она видела игрушку в руках подруги и, не подходя к ней близко, думала втайне, что эта игрушка — ее и она уже держит ее в своих руках и наслаждается радостью. Если взрослая русская девушка ехала на велосипеде, Тамара считала, что тот велосипед также ее, и она, притаившись в закоулке, трогала руками воздух, где стоял ее велосипед. Она присваивала себе все, что ей нравилось в мире, что могло любить ее любопытное, скупое сердце, которое не могло жить пустым и постоянно должно быть занято собственностью. Однажды Тамара разглядела старую брошенную картинку на чужом дворе, на той картине была нарисована красками небольшая гора, — гора стояла среди далекого вечера, покрытая жалким лесом, с какою-то избушкой на краю леса, и в той избушке уже зажгли ночной огонь. Тамара стала думать мечту, что она скоро будет жить в той избушке, это ее будет дом, и что вся гора с лесом — ее царство и страна, где ей станет хорошо.

Один раз слепая старуха сама закрыла глаза и попросила дочь, чтоб она потушила лампу и не жгла больше керосин. На дворе был летний полдень. Белошвейка пригасила лампу и подошла к матери.

— Поверни меня, — попросила старуха.

Дочь переложила мать лицом к стене, и старуха умерла.

Белошвейка потушила лампу и села снова шить, но заметила, что без лампы она отвыкла видеть: ее глаза слезились и мучились. Тогда она снова зажгла лампу, свет солнца в маленьком окне ей был больше не нужен.

Через полгода белошвейка купила вторую лампу — света одной лампы ей стало мало, но глаза ее все более теряли чувство, она слепла и работала сейчас только по случайным заказам. Магазины ей отказали, потому что она путала рисунок на шитье и не видела правильного размера.

Тамара ела теперь один раз в день, и не мучную лепешку, а кукурузную: что ей не хватало, то она доедала в траве, на которой росли под листьями мелкие пышки.

На ночь Тамара завязывала матери глаза платком, чтоб они не текли слезами, а сама начинала шить, но не умела и портила материал.

— Тамара, — говорила ей мать с завязанными глазами, — нам завтра нечего есть. Вылей из лампы керосин и пойди его продай.

— Не надо, — сказала Тамара. — Отдай меня лучше замуж. Муж меня будет кормить, я наемся, а остаток тебе принесу. Тогда мы опять будем живы.

Но мать не хотела отдавать Тамару замуж; она все еще шила, выходя с работой на солнце, потому что керосину для лампы покупать было не на что. Из глаз ее теперь шел гной, и она утирала его белым материалом. Тамара замывала потом зеленые пятна на драгоценных кофтах, но следы пятен все же оставались, и заказчицы перестали вовсе давать работу невидящей белошвейке.

Тамара в это время забывала воображать что-нибудь для счастья и покоя своего сердца, она жила несчастной и злой, занятая сбором съедобных пышек в траве. Их нужно было собрать несколько тысяч штук, чтобы дать матери и поесть немного самой, а то будет смерть.

Вскоре мать Тамары нашла ощупью палку на дворе и пошла по соседям. Она сказала им, что хочет выдать Тамару замуж: нет ли у них жениха на примете.

Вечером к Тамаре пришел старик, он поговорил с белошвейкой, а потом попробовал руками туловище девочки и согласился взять ее в жены. Он обещал прийти на другой день и принести невесте длинное платье, а потом будет свадьба.

Тамара проспала ночь, а утром убежала в подвал, где жила лиса и была ее нора. Тамара выгнала лису, а сама залезла в ее нору и целый день не выходила оттуда; она давно уже не росла от слабости и была худая, поэтому вся поместилась в норе, оставив наружу одни ноги. Мать и старый жених ходили, искали ее повсюду, пока старик не заметил, что по двору ходит бесприютная лиса и не знает, куда ей деться. Тогда он сказал белошвейке, почему ходит без места эта смирная лиса. Мать Тамары поняла и научила старика, где искать Тамару, и вскоре старик вытащил девочку за ноги

из лисьей норы. Тамаре показалось, что у старика нет подбородка; она от этого заплакала, потому что хотела за что-нибудь любить мужа в своем воображении и уже заранее считала его своей любимой вещью, как чужой велосипед, куклу и гору с избушкой на картинке.

С вечера белошвейка начала обряжать Тамару в длинное платье, принесенное стариком, пряча и закутывая ее тело ото всех навсегда ради мужа, и велела ей плакать.

Но Тамара не знала, отчего ей плакать. Она думала, что завтра с утра ее начнет кормить муж, и уснула, воображая и придумывая, что значит любовь.

После свадьбы Тамара осталась одна в богатом доме мужа. Старик сам раздел свою жену и положил спать на большую постель. Затем он стал трогать ее и приговаривать нежные маленькие слова. Тамара молча смотрела на старика, удивляясь, что он дурак.

— Ты играешь в меня? Думаешь, что я твоя? — спросила Тамара.

— Играю, — сказал старик, — отчего ты такая глупая?

— Ни отчего. Я еще маленькая, не привыкла жить.

Мать Тамары жила отдельно, и старик не велел, чтобы она ходила в гости к дочери. Тамара каждый день носила ей тайно пищу, а когда муж узнал и обиделся, тогда Тамара поцарапала ему ночью шею, и он больше не обижался. Через год тело Тамары разрослось, в нем что-то шевелилось и стучало, — она думала, что скоро разорвется и умрет. Она плакала и боролась с невидимым страшным существом, которое завелось в норе ее тела и грызло его изнутри, сосало кровь и силу, не оставляя для Тамары ничего — ни чувства, ни сердца, ни мысли в уме. Иногда она била в злости и слабости кулаком по своему животу и говорила: «Выходи оттуда скорее, чертенок, а то я умру, и ты не успеешь жить!»

Среди одного дня ей стало вдруг трудно, точно у нее внутри сразу схватили все жилы и начали их вытягивать. Она выбежала на двор, в сад и стала кататься по траве, пока не забыла, что живет. Очнулась она среди людей, на постели, чувствуя себя хорошо и пусто, но скучно без привычного мучения. Ей сказали, что она родила двух девочек: одну — мертвую, другую — живую.

Тамаре было тогда тринадцать лет. С тех пор стала она играть со своей дочерью и ночью спала с ней рядом, а муж-старик из ревности, что его мало ласкает жена, бросил однажды в Тамару горящую лампу, но лампа ударилась о голову жены и потухла. По ночам, как ни кричал ребенок, прося сосать, Тамара не могла проснуться, пока девочка не подросла немного и не научилась впиваться матери руками в глаза, открывая ей спящие веки. Тогда Тамара просыпалась, кормила и целовала свою дочь: ей нравилось, что она тоже могла думать, и она удивлялась, что она живая. Днем Тамара уносила дочь к своим подругам-девочкам и там наряжала ребенка в тот предмет, в который шла игра: в куклу, в старушку, в мать или дочку. Ребенок и сам скоро привык ко всем играм и занимался наравне с матерью с общими подругами.

Мать Тамары по многим дням теперь сидела не евши, потому что ребенок иногда болел и Тамаре нельзя было отойти от него; в такое время Тамара откладывала со дня на день посещение матери, утешая себя, что старухи долго терпят без еды и умирают нескоро. Но мать Тамары не вытерпела, она взяла палку и пошла к дочери сама: шла она целых полдня и дойти не могла — она заблудилась в переулках, попала в крапиву на чужом дворе, стала в ней биться, ослабела и пролежала в густой траве несколько дней; ее там нашли уже умершей.

Муж Тамары все время хотел, чтоб жена родила ему сына, и он раздражался, отчего она не починает нового ребенка. Думая, что это виновата жена, старик ее стал бить и наказывать. Дочь Тамары, тоже Тамара, научилась теперь понемногу разговаривать: она видела, как старик обижает ее старшую подругу, и советовала ей:

— Тамара, давай пойдем играть, а тут не будем. Ты сама говорила — дедушка сукин сын. Не надо тут жить.

Слово «мама» маленькая Тамара не говорила.

В одну ночь старик, изможденный немощью своей любви, в злостной и тщетной страсти ударил Тамару кинжалом в бедро, но кинжал был туп и твердому бедру ничего не сделалось. Наутро Тамара вынула деньги из комода, взяла девочку за руку и пошла на вокзал. Муж еще спал, душа его

закатилась глубоко от истощения любовью, и поверхность тела была неподвижная и холодная, как у покойника.

Тамаре рассказывали другие девочки, что где-то есть Россия и туда можно уехать на поезде. Там женщины могут жить одиноко, никого не надо любить, никто ее не найдет и не узнает.

На вокзале Тамара попросила:

— Дайте билет в Россию.

Ей дали билет в Ростов, и она уехала с дочерью из Тифлиса.

В Ростове ей сказали, что Россия не здесь, а дальше. Тамара заплакала, что далеко ехать, но потом поехала дальше и приехала в Москву.

В 1918 году Тамара сошла в Москве на Казанском вокзале: ей тогда было около шестнадцати лет, а маленькой Тамаре три года. По-русски Тамара ничего не знала, села на платформе и стала плакать. Она привыкла к этому способу разговаривать с людьми, когда жизнь была непонятна. Ее окружили люди, начали спрашивать и утешать — не ради нее самой, а соревнуясь друг перед другом своей добротой.

Тамару отдали работать на швейную фабрику, а ее девочку поместили в приют. В приюте когда давали есть, а когда нет. Маленькая Тамара если сильно хотела есть и боялась смерти, ходила в Москве по улицам и просила у милиционеров, чтоб они дали ей поесть. Некоторые милиционеры водили ее в столовые обедать, некоторые прогоняли прочь. В пять дней раз мать приходила в приют и просила дочь прожить как-нибудь; если же она умрет от голода, старшей Тамаре будет очень скучно.

Через два года маленькую Тамару стали учить грамоте, а мать ее стала мастером на швейной фабрике. Теперь голод уменьшился, старшая Тамара пополнела и стала опять расти, что не доросла в Тифлисе, а маленькая Тамара опухла и увеличилась вдвое.

Старшей Тамаре дали квартиру грузинского князя, и она взяла к себе дочь из приюта. Однажды к ней явился старик-муж: он разыскал ее постепенно, в долгое время. Тамара бросила в мужа кинжал грузинского князя, и старик убежал обратно.

Научившись грамоте, большая Тамара поступила в техникум, а маленькая в ФЗУ. Окончив эти школы, две Тамары вместе поступили в высшее техническое училище, только в разные: младшая хотела быть механиком, а старшая — текстильщицей — в память о матери и на пользу Родине.

В 1934 году обе Тамары стали инженерами; одной из них шел тридцать второй год, другой — двадцатый. Они были похожи друг на друга и красивы. Их женихи долго колебались в выборе, не приходя к решению и бесцельно утомляя свою душу. Младшая Тамара не помнила Тифлиса, не сознавала ничего из погасшей ранней памяти, она жила в одно будущее. Старшая же помнила все: она купила себе керосиновую лампу и изредка одна сидела перед нею. У нее еще было живо воображение — ум бедняков; и если разум обращался в будущее, то чувство могло возвращаться в прошлое, все более удаляющееся, жалкое, как свет лампы перед слепнущими глазами.

ИЮЛЬСКАЯ ГРОЗА

Долго шла девятилетняя Наташа со своим меньшим братом Антошкой из колхоза «Общая жизнь» в деревню Панютино, а дорога была длиною всего четыре километра, но велик мир в детстве... Наташа попеременно то несла брата на руках, когда он жалостно поглядывал на нее от усталости, то ставила обратно на землю, чтобы он шел своими ножками, потому что брат был кормлёный, тяжелый, ему уже сравнялось четыре года, и она умаривалась от него.

По обочинам жаркой, июльской дороги росла высокая рожь, уже склонившая голову назад к земле, точно колосья почувствовали утомление от долгого лета и от солнца и стали теперь стариками. Наташа с испугом вглядывалась в эту рожь, не покажется ли кто-нибудь из ее чащи, где обязательно кто-нибудь живет и таится, и думала, куда ей тогда спрятать брата, чтобы хоть он один остался живым. Если ему надеть свой платок на голову, чтобы Антошка был похож на девочку — девочек меньше трогают, — тогда бы лучше было; или спрятать его в песчаной пещере в овраге, но оврага тут нигде не встречалось, он был около их колхозной деревни. И стар-

шая сестра повязала брату платок на голову, а сама пошла простоволосая, так ей было спокойнее на душе.

Рожь медленно шумела около тихо бредущих по дороге детей. Безоблачное небо, туманное и бледное от пустой полуденной жары, казалось Наташе печальным и страшным; она вспомнила ночь со звездами над избою и двором, где она жила в колхозе вместе с отцом и матерью, и решила, что ночью интересней и лучше; ночью поют в колхозе одни добрые кроткие сверчки, квакают лягушки в запруде, и сопит бык, ночующий в скотном сарае, — и там нет ничего страшного, там мать выходит на крыльцо и зовет ее на разные голоса, как будто причитает: «Наташа, иди ужинать, тебе спать пора, чего ты звезды считаешь, завтра опять день настанет, успеешь еще пожить!»

Наташа крепче взяла Антошку за руку и побежала с ним мимо ржи, чтобы скорее увидеть избы деревни Панютино, где жили бабушка и дедушка. Но брат скоро уморился, он упал в пыль и заплакал, а Наташа не догадалась сразу оставить его руку и нечаянно проволокла Антошку немного по земле. Взяв брата снова на руки, утешив его от слез, Наташа взошла с ним на возвышенность кургана. Здесь рожь росла низкая, потому что земля была худая, и отсюда было далеко видно, как идут поверху ржаных полей темные волны ветра и как светится льющийся воздух над озаренными полосами хлеба, которых сейчас не покрывала тень ветра. Наташа огляделась вокруг — когда же будет Панютино? — и увидела крылья мельницы, подымающиеся из-за дальних хлебов и вновь уходящие в них. Девочке теперь стало не так страшно находиться под безлюдным солнцем, в грустном шуме ржи и в тишине ровного полуденного ветра, доброту которого она ясно чувствовала своим лицом и всем телом. Наташа вздохнула с утешением — вон уже видна мельница, там мелют зерно, это, наверно, дедушка привез мешок: он знает, что придут внучка со внуком и надо испечь блины из новой муки; старая мука ведь уж вся вышла у них, и из нее плохо всходит тесто, а блины получаются не такие праховые и ноздреватые, как из свежего помола.

Наташа понюхала воздух: пахло соломой, молоком, горячей землею, отцом и матерью. Это было ей знакомо и мило,

и девочка понесла брата дальше; он теперь обнял сестру вокруг шеи и дремал, свесив голову за плечо Наташи.

И они пошли вдаль по дороге, пролегающей во ржи. Вдруг Наташа вскрикнула и остановилась. Из глубины хлебов вышел к детям худой, бедный старичок с голым, ничем не заросшим, незнакомым лицом; ростом он был не больше Наташи, обут в лапти, а одет в старинные холщовые портки, заплатанные латками из военного сукна, и он нес за спиной плетеную кошелку со щавелем и крапивой, что годится для щей, — эту траву он нарвал по пути ради занятия. Старик также остановился против детей. Он грустно поглядел на Наташу бледными, добрыми глазами, уже давно приглядевшимися ко всему на свете, снял шапку, сваляннную из домашней шерсти, поклонился и прошел мимо. «Нестрашный! — подумала Наташа про старика. — А пусть бы только тронул, я бы сама ему дала изо всех сил, он сразу бы умер... Некормленый, маломочный какой-то, наверно — нездешний!»

А старичок тот, отошедши ко ржи, осторожно посмотрел на миновавших его детей. Ему запомнилось лицо Наташи — ее серые, чуткие, задумчивые глаза, внимательно открытый, дышащий детский рот, полные щеки и светлые волосы, обгоревшие на солнце и иссушенные полевым ветром. «Хорошая будет крестьянка!» — решил старик. Теперь он старался разглядеть ребенка, которого несла девочка. «И этот на нее похож, — увидел прохожий. — Сомлел и спит. А что ж ему!» — и старик пошел прочь, уставившись глазами в земляной сор и мелкую траву на дороге. Когда он видел лица детей, ему хотелось или тотчас умереть, чтобы не тосковать по молодой, по будущей, счастливой жизни, или уже остаться жить на свете постоянно, вечно. Но жить постоянно — разве это управишься, разве это ему посильно, да и охоты уже нету такой как прежде, и земля как будто наскучила, но иногда ему казалось что настоящая охота жить только и приходит в старости, а в молодых годах этого понятия нет, тогда человек живет без памяти...

Больше всего старику было жалко детей, и он чувствовал, как от них входит в его сердце томительное, болящее счастье, все еще и до сей поры малознакомое и не прожитое, будто оно было забыто за недосугом, но само по себе давно ожидало его.

Прохожий старик сел в тень, поближе к растущему хлебу, чтобы одуматься. А одумавшись, он хотел заплакать, но передумал. «Еще чего! — прошептал он вслух, — живи, старый человек, старайся! О-го-го, я еще кум королю! Чего мне, — тело мое цело, оно при мне, харчей полна изба, я не пьющий, не болящий!..» И старый человек с удовлетворением прилег около ржи, положив свою голову на кошелку с травой. Ходить ему сейчас было жарко и незачем; бумагу в колхоз «Общая жизнь» он отнес аккуратно и теперь уморился, а время у него еще есть впереди: летний день велик, ко двору успеет воротиться. Уже задремав, старик все еще чувствовал сладость в сердце, вспоминая встреченных детей, прошедших молча и робко мимо него, но точно призвавших его к бессмертной, далекой жизни вместе с собою.

Душный ветер умолк над рожью — стало тихо, как перед грозою или перед великой сушью; и старик тоже умолк, он уже спал, снедаемый мухами и муравьями, ползавшими по его ко всему притерпевшемуся лицу.

Дед и бабушка Наташи жили в деревянной избушке на краю деревни Панютино. От их дворового плетня начиналось общее ржаное поле, и туда, в это поле, уходила дорога, ведущая сначала в колхоз, где жила дочь стариков, мать Наташи, а затем дальше — в другие большие поля, заросшие хлебом и лиственными лесами, орошаемые светлыми реками, утекающими в теплое море... Бабушка Наташи, Ульяна Петровна, с самого утра время от времени выглядывала за ворота, не идет ли ее внучка со внуком. Она еще третьего дня наказала бабе-почтальонше, чтоб почтальонша непременно зашла к ее дочери в колхозе с тем, чтобы дочь отпустила внучку со внуком погостить в Панютино. «Должно, почтарка забыла к дочке зайти, — думала Ульяна Петровна, вглядываясь в пустую жаркую дорогу во ржи. — А ведь ей полтора трудодня за день пишут: ишь ты, льготная какая! Ходит, пыль подолом сгребает — только и делов... Либо в совет пожаловаться на нее, что ль!.. Да чума с ней, пускай ходит-мечется, бестолковая!» — и бабушка закрыла калитку.

Еще с утра, спозаранку она наложила солому в печь, а белое тесто стояло со вчерашнего вечера, и бабушке уже два раза приходилось откладывать его из горшка в глиняную

чашку — за ночь тесто взошло своим избытком через край. Все было готово, чтобы начать печь блины, но гости еще не пришли и свой старик как ушел с самого утра на озеро рыбу ловить, так и пропал. Наверно, опять сидит в кузнице у кузнеца и разговаривает не о деле. Им чего же: один врет, другой поддакивает; ведь ее старик всему верит, ему лишь бы самому было жить интересно и удивительно, а как другие на самом деле живут, он не знает. Он только и ждет, только и надеется, что в мире случится что-нибудь: либо солнце потухнет вдруг, либо чужая звезда близко подлетит к Земле и осветит ее золотым светом на вечное заглядение всем, или на бросовом неудобном поле вырастет сама по себе сладкая, питательная трава, которая пойдет на пользу людям, и ее не нужно будет сеять, а только жать.

Ульяна Петровна посмотрела тесто и тяжко вздохнула: «Как я жизнь прожила — с таким мужиком!.. Ему никогда ничего и не надо было, а всего-навсего сидеть где попало да беседовать с людьми о самой лучшей жизни, что будет и чего не будет, а дома смотреть на свое добро и думать — когда ж это в огне сгорит или в воде потонет, когда все переменится, чтоб ему нескучно было!.. А так он добрый, непривязчивый и меня терпит».

Бабушка старательно помешала чистое тесто: уже пора была из него печь блины, а то оно перестоится и закиснет. Нужно, чтобы хлеб остался целым и вкусным, — чем же другим ей было приветить внучку, внука и своего старика? Что есть еще на свете более необходимое, чем это ее бедное угощение? Она не знала... Бабушка не старалась выдумать что-либо другое хорошее или более лучшее, она лишь могла поставить тесто, испечь хлебы или блины, чтобы накормить родню, и сесть на лавку, когда все наедятся, пригорюнившись в утешении. Она не понимала, как еще жить по-хорошему, ей ничего и не надо было более. Пусть все поскорее соберутся вместе в одну избу, пусть будут здоровы ее дочь со своим мужем и растут счастливыми внуки, — чего еще мучиться, и так хорошо.

Ульяна Петровна запалила солому в печке, но тут услышала, что на дворе закричал чужой петух, постоянно приходивший от соседей, чтобы бить петуха бабушки и пользоваться ее курами. Ульяна Петровна была ревнива к своему

добру — она схватила веник и пошла отогнать хищника. Прогнав петуха, бабушка оглядела улицу и дорогу, ведущую в ржаное поле, — может, кто-нибудь покажется. Но не было никого, лишь волнами плыла жара по земле да старые привычные избы стояли по деревне и копались пыльные соседские куры в дорожной колее, и бабушке стало вдруг скучно и жутко, точно она посмотрела не на белый свет, а в кромешную тьму. Тогда Ульяна Петровна затворила калитку и пошла печь блины. Первый блин сразу получился хорошим — и недаром: уж сколько их испекла бабушка на своем веку — они сами у нее румянились и обратно из огня просились, только есть их сейчас было некому. Сама Ульяна Петровна свою стряпню всегда ела последней; она брала себе остатки и поскребышки и пекла из них, что выходило, чтоб не пропадало добро, — вся пища была для нее одинаково хороша.

В окно кто-то слабо постучал с улицы. «Либо побирушка! — подумала бабушка. — Да они теперь уж и ходить перестали, а то бы я дала блин человеку — нынче урожаи большие пошли, говорить нечего». Она вынула сковороду из огня, чтобы блин не подгорел, и пошла к окошку. В окно смотрела внучка Наташа; за спиной у нее, обхватив ручками шею сестры, находился Антошка, и он спал сейчас, положив большую голову в сестрином платке на плечо Наташи, так что девочка вся согнулась от тяжести брата; одной своей рукой она удерживала обнимавшие ее руки Антошки, чтоб они не разлучились, а другой ухватилась за его штанину, чтоб ноги мальчика не висели в воздухе и он не сползал вниз. Наташа прислонила брата ногами к завалинку, освободила свою руку и еще раз тихо постучала в окно.

— Бабушка, — сказала она, — отворяйте, мы к тебе в гости пришли.

Ульяна Петровна заметила, что Наташа, чем более подрастает, тем делается лучше и задумчивей с лица и все более походит на нее, когда бабушка была девушкой. Тронутая такой добротой жизни, которая снова повторила ее во внучке, чтобы каждый, посмотрев на Наташу, вспомнил бы Ульяну Петровну после ее смерти, — утешенная и довольная, бабушка сказала:

— Ах вы, бедные мои! Ну идите в избу скорее, чем же мне жить-то, кроме вас!

В избе бабушка хотела уложить Антошку на кровать, но он потянулся и открыл глаза.

— Бабушка, — сказал он, — испеки нам блины. А то мы шли-шли...

—Да уж они давно готовы, — ответила бабушка. — Садись на лавку, я сейчас тебе новых испеку, старые остыли.

— И холодную квашонку давай, — попросила Наташа, — мы в нее блины будем макать.

— Сейчас, сейчас... Сейчас я у печки управлюсь и в погреб схожу, — говорила бабушка, — а потом оладушек вам наделаю, чаю согрею, а дедушка придет — обедать будем; я квасу вчера поставила, холодец сварила: чего же еще надо-то!..

— Еще варенье земляничное и грибы, — сказала Наташа.

— И то, милая, и то, а то как же! — вспомнила Ульяна Петровна и пошла в выход за припасами, обрадованная, что добра у нее много и есть кого кормить.

В избе пахло горячей землей, сытными печеными блинами и дымом, а за окном светило солнце над незнакомой травою чужой деревни.

— Не сопи! — сказала Наташа Антошке. — Ты к бабушке в гости пришел, чего ты сопишь? Дай я тебе нос вытру...

Антошка умолк, он перестал сопеть и лишь понемножку дышал, сидя на лавке у пустого стола. Наташа заглянула в бабушкину светлую горницу. Там было чисто, скучно, две жирные мухи бились в оконное стекло, жужжа жарким жалящим звуком, большая керосиновая лампа висела над столом, убранным вышитой скатертью как на праздник, кто-то стучал по сухой бочке далеко на деревне, нагоняя обруч, и заунывная жара светила в окно. Наташа подошла к углу, оклеенному газетами и картинками, чтобы посмотреть и почитать, что там есть. Одна картинка изображала дедушку, он был снят на карточке. Дедушка был молодым, с черными усами, в брюках, в жилетке, с цепочкой часов на груди, волосы на его голове были гладкие, как облизанные, и он был весь как богатый или городской, или как тракторист осенью, и глаза дедушки смотрели задумчиво вдаль по-умному... Дедушка сидел на голой высокой скамейке,

сделанной из кирпичей или камня, как памятник; одна нога дедушки доставала до земли, а другая нет, и он сидел неохотно, как будто нечаянно, не замечая вовсе, что на земле возле него валяется гитара, повязанная бантом. Позади дедушки росла роща, и в той роще был еще белый дом, красивый и большой, как Дворец пионеров, но дедушка не смотрел на него. Он поднял одну свою руку, в которой был револьвер, приставил револьвер к голове и держал его там, готовясь убиться, а другая его рука была положена на колено, где находился конверт с письмом, глаза же дедушки смотрели вперед хотя и задумчиво, но весело... Что ж это такое? Наташа еще не знала такой жизни больших людей...

Она села на стул у стола со скатертью и стала разглядывать рисунок вышивки; у них дома такой скатерти не было, а им и не надо: мать Наташи каждый день моет стол и скребет его ножом; у них и так чисто и хорошо. Петухи закричали на деревне, сначала один, потом другой и сразу все, и наседки заквохтали, собирая поближе к себе цыплят, поднялся ветер на дороге и понес душную пыль в пустые места.

— Наташка, меня мухи едят, иди сюда, — позвал сестру Антошка из другой комнаты.

— Пусть едят, сейчас приду, — ответила Наташа.

Она подошла к окну и прислонилась лицом к стеклу; ей хотелось увидеть на улице что-нибудь знакомое или родственное, как у них в колхозе были ей знакомы плетни, трава и деревья. Но под окном бабушки рос один только маленький куст; его листья были покрыты пылью, он слабо шевелил ветвями, он истомился от жары и суши и жил точно во сне или как умерший, чужой и грустный для всех, которому не нужен никто. Если бы Наташу оставили здесь жить навсегда, она бы умерла от печали.

— Отведи меня домой, я к маме хочу, — попросился Антошка.

Наташа вернулась к брату; он сидел скучный и оробевший.

— Я хочу к нам домой, — сказал он. — Не надо блины, я кашу буду, ее мама вчера варила...

Наташа взяла один остывший блин с загнетки и спрятала его себе за пазуху.

— А то ты в дороге есть захочешь, ты всегда не вовремя просишь, — сказала Наташа брату и подняла его к себе на руки.

Бабушка еще была в погребе; низкая обомшелая дверь, ведущая в выход, обложенный сверху дерном, была открыта; старуха там говорила что-то себе на утешение и двигала кладью, доставая, наверно, варенье из потайной посуды. Наташа подошла к выходу и поглядела, куда скрылась бабушка. В погребе было темно, ничего не видно, и бабушка бормотала во тьме свои слова — должно быть, о том, что ей не хочется умирать, но она и так все время живет и живет.

Чтобы не загреметь калиткой (она еще вдобавок жалобно скрипела в петлях, будто ей было больно отворяться), Наташа, прижав к себе брата, направилась по тропинке на картофельный огород и оттуда через прясло вышла к ржаному полю.

Рожь росла тихо. В жаре и безмолвии колосья склонились обратно к земле, словно они уснули без памяти, и тень тьмы нашла на них с неба и покрыла их на покой. Наташа оглянулась в незнакомом поле, желая увидеть, что застило солнце. Дальняя молния в злобе разделила весь видимый мир пополам, и оттуда, с другой стороны, что за деревней Панютино, шел пыльный вихрь под тяжкой и медленной тучей; там раздался удар грома, сначала глухой и нестрашный, потом звук его раскатился и, повторившись, дошел до Наташи так близко, что она почувствовала боль в сердце.

Наташа вошла в рожь, чтобы спрятаться с Антошкой. Она хотела было наискось пробежать по ржи к дороге и по той дороге уйти от тучи домой к отцу и матери, но затем передумала, потому что боялась помять хлеб, и пошла по обочине ржи. Антошка уже заметил все, что делается вдали, — и тучу, и вихрь, и молнию; он прижался к сестре и спрятал свою голову около ее горячей, как у матери, шеи.

Наташа вышла на дорогу и побежала по ней домой от бабушки. У Антошки болтались ноги, он бил ими нечаянно по сестре, но он старался сидеть спокойно и крепко держался — больше ему сейчас некуда было деться.

Наташа спешила изо всех сил, ей лишь хотелось бы только донести Антошку домой, чтобы их не застала буря и гро-

за в чистом поле. Но рожь все еще была тихой, ветер сюда не дошел, — и, может быть, все обойдется, может быть, страшная туча истратится вся в дальнем месте и после нее откроется ясное прохладное небо. Наташа приостановилась, послушала, как все было смирно и сонно вокруг нее, как сухо звенели кузнечики, утихая постепенно, потому что тень и тишина все более покрывали землю и кузнечики думали, что наступает ночь, а затем Наташа пошла помаленьку вперед. Антошка молчал: он боялся того, что с ним будет теперь, но его интересовали туча и молния, и он хотел, чтобы случилось что-нибудь страшное, а он бы посмотрел, но только не умер. Антошка глядел через плечо сестры назад, на деревню, он еще видел избушку бабушки, и можно было туда вернуться, но он зажмурил глаза, испугавшись, что рожь вдалеке, начиная от бабушкина двора, вдруг пригнулась и полегла — на нее нашла буря.

— Наташка, спрячь меня поскорее куда-нибудь, — сердито сказал Антошка, — иль ты не видишь, что такое делается, полоумная какая!

— Дай вот домой дойти, я тебя там нашлепаю, — пообещала брату Наташа.

— Мы домой не дойдем, нас гром убьет, — прошептал Антошка. — Неси меня скорее, опять ты шагом идешь! Ты бежи!

Вихрь настиг детей и ударил в них песком, землей, листьями, стеблями травы и деревенским сором. Наташа спряталась с братом в рожь и села там на землю; но ветер пригнетал рожь столь низко, что Наташа временами видела дом бабушки, деревню и то, что было далеко в полях и на небе.

Вместе с вихрем, сквозь его горячую пыль, пошел град и стал бить в хлеб, в землю и в Наташу с Антошкой, по ее непокрытой голове; тогда она сейчас же укрыла Антошку собою, прилегши на него сверху, и спрятала прежде всего его голову в своих объятиях, тесно прижав всего брата к своему телу. Град бил по Наташе, по ее голове и по спине, но она молчала, зная, что Антошке теперь небольно и хорошо; он даже шевелился под нею немного, рассматривая там землю около ржаных корней и в старой пахоте.

Град переменился на крупный прохладный дождь. Антошка соскучился прятаться под сестрой, ему хотелось по-

смотреть, что делается наружи, хотелось намокнуть на дожде, и он сказал Наташе:

— Пусти меня, я выглянуть хочу.

— Лежи, а то тебя громом убьет, — ответила Наташа.

— Нет, он мимо, — сказал Антошка и вывернулся из-под сестры.

Наташа села и взяла на колени брата, укрыв руками его голову от ветра и дождя. Антошка приподнялся ногами на коленях Наташи и посмотрел вокруг, что где есть, терпеливо жмурясь от бури, от колосьев и водяных капель, бьющих его по лицу. Он увидел черное, близкое, бегущее небо, а ниже его неподвижно висели серые облака, опустившие из себя длинные волосы ливня, сдуваемые бурей в пустую сторону, как космы у нищей старухи, и эти облака быстро меняли свое тело, таяли и переставали жить на глазах у Антошки. Он решил подождать — что еще будет, но сестра велела ему спрятаться поближе около нее, а она согнется и сохранит его. Антошка хотел было и вправду зажмуриться и уткнуться головой в большую сестру, где у нее было тепло и сухо, но там ему было скучно, а здесь он все видел, и он, не послушав сестры, стал смотреть на небо и на землю еще лучше. Однако колосья ржи мешали ему видеть далеко, поэтому Антошка попросил Наташу, чтоб она подняла его высоко на руки, а он будет глядеть.

Наташа сняла с его головы свой платок, спрятала его себе за пазуху, вытерла рукавом платья мокрую голову Антошки и дала ему по затылку.

— Остудишься, — сказала она. — Ишь ты, бес какой: глядеть ему надо на вихрь! Я вот маме скажу, она тебя хлопнет по башке.

Антошка хотел ответить, что мать его по голове не бьет, а отец бьет только по лбу, но задохнулся от удара бури, от которой сразу полегла вся рожь и далеко стало видно вокруг, что там было сейчас. Антошка увидел деревню бабушки и луга за деревней, уже по ту сторону речки, в синем свете грозы и в ветре, и под ветром бежала к нему испуганная дрожащая трава.

Дождь вдруг перестал идти, но ветер дул по-прежнему, набравшись силы в пустых местах полей. И хотя теперь на земле должно быть темно от страшной тучи, однако все

было видно, только свет стал другой — он был бледно-синий и желтый, но чистый и кроткий, как во сне; это светились травы, цветы и рожь своим светом, и они сейчас одни освещали поля и избы, потемневшие было под тучей, и сама туча была озарена снизу светлой землей. Увидя целыми и живыми траву, хлеб и избы, Антошка и сам тоже перестал бояться тучи и молнии.

Ветер упал, стало тихо повсюду, но тяжелая рожь более не поднялась. Антошка поглядел туда, где живет бабушка, и он увидел ее. Бабушка вышла на высокое крыльцо избы, что выходило во двор, и осмотрелась в непогоде. Она тревожилась о пропавших внуках. «Аль уж они соскучились у меня? — думала она. — Да где уж тут скучать, ведь они только пришли: не пора еще! Наверно, чужую деревню пошли поглядеть, сейчас назад явятся. Кабы их вот дождь не замочил — ишь темноты наволокло сколько!» О своем старике дедушке Ульяна Петровна не беспокоилась. Он теперь все равно не придет, пока гроза не начнется и не кончится: он на молнию будет глядеть.

«Пойти кур покликать, пусть в сарае побудут», — решила Ульяна Петровна, но тут же присела от удара грома, близко повторившегося затем еще несколько раз, так что слабая дверь в избу сама отворилась и затворилась (если бы хозяин больше заботился о своем доме, дверь не стала бы распахиваться от одного звука), а бабушка как села, так и не встала, пока гром окончательно не угомонился, пока не утихли самые дальние его раскаты.

Антошка увидел молнию, вышедшую из тьмы тучи и ужалившую землю. Сначала молния бросилась вниз далеко за деревней, но там ей было плохо или некуда было ударить, потому что молния подобралась обратно в высоту неба, и оттуда она сразу убила одинокое дерево, что росло посреди сельской улицы, около деревянной закопченной кузницы. Дерево вспыхнуло синим светом, точно оно расцвело, а затем погасло и умерло, и молния тоже умерла в дереве.

От накатившего грома зашевелилась полегшая рожь, а бабушка опустилась совсем на крыльцо и перестала ходить по хозяйству туда-сюда, и Антошка засмеялся на бабушку, что она боится.

Вслед за молнией на землю пролился дождь, густой и скорый, так что стало сумрачно вокруг, и бабушки уже было не видно за шумной мглой дождя. Но высокая молния снова осветила рожь и деревню, и тогда Антошка увидел черный дым и красный огонь в середине дыма, который медленно подымался из-под крыши старой кузницы, но огонь не мог разгореться, потому что его заливал дождь. Антошка понял, что молния, убив дерево, сама не умерла, но прошла через корни дерева в кузницу и снова стала огнем.

Наташа обхватила брата, прижала его к себе, как сумела, и вышла с ним изо ржи на дорогу; она хотела бежать поскорее обратно к бабушке, чтобы спрятать Антошку от дождя и молнии, но дождь перемежился, капли стали падать редко, опять начало парить теплом в воздухе, и снова было душно и скучно около чужой деревни. Наташа остановилась на дороге и опустила брата наземь.

Крыша кузницы теперь занялась живым огнем; пламя сушило намокшие доски и горело. Уже бежали люди на деревенский пожар, иные с ведрами воды, а другие с топорами, и скрипел ворот в ближнем колодце, а некоторые крестьяне стояли в отдалении у своих дворов и ничего не делали — наверно, они думали, что пожар обойдется и перестанет сам по себе, потому что главная, большая туча, богатая грозой и ливнем, лишь подходила к деревне Панютино: она сейчас была за рекою, черная до синевы, тучная и тихая, и в ней сверкали молнии, но гром их был еще не слышен.

Оттуда, из-за реки, шла страшная, долгая ночь; в ней можно умереть, не увидев более отца с матерью, не наигравшись с ребятами на улице около колодца, не наглядевшись на все, что Антошка видел у отцовского двора. И печка, на которой Антошка спал с сестрой в зимнее время, будет стоять пустой. Ему было жалко сейчас их смирную корову, приходящую каждый вечер домой с молоком, невидимых сверчков, кличущих кого-то перед сном, тараканов, живущих себе в темных и теплых щелях, лопухов на их дворе и старого плетня, который уже был на свете, когда Антошки еще вовсе не существовало; и этот плетень особенно озадачивал Антошку: он не мог понять, как могло что-нибудь быть прежде него самого, когда его не было, что же эти предметы де-

лали без него? Он думал, что они, наверно, скучали по нем и ожидали его. И вот он живет среди них, чтоб они все были рады, и не хочет помереть, чтоб они опять не скучали.

Антошка прижался к сестре и заплакал от страха. Он боялся, что горит кузница, идет туча и снова сверкает гроза, которая ищет землю, чтобы убить дерево и зажечь их старую избу в колхозе. Приникнув к сестре, Антошка почувствовал, что она пахнет так же, как пахло все в их избе — и хлеб, и сени, и деревянные ложки, и подол матери.

Наташа осмотрелась вокруг. Она увидела, что туча еще далеко и она успеет уйти с Антошкой домой.

— На, трескай, — сказала она и, вынув из-за пазухи остывший блин, дала его брату.

Антошка сел к сестре за спину, обхватив одной рукой Наташу за горло, стал жевать блин и скоро сжевал его весь целиком; сестра же все время бежала домой, стараясь не упасть под тяжестью брата.

Она бежала в сумраке наступающей темной тучи между двумя стенами молчаливой ржи. Антошка смотрел на склоненные колосья и понимал, что это растет хлеб, первое добро жизни, чем держатся люди. Отец его сам говорил: пусть будет рожь, а другое само собой появится — и керосин, и одежда, и книжки с картинками.

Тьма и туча, однако, вскоре догнали детей и нашли на них. Опять начался дождь, и после каждого раздраженного света молнии, после каждого удара грома дождь шел все более густо и скоро. Из тьмы неба теперь проливался сплошной поток воды, который бил в землю с такой силой, что разрушал и взворачивал ее, словно дождь пахал поле.

Наташе стало трудно дышать в гуще ливня, она пересадила Антошку со спины к себе на руки, чтобы в него меньше попадал дождь и чтобы молния сверху сперва не ударила в него, и снова побежала вперед.

Чаща ливня срасталась перед нею все более непроходимо, даже идти шагом было сейчас трудно и больно, будто детей окружал сумрачный, твердый и жесткий лес, обдирающий их тело до костей.

Шум ливня заглушал удары грома, только молнии были видны. Иногда молний было столько много, что они слива-

ли свой свет в долгое сияние, но это сияние освещало лишь бугры могучего мрака на небе, отчего было еще страшнее.

Наташа измучилась вся; она остановилась и опустила вымокшего Антошку на землю. Сейчас она не знала, что́ ближе — мать с отцом или бабушка, — сколько она отошла от бабушкиной деревни и сколько осталось идти домой.

Наташа села возле ржи и изо всех сил прижала к себе Антошку, чтобы хоть он остался живым и теплым около нее, если сама она умрет. Но ей подумалось, что вдруг Антошка помрет, а она одна уцелеет, — и тогда Наташа закричала криком, как большая женщина, чтоб ее услышали и помогли; ей показалось, что хуже и грустнее всего было бы жить последней на свете. Ведь, может быть, и дом их в колхозе сгорел от молнии, и двор смыт дождем в пустое песчаное поле, а мать с отцом теперь уже умерли. И приготовившись, чтобы скорее умереть самой, Наташа оставила Антошку и легла на землю вниз лицом, она хотела умереть первой в грозе и ливне, прежде чем умрет ее брат Антошка.

Но маленький брат ее, посидев немного под дождем, сказал сестре:

— Давай яму копать, мы туда спрячемся и проживем. Ты гляди, тут песок... Не плачь, а то я боюсь без тебя...

Вымокшие, похудевшие дети стали рыть себе руками яму подле ржи, где была легкая почва. Но, вырыв небольшое углубление, брат и сестра увидели, что сильный дождь дальше сам копает им яму и своею силой вымывает ручьем песчаную землю, однако спрятаться им туда было нельзя.

Наташа и Антошка притаились под ливнем на голой земле, сжавшись и укрывая руками свои головы.

— Зачем ты меня к бабке-старухе в гости водила? — сказал Антошка сестре. — Дома лучше всего сидеть, я люблю дома... А ты девка-гулена!

— Знай помалкивай лучше! — приказала Наташа. — Кто велел поскорей от бабушки домой идти? Я и блинов ничуть не покушала.

— Я у бабки соскучился, — смирно произнес Антошка.

Молния засветилась и вздрогнула несколько раз совсем рядом с Наташей и Антошкой, где-то в ближней полегшей ржи. Брат и сестра, боясь грома, загодя схватились руками

друг за друга и прильнули лицами один к другому — Антошка к груди сестры, а она к его плечу, — чтобы ничего больше не видеть. Но в шуме ливня гром прозвучал нестрашно.

— Опять мимо, — сказал Антошка.

Дети давно продрогли от дождя и теперь прижимались друг к другу, желая согреться; они уже начинали привыкать мучиться, и им дремалось ко сну.

— Вы ктой-то? — хрипло спросил их близкий, чужой голос.

Наташа подняла голову от Антошки. Склонившись на колени, возле них стоял худой старичок, с незнакомым, ничем не обросшим лицом, которого они встретили нынче, когда шли в гости к бабушке. Сейчас этот дедушка, хранясь от дождя, надел кошелку на голову, а щавель и крапиву, наверно, выбросил прочь.

— Сморились аль испугались, что ль? — спросил у Наташи старик, подвигаясь к детям еще ближе, чтоб они его слышали.

— Нам боязно стало, — сказала Наташа.

— Да как же не боязно-то? — согласился прохожий человек. — Ишь жуть какая — и льется, и гремит, и сверкает. Я-то ведь не боюсь от старости лет, от глупости, а вам чего же: вы бойтесь, вам это надо.

— А мы уж привыкли бояться, — произнесла Наташа. — Теперь нам не страшно. А ты сам кто, ты откуда?

— Я дальний, — ответил старичок. — Верст двадцать отсюда будет, племхоз «Победа», не слыхала?.. А я оттуда, я там по племенному делу рассыльным агентом служу: куда что пошлют, что скажут — я готов. А нынче в колхоз «Общая жизнь» ходил, мне велели сказать, чтоб колхоз племенного бычка себе взял. Им бык полагается. Пускай погонщика шлют.

— Сказал? — спросила Наташа.

— Сказал. А сейчас вот назад ворочаюсь.

Антошка встал на ноги и с интересом детства рассматривал чужого маленького деда, стоявшего на вымокшей земле на коленях, с кошелкой на голове. Ливень перешел в сплошной частый дождь с пузырями, и молнии вспыхивали уже далеко в стороне, откуда гром не успевал доходить сюда, умариваясь в дороге.

— Ну иди, нам быка давно в колхоз надо, — сказала Наташа.

Старик молча глядел на детей под сумрачным долгим дождем.

— Сейчас тронусь, — неохотно произнес он. — Мне пора.

Дед встал с земли и стал заправляться в дальнюю дорогу. Он крепко привязал свою кошелку обратно за спину и снял шапку с головы.

— Вам не дойти, — сказал старик детям. — Там дорогу теперь распустило, там земля густая, добрая, а дождь опять, того гляди, припустится...

Он надел свою шапку на голову Антошки и, согнувшись, касаясь руками земли, велел ребенку полезать к нему в кошелку за спиной, а сидеть там и держаться. Антошка сейчас же забрался туда, и ему стало в кошелке мягко и хорошо.

— А куда ты понесешь-то его? — быстро спросила Наташа, готовясь изо всех сил вцепиться в лицо старика. — Тебе кто наказал его брать?

— Понесу к отцу-матери его, куда ж еще! — ответил дед. — На ваш колхоз. И тебя туда же.

Старик еще раз пригнулся, взял Наташу себе спереди на руки и пошел под дождем по дороге на «Общую жизнь», унося на себе двоих детей.

— Ты не бойся, — сказала Наташа брату, удобно сидевшему в кошелке против нее. — Я за ним буду глядеть.

— Он не как ты, он сильный, — сказал сестре Антошка.

У старика надулись жилы на шее, он сгорбился, дождь и пот обмывали его тело и лицо, но он шел привычно и терпеливо по грязи и по воде.

Дети молчали, ожидая, когда увидят свою избу в колхозе. Наташа боялась про себя, что, может быть, их двор уже сгорел от молнии. Старик из сбереженья сил тоже ничего не говорил, лишь однажды он прошептал про себя:

— Спасибо — град не пошел. Он бывает с голубиное яйцо — побил бы детей.

Дождь лился мелкими, частыми каплями; грозы уже не было. И вскоре Наташа увидела сквозь дождь прясло крайнего двора своего колхоза; здесь жили Чумиковы. Она не знала, что колхоз их так близко, и она улыбнулась от радо-

сти. Значит, все было цело и пожара нет, а то бы люди бежали на пожар. А может быть, их дом уже сгорел и потух, — и Наташа опять загорюнилась.

Но вон ветла стоит, она растет около дома Наташи, она жива; вон соломенная крыша на ихней избе и труба с железным петушком... Наташа отвернула свое лицо от Антошки и осторожно терла его рукавом от дождя и слез.

Около отцовского двора Наташа спрыгнула на землю, Антошку же старик внес в кошелке за спиной в самые сени избы.

В горнице родителей Наташи, пережидая дождь, сидело много людей. Отец Наташи угощал их чаем с сеяным хлебом и наложил полную сахарницу колотого сахара. Здесь был председатель колхоза Егор Ефимович Провоторов, дедушка, муж бабушки, и незнакомый человек, неизвестно кто, ненужный кто-нибудь.

Мать Наташи раздела дочь и Антошку и дала им на смену сухую одежду, обещая, что больше никуда их в гости сроду не пустит. А старичок, выжав с себя немного воды в сенях, уже сидел за столом в горнице, пил чай и рассказывал, как было дело. Егор Ефимович его знал — старик из племхоза только что был у него нынче относительно быка.

— Как же так! — сказал Егор Ефимович, председатель, говоря отцу Наташи. — На дворе гроза, ливень, буря была, а ты детей в Панютино послал?

— Они ушли — еще вёдро было, — тихо ответил отец.

— А после вёдра враз буря нашла и гроза, — говорил Егор Ефимович, — а ребятишки могли не успеть добежать до Панютина. Вишь ты как! А мы сидим здесь второй час, балакаем, а ты и не вспомнил про девчонку с мальчишкой ни разу.

— Чего зря говорить! — с досадой ответил отец. — Не сталось с ними ничего, целыми пришли.

— Да это-то хоть так! — согласился председатель и поглядел на Антошку с Наташей, которые теперь стояли у притолоки и глядели на гостей; мать их уже переодела во все чистое и сухое, и им было сейчас опять хорошо жить. — И родной дед, старый долдон, — говорил председатель, — знает, что к нему внук со внучкой в гости пошли, так он сам по грозе к зятю чай пить пришел и сидит — не беспокоится...

Дедушка Наташи молчал, и все другие люди тоже.

— Я спозаранку сюда в кооператив явился, — промолвил дедушка. — Хотел крючок сазаний купить, и к вашему шорнику у меня дело было, мы с ним кумовья... А в нашей многолавке нет тебе никаких крючков — вся рыба в реке цела живет, а мои снасти никуда стали. Думал в вашем кооперативе поджиться...

— Дело прошлое, — мирно произнес Егор Ефимович. — Дай-ка мне назад документ в племхоз, что я тебе давеча дал, — и председатель протянул руку к отцу Наташи.

Отец несмело выдал председателю бумагу.

— Гляди, Ефимыч, бык племенной, с ним надо уметь, — сказал отец. — Аль и быка теперь не доверяешь, что мои ребятишки намокли?

— Пока нет, — ответил председатель, — не доверяю.

— Так кто ж тебе погонит-то? — интересовался отец. — В колхозе, кроме меня, едва ли кто отвечать за такое дело возьмется...

— А я вон с ним, может, слажусь, — указал председатель на старичка из племхоза, хлебавшего чай внакладку.

— Право твое, — согласился отец. — Ишь ты — какой бдительный! Иль заботу о малолетних кадрах почувствовал? Но бык — дело одно, а девчонка с мальчишкой — совсем другое.

— Верно, — произнес председатель, пряча документ к себе, прочитав его весь снова. — Ребятишки — дело непокупное, и для сердца они больны, как смерть, а бык не то, быка и второй раз можно за деньги купить...

— Ух ты, во, гляди-ко! — с радостью всей своей души сказал вдруг старичок из племхоза и, отодвинув блюдце, нечаянно бросил себе в рот еще кусочек сахара.

Он перестал пить чай и засмотрелся на председателя, рыжеватого крестьянина лет сорока пяти, медленно глядящего на свет серыми думающими глазами.

Наташе с Антошкой надоело слушать разговор, и они вышли на крыльцо.

Дождь еле-еле капал. Стало смирно и сумрачно кругом повсюду; листья деревьев и трав, уморившись, висели спящими до будущего утра. Лишь далеко-далеко, в чужих и тем-

ных полях, вспыхивали зарницы, точно это смежались глаза у усталой тучи.

— Давай опять завтра к бабке в гости пойдем, — сказал Антошка сестре. — Я не боюсь теперь. Я люблю грозу.

Наташа ничего не ответила брату. Ведь он еще маленький, измученный, и ругать его нельзя.

Мать отворила дверь и позвала своих детей есть. Мать уже сварила для них картошку и полила ее сверху яйцами, а потом сметаной. Пусть дети растут и поправляются.

КОРОВА

Серая степная корова черкасской породы жила одна в сарае. Этот сарай, сделанный из выкрашенных снаружи досок, стоял на маленьком дворе путевого железнодорожного сторожа. В сарае, рядом с дровами, сеном, просяной соломой и отжившими свой век домашними вещами — сундуком без крышки, прогоревшей самоварной трубой, одежной ветошью, стулом без ножек — было место для ночлега коровы и для ее жизни в долгие зимы.

Днем и вечером к ней в гости приходил мальчик Вася Рубцов, сын хозяина, и гладил ее по шерсти около головы. Сегодня он тоже пришел.

— Корова, корова, — говорил он, потому что у коровы не было своего имени, и он называл ее, как было написано в книге для чтения. — Ты ведь корова!.. Ты не скучай, твой сын выздоровеет, его нынче отец назад приведет.

У коровы был теленок-бычок; он вчерашний день подавился чем-то, и у него стала идти изо рта слюна и желчь. Отец побоялся, что теленок падет, и повел его сегодня на станцию — показать ветеринару.

Корова смотрела вбок на мальчика и молчала, жуя давно иссохшую, замученную смертью былинку. Она всегда узнавала мальчика, он любил ее. Ему нравилось в корове все, что в ней было, — добрые теплые глаза, обведенные темными кругами, словно корова была постоянно утомлена или задумчива, рога, лоб и ее большое худое тело, которое было таким потому, что свою силу корова не собирала для себя в жир

и в мясо, а отдавала ее в молоко и в работу. Мальчик поглядел еще на нежное, покойное вымя с маленькими осохшими сосками, откуда он кормился молоком, и потрогал крепкий короткий погрудок и выступы сильных костей спереди.

Посмотрев немного на мальчика, корова нагнула голову и взяла из корыта нежадным ртом несколько былинок. Ей было некогда долго глядеть в сторону или отдыхать, она должна жевать беспрерывно, потому что молоко в ней рожалось тоже беспрерывно, а пища была худой, однообразной, и корове нужно с нею долго трудиться, чтобы напитаться. Вася ушел из сарая. На дворе стояла осень. Вокруг дома путевого сторожа простирались ровные, пустые поля, отрожавшие и отшумевшие за лето и теперь выкошенные, заглохшие и скучные.

Сейчас начинались вечерние сумерки; небо, покрытое серой прохладной наволочью, уже смежалось тьмою; ветер, что весь день шевелил остья скошенных хлебов и голые кусты, омертвевшие на зиму, теперь сам улегся в тихих, низких местах земли и лишь еле-еле поскрипывал флюгаркой на печной трубе, начиная песнь осени.

Одноколейная линия железной дороги пролегла невдалеке от дома, возле палисадника, в котором в эту пору уже все посохло и поникло — и трава, и цветы. Вася остерегался заходить в огорожу палисадника: тот ему казался теперь кладбищем растений, которые он посадил и вывел на жизнь весной.

Мать зажгла лампу в доме и выставила сигнальный фонарь наружу, на скамейку.

— Скоро четыреста шестой пойдет, — сказала она сыну, — ты его проводи. Отца-то что-то не видать... Уж не загулял ли!

Отец ушел с теленком на станцию, за семь километров, еще с утра; он, наверно, сдал ветеринару теленка, а сам на станционном собрании сидит, либо пиво в буфете пьет, либо на консультацию по техминимуму пошел. А может быть, очередь на ветпункте большая и отец ожидает. Вася взял фонарь и сел на деревянную перекладину у переезда. Поезда еще не было слышно, и мальчик огорчился; ему некогда было сидеть тут и провожать поезда: ему пора было готовить уроки к завтрашнему дню и ложиться спать, а то утром надо рано подниматься. Он ходил в колхозную семи-

летку за пять километров от дома и учился там в четвертом классе.

Вася любил ходить в школу, потому что, слушая учительницу и читая книги, он воображал в своем уме весь мир, которого он еще не знал, который был, как он думал, вдали от него. Нил, Египет, Испания и Дальний Восток, великие реки — Миссисипи, Енисей, Тихий Дон и Амазонка, Аральское море, Москва, гора Арарат, остров Уединения в Ледовитом океане — все это волновало Васю и влекло к себе. Ему казалось, что все страны и люди давно ожидают, когда он вырастет и придет к ним. Но он еще нигде не успел побывать; родился он здесь же, где жил и сейчас, а был только в колхозе, в котором находилась школа, и на станции. Поэтому с тревогой и радостью он всматривался в лица людей, глядящих из окон пассажирских поездов, — кто они такие и что они думают, — но поезда шли быстро, и люди проезжали в них не узнанными мальчиком на переезде. Кроме того, поездов было мало, всего две пары в сутки, а из них три поезда проходили ночью.

Однажды, благодаря тихому ходу поезда, Вася явственно разглядел лицо молодого задумчивого человека. Он смотрел через открытое окно в степь, в незнакомое для него место на горизонте, и курил трубку. Увидев мальчика, стоявшего на переезде с поднятым зеленым флажком, он улыбнулся ему и ясно сказал: «До свиданья, человек!» — и еще помахал на память рукою. «До свиданья, — ответил ему Вася про себя. — Вырасту, увидимся! Ты поживи и обожди меня, не умирай!» И затем долгое время мальчик вспоминал этого задумчивого человека, уехавшего в вагоне неизвестно куда; он, наверно, был парашютист, артист, или орденоносец, или еще лучше кто-нибудь, так думал про него Вася. Но вскоре память о человеке, миновавшем однажды их дом, забылась в сердце мальчика, потому что ему надо было жить дальше и думать и чувствовать другое.

Далеко — в пустой ночи осенних полей — пропел паровоз. Вася вышел поближе к линии и высоко над головой поднял светлый сигнал свободного прохода. Он слушал еще некоторое время растущий гул бегущего поезда и затем обернулся к своему дому. На их дворе жалобно замычала корова. Она все время ждала своего сына-теленка, а он не приходил. «Где

же это отец так долго шатается! — с недовольством подумал Вася. — Наша корова ведь уже плачет! Ночь, темно, а отца все нет».

Паровоз достиг переезда и, тяжко проворачивая колеса, дыша всею силой своего огня во тьму, миновал одинокого человека с фонарем в руке. Механик и не посмотрел на мальчика, — далеко высунувшись из окна, он следил за машиной: пар пробил набивку в сальнике поршневого штока и при каждом ходе поршня вырывался наружу. Вася это тоже заметил. Скоро будет затяжной подъем, и машине с неплотностью в цилиндре тяжело будет вытягивать состав. Мальчик знал, отчего работает паровая машина, он прочитал про нее в учебнике по физике, а если бы там не было про нее написано, он все равно бы узнал о ней, что она такое. Его мучило, если он видел какой-либо предмет или вещество и не понимал, отчего они живут внутри себя и действуют. Поэтому он не обиделся на машиниста, когда тот проехал мимо и не поглядел на его фонарь: у машиниста была забота о машине, паровоз может стать ночью на долгом подъеме, и тогда ему трудно будет стронуть поезд вперед; при остановке вагоны отойдут немного назад, состав станет врастяжку, и его можно разорвать, если сильно взять с места, а слабо его вовсе не сдвинешь. Мимо Васи пошли тяжелые четырехосные вагоны; их рессорные пружины были сжаты, и мальчик понимал, что в вагонах лежит тяжелый дорогой груз. Затем поехали открытые платформы: на них стояли автомобили, неизвестные машины, покрытые брезентом, был насыпан уголь, горой лежали кочаны капусты, после капусты были новые рельсы и опять начались закрытые вагоны, в которых везли живность. Вася светил фонарем на колеса и буксы вагонов — не было ли там чего неладного, но там было все благополучно. Из одного вагона с живностью закричала чужая безвестная телушка, и тогда из сарая ей ответила протяжным, плачущим голосом корова, тоскующая о своем сыне.

Последние вагоны прошли мимо Васи совсем тихо. Слышно было, как паровоз в голове поезда бился в тяжелой работе, но колеса его буксовали, и состав не натягивался. Вася направился с фонарем к паровозу, потому что машине

было трудно, и он хотел побыть около нее, словно этим он мог разделить ее участь.

Паровоз работал с таким напряжением, что из трубы его вылетали кусочки угля и слышалась гулкая дышащая внутренность котла. Колеса машины медленно проворачивались, и механик следил за ними из окна будки. Впереди паровоза шел по пути помощник машиниста. Он брал лопатой песок из балластного слоя и сыпал его на рельсы, чтобы машина не буксовала. Свет передних паровозных фонарей освещал черного, измазанного в мазуте, утомленного человека. Вася поставил свой фонарь на землю и вышел на балласт к работающему с лопатой помощнику машиниста.

— Дай, я буду, — сказал Вася. — А ты ступай помогай паровозу. А то вот-вот он остановится.

— А сумеешь? — спросил помощник, глядя на мальчика большими светлыми глазами из своего глубокого темного лица. — Ну попробуй! Только осторожней, оглядывайся на машину!

Лопата была велика и тяжела для Васи. Он отдал ее обратно помощнику.

— Я буду руками, так легче.

Вася нагнулся, нагреб песку в горсти и быстро насыпал его полосой на головку рельса.

— Посыпай на оба рельса, — указал ему помощник и побежал на паровоз.

Вася стал сыпать по очереди, то на один рельс, то на другой. Паровоз тяжело, медленно шел вслед за мальчиком, в упор растирая песок стальными колесами. Угольная гарь и влага из охлажденного пара падали сверху на Васю, но ему было интересно работать, он чувствовал себя важнее паровоза, потому что сам паровоз шел за ним и лишь благодаря ему не буксовал и не останавливался.

Если Вася забывался в усердии работы и паровоз к нему приближался почти вплотную, то машинист давал короткий гудок и кричал с машины: «Эй, оглядывайся!.. Сыпь погуще, поровней!»

Вася берегся машины и молча работал. Но потом он рассерчал, что на него кричат и приказывают; он сбежал с пути и сам закричал машинисту:

— А вы чего без песка поехали? Иль не знаете!..

— Он у нас весь вышел, — ответил машинист. — У нас посуда для него мала.

— Добавочную поставьте, — указал Вася, шагая рядом с паровозом. — Из старого железа можно согнуть и сделать. Вы кровельщику закажите.

Машинист поглядел на этого мальчика, но во тьме не увидел его хорошо. Вася был одет исправно и обут в башмаки, лицо имел небольшое и глаз не сводил с машины. У машиниста у самого дома такой же мальчишка рос.

— И пар у вас идет, где не нужно; из цилиндра, из котла дует сбоку, — говорил Вася. — Только зря сила в дырки пропадает.

— Ишь ты! — сказал машинист. — А ты садись веди состав, а я рядом пойду.

— Давай! — обрадованно согласился Вася.

Паровоз враз, во всю полную скорость, завертел колесами на месте, точно узник, бросившийся бежать на свободу, даже рельсы под ним далеко загремели по линии.

Вася выскочил опять вперед паровоза и начал бросать песок на рельсы, под передние бегунки машины. «Не было бы своего сына, я бы усыновил этого, — бормотал машинист, укрощая буксованье паровоза. — Он с малолетства уже полный человек, а у него еще все впереди... Что за черт: не держат ли еще тормоза где-нибудь в хвосте, а бригада дремлет, как на курорте. Ну, я ее на уклоне растрясу».

Машинист дал два длинных гудка, чтоб отдали тормоза в составе, если где зажато.

Вася оглянулся и сошел с пути.

— Ты что ж? — крикнул ему машинист.

— Ничего, — ответил Вася. — Сейчас не круто будет, паровоз без меня поедет, сам, а потом под гору...

— Все может быть, — произнес сверху машинист. — На, возьми-ка! — И он бросил мальчику два больших яблока.

Вася поднял с земли угощенье.

— Обожди, не ешь! — сказал ему машинист. — Пойдешь назад, глянь под вагоны и послушай, пожалуйста: не зажаты ли где тормоза. А тогда выйди на бугорок, сделай мне сигнал своим фонарем — знаешь как?

— Я все сигналы знаю, — ответил Вася и уцепился за трап паровоза, чтобы прокатиться. Потом он наклонился и поглядел куда-то под паровоз.

— Зажато! — крикнул он.

— Где? — спросил машинист.

— У тебя зажато — тележка под тендером! Там колеса крутятся тихо, а на другой тележке шибче!

Машинист выругал себя, помощника и всю жизнь целиком, а Вася соскочил с трапа и пошел домой.

Вдалеке светился на земле его фонарь. На всякий случай Вася послушал, как работают ходовые части вагонов, но нигде не услышал, чтобы терлись и скрежетали тормозные колодки.

Состав прошел, и мальчик обернулся к месту, где был его фонарь. Свет от него вдруг поднялся в воздух, фонарь взял в руки какой-то человек. Вася добежал туда и увидел своего отца.

— А телок наш где? — спросил мальчик у отца. — Он умер?

— Нет, он поправился, — ответил отец. — Я его на убой продал, мне цену хорошую дали. К чему нам бычок!

— Он еще маленький, — произнес Вася.

— Маленький дороже, у него мясо нежней, — объяснил отец.

Вася переставил стекло в фонаре, белое заменил зеленым и несколько раз медленно поднял сигнал над головою и опустил вниз, обратив его свет в сторону ушедшего поезда: пусть он едет дальше, колеса под вагонами идут свободно, они нигде не зажаты.

Стало тихо. Уныло и кротко промычала корова во дворе путевого сторожа. Она не спала в ожидании своего сына.

— Ступай один домой, — сказал отец Васе, — а я наш участок обойду.

— А инструмент? — напомнил Вася.

— Я так; я погляжу только, где костыли повышли, а работать нынче не буду, — тихо сказал отец. — У меня душа по теленку болит: растили-растили его, уж привыкли к нему... Знал бы, что жалко его будет, не продал бы...

И отец пошел с фонарем по линии, поворачивая голову то направо, то налево, осматривая путь.

Корова опять протяжно заныла, когда Вася открыл калитку во двор и корова услышала человека.

Вася вошел в сарай и присмотрелся к корове, привыкая глазами ко тьме. Корова теперь ничего не ела; она молча и редко дышала, и тяжкое, трудное горе томилось в ней, которое было безысходным и могло только увеличиваться, потому что свое горе она не умела в себе утешить ни словом, ни сознанием, ни другом, ни развлечением, как это может делать человек. Вася долго гладил и ласкал корову, но она оставалась неподвижной и равнодушной — ей нужен был сейчас только один ее сын-теленок, и ничего не могло заменить его — ни человек, ни трава и ни солнце. Корова не понимала, что можно одно счастье забыть, найти другое и жить опять, не мучаясь более. Ее смутный ум не в силах был помочь ей обмануться; что однажды вошло в сердце или в чувство ее, то не могло быть там подавлено или забыто.

И корова уныло мычала, потому что она была полностью покорна жизни, природе и своей нужде в сыне, который еще не вырос, чтобы она могла оставить его, и ей сейчас было жарко и больно внутри, она глядела во тьму большими налитыми глазами и не могла ими заплакать, чтобы обессилить себя и свое горе.

Утром Вася ушел спозаранку в школу, а отец стал готовить к работе небольшой однолемешный плуг. Отец хотел запахать на корове немного земли в полосе отчуждения с тем, чтобы по весне посеять там просо.

Возвратившись из школы, Вася увидел, что отец пашет на ихней корове, но запахал мало. Корова покорно волочила плуг и, склонив голову, капала слюной на землю. На своей корове Вася с отцом работали и раньше; она умела пахать и была привычна и терпелива ходить в ярме. К вечеру отец распряг корову и пустил ее попастись на жнивье по старополью. Вася сидел в доме за столом, делал уроки и время от времени поглядывал в окно — он видел свою корову. Она стояла на ближнем поле, не паслась и ничего не делала.

Вечер наступил такой же, какой был вчера, сумрачный и пустой, и флюгарка поскрипывала на крыше, точно напевая долгую песнь осени. Уставившись глазами в темнеющее поле, корова ждала своего сына; она уже теперь не мычала

по нем и не звала его, она терпела и не понимала. Поделав уроки, Вася взял ломоть хлеба, посыпал его солью и понес корове. Корова не стала есть хлеб и осталась равнодушной, как была. Вася постоял около нее, а потом обнял корову снизу за шею, чтоб она знала, что он понимает и любит ее. Но корова резко дернула шеей, отбросила от себя мальчика и, вскрикнув непохожим горловым голосом, побежала в поле. Убежав далеко, корова вдруг повернула обратно и, то прыгая, то припадая передними ногами и прижимаясь головой к земле, стала приближаться к Васе, ожидавшему ее на прежнем месте. Корова пробежала мимо мальчика, мимо двора и скрылась в вечернем поле, и оттуда еще раз Вася услышал ее чужой горловой голос.

Мать, вернувшаяся из колхозного кооператива, отец и Вася до самой полночи ходили в разные стороны по окрестным полям и кликали свою корову, но корова им не отвечала, ее не было. После ужина мать заплакала, что пропала их кормилица и работница, а отец стал думать о том, что придется, видно, писать заявление в кассу взаимопомощи и в дорпрофсож, чтоб выдали денег на обзаведение новой коровой.

Утром Вася проснулся первым, еще был серый свет в окнах. Он расслышал, что около дома кто-то дышит и шевелится в тишине. Он посмотрел в окно и увидел корову; она стояла у ворот и ожидала, когда ее впустят домой...

С тех пор корова хотя и жила и работала, когда приходилось пахать или съездить за мукой в колхоз, но молоко у нее пропало вовсе, и она стала угрюмой и непонятливой. Вася ее сам поил, сам задавал корм и чистил, но корова не отзывалась на его заботу, ей было все равно, что делают с ней.

Среди дня корову выпускали в поле, чтоб она походила на воле и чтоб ей стало лучше. Но корова ходила мало; она подолгу стояла на месте, затем шла немного и опять останавливалась, забывая ходить. Однажды она вышла на линию и тихо пошла по шпалам, тогда отец Васи увидел ее, окоротил и свел на сторону. А раньше корова была робкая, чуткая и никогда сама не выходила на линию. Вася поэтому стал бояться, что корову может убить поездом или она сама помрет, и, сидя в школе, он все думал о ней, а из школы бежал домой бегом.

И один раз, когда были самые короткие дни и уже смеркалось, Вася, возвращаясь из школы, увидел, что против их дома стоит товарный поезд. Встревоженный, он сразу побежал к паровозу.

Знакомый машинист, которому Вася помогал недавно вести состав, и отец Васи вытаскивали из-под тендера убитую корову. Вася сел на землю и замер от горя перед первой близкой смертью.

— Я ведь ей минут десять свистки давал, — говорил машинист отцу Васи. — Она глухая у тебя или дурная, что ль? Весь состав пришлось сажать на экстренное торможение, и то не успел.

— Она не глухая, она шалая, — сказал отец. — Задремала, наверно, на путях.

— Нет, она бежала от паровоза, но тихо и в сторону не сообразила свернуть, — ответил машинист. — Я думал, она сообразит.

Вместе с помощником и кочегаром, вчетвером, они выволокли изуродованное туловище коровы из-под тендера и свалили всю говядину наружу, в сухую канаву около пути.

— Она ничего, свежая, — сказал машинист. — Себе засолишь мясо или продашь?

— Продать придется, — решил отец. — На другую корову надо деньги собирать, без коровы трудно.

— Без нее тебе нельзя, — согласился машинист. — Собирай деньги и покупай. Я тебе тоже немного деньжонок подброшу. Много у меня нет, а чуть-чуть найдется. Я скоро премию получу.

— Это за что ж ты мне денег дашь? — удивился отец Васи. — Я тебе не родня, никто... Да я и сам управлюсь: профсоюз, касса, служба, сам знаешь — оттуда, отсюда...

— Ну а я добавлю, — настаивал машинист. — Твой сын мне помогал, а я вам помогу. Вон он сидит. Здравствуй! — улыбнулся механик.

— Здравствуй, — ответил ему Вася.

— Я еще никого в жизни не давил, — говорил машинист, — один раз — собаку... Мне самому тяжело на сердце будет, если вам ничем за корову не отплачу.

— А за что ты премию получишь? — спросил Вася. — Ты ездишь плохо.

— Теперь немного лучше стал, — засмеялся машинист. — Научился! У нас, сынок, материалу не хватает, лишнего фунта пакли не получишь, вот отчего и ездить плохо приходится.

— Поставили другую посуду для песка? — спросил Вася.

— Нет, маленькую песочницу на большую сменили! — ответил машинист.

— Насилу догадались, — сердито сказал Вася.

Здесь пришел главный кондуктор и дал машинисту бумагу, которую он написал, о причине остановки поезда на перегоне.

На другой день отец продал в сельский районный кооператив всю тушу коровы; приехала чужая подвода и забрала ее. Вася и отец поехали вместе с этой подводой. Отец хотел получить деньги за мясо, а Вася думал купить себе книг для чтения в магазине. Они заночевали в районе и провели там еще полдня, делая покупки, а после обеда пошли ко двору.

Идти им надо было через тот колхоз, где была семилетка, в которой учился Вася. Уже стемнело вовсе, когда отец и сын добрались до колхоза, поэтому Вася не пошел домой, а остался ночевать у школьного сторожа, чтобы не идти завтра спозаранку обратно и не мориться зря. Домой ушел один отец.

В школе с утра начались проверочные испытания за первую четверть. Ученикам задали написать сочинение на тему: «Как я буду жить и работать, чтобы принести пользу нашей родине».

Вася написал в тетради ответ на этот урок: «Как я буду жить, я не знаю, не задумывался еще. У нас была корова. Когда она жила, из нее ели молоко мать, отец и я. Потом она родила себе сына-теленка, и он тоже ел из нее молоко, мы трое и он четвертый, а всем хватало. Корова еще пахала и возила кладь. Потом ее сына продали на мясо, его убили и съели. Корова стала мучиться, а скоро умерла от поезда. И ее тоже съели, потому что она говядина. Теперь ничего нету. Где корова и ее сын-телок? Неизвестно, а всем было от них хорошо. Корова отдала нам все, то есть молоко, сына, мясо, кожу, внутренности и кости, она была доброй. Я тоже хочу, чтобы всем людям нашей родины была от меня польза

и хорошо, а мне пусть меньше, потому что я помню нашу корову и не забуду».

Ко двору Вася вернулся в сумерки. Отец был уже дома, он только что пришел с линии; он показывал матери сто рублей, две бумажки, которые ему бросил с паровоза машинист в кисете из-под табака.

ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК

Поля опустели, стало скучно и хорошо в деревне; земля уморилась за лето рожать, а люди уморились работать. Земля лежала худая, она засыпала на отдых до будущей весны; солнце смеркалось над деревней, и поля уходили в сумерки осени, в темноту зимы. Но люди отдыхают скоро; они выспались, наелись и ушли из деревни в дальние города — один взял топор и пилу и пошел плотничать на постройки, другой отправился с пустыми руками, но он там найдет себе занятие — может быть, землю будет копать, может быть, станет подручным слесаря: делов теперь много на свете, что-нибудь и ему достанется. Иные же, более молодые и норовистые, отправились учиться: кто хотел быть летчиком, кто моряком, кто писателем, кто артистом, кто думал о музыкальной части. И все они ушли, и каждый из них найдет, конечно, себе забаву и судьбу, которую пожелает.

И когда все эти люди ушли, то в деревне Минушкино, или в колхозе имени 8 Марта, что одно и то же, осталось в сиротстве двенадцать дворов, девятнадцать женщин, считая со старухами, и сорок человек малолетних детей, считая со стариками, которых было семь душ. Кроме них в Минушкине порешили зимовать еще два человека: бригадир конного двора, колхозный конюх Василий Ефремович Анцыполов и подросток Григорий Хромов, семнадцати лет, что жил с матерью-вдовой, сын давно умершего крестьянина, знавшего плотничье дело.

Как только все главные работящие крестьяне оставили деревню и колхоз осиротел без них до нового тепла, так Анцыполов, Василий Ефремович, обленился и вовсе перестал работать, потому что он почувствовал теперь себя самым

главным, самым сознательным и единственным мужиком во всей деревне, почти что начальником, а все остальные люди в деревне были либо малолетние, либо маломощные, либо малодушные, и он их не считал за настоящее сельское население.

Однако, хотя Василий Ефремович чувствовал себя гордо и важно, ему было скучно существовать одному, непрерывно сознавая свое положение выше всех. Даже выпить вина ему не с кем стало теперь, и он пил его в конюшне, в компании лошадей. Для этого Василий Ефремович выводил всех четырех лошадей из стойл на середину сарая и ставил их всех лицами к себе, а сам садился на охапку сена и начинал угощаться в окружении лошадей. Лошади умно и зорко смотрели на человека, размышляя о нем, а может быть, недоумевая, почему они должны его слушаться и бояться. Василий же Ефремович наливал себе стакан вина и, обращаясь к кобыле Зорьке, строго наблюдавшей за ним, произносил:

— Зорька! За твое здоровье, против поноса, каким ты болела в бабье лето, — аминь, ура!

Затем Василий Ефремович выпивал по очереди, с провозглашением заздравных речей, за мерина Сончика, за кобылу Голубку, за второго мерина Отсталого и под конец за самого себя.

— Да здравствую я! — кричал Василий Ефремович, и лошади вздрагивали от этого звука, отходили прочь от человека и ржали издали на него.

Но Василий Ефремович еще несколько раз приветствовал сам себя и наконец покрывал свои громкие речи могучим «ура» — в честь самого себя и заодно всего человечества, которое он начинал немного признавать, подобрев от вина. На закуску Василий Ефремович денег не тратил и заедал вино какими-либо крошками или остатками пищи, застрявшими у него в бороде после вчерашнего ужина, или брал одно-два овсяных зерна из кормушек лошадей, и этого ему было достаточно. Сколько раз бывший председатель колхоза Самсонов приказывал ему: «Василий Ефремович, организуй ты свою бороду, что ты целую тайгу носишь на милом лице!» Но Василий Ефремович не подчинился председателю: «А что мне с пустошью на лице по миру ходить! — говорил он в от-

вет. — Какое такое добро заведется или родится на пустоши! Это пустой человек живет весь оскобленный — у него силы жизни нету, а я человек густой, из меня, как из чернозема, гуща наружу прет!»

Отведав вина в компании лошадей, Василий Ефремович начинал бродить из избы в избу — по всем знакомым, и говорил людям, что он пришел к ним прощаться, так как нынче же он уходит из деревни навеки во всю вселенную.

— А чего ж, ступай — твоя воля, — говорили ему крестьянские старики. — Нам ты в колхозе не нужен, может, там, во вселенной, будешь как раз!

Василий Ефремович выходил из очередной избы и шумел встречному человеку:

— Я во вселенную пошел!

— И где она? — спрашивал его встречный прохожий старик, поспешая, сколь возможно, в кооператив за постным маслом.

— Там! — говорил Василий Ефремович, указывая на весь серый свет вселенной.

Старик глядел на этот свет и думал или вспоминал что-нибудь про другие места, про всю землю, где он бывал когда-то: «Когда это было? — думал старик: — Забыл, видно; ну и пусть, что забыл, — помирать пора!»

А вокруг была тишина осени, тишина земли, отработавшейся за лето, покой мира, рождающего и кормящего всех людей. Листва на мелком лесе, растущем у околицы деревни, уже вся опала, и она теперь не застила чистого сумрачного пространства, безмолвного, но почти поющего и призывающего уйти и не вернуться.

— Вперед — во всю вселенную! — восклицал Василий Ефремович и шел домой, чтобы собраться в вечный путь.

Дома его ждала жена. Сначала она слушала Василия Ефремовича и собирала ему все пожитки во вселенную, а затем разувала, раздевала его и укладывала спать спозаранку. Василий Ефремович засыпал, давая себе небольшую отсрочку, чтобы затем, вскорости же, направиться во вселенную, но, проснувшись, он думал и говорил вслух:

— Я подлец, и это правильно и, главное, точно: я подлец! — и уходил снова к лошадям — пить вино и беседовать с ними.

Однако Василий Ефремович был, как видно, умен! И по уму своему он решил однажды не идти домой, а прямо направиться во вселенную с конного двора. Он попрощался с лошадьми, поцеловал их, сказал им печальные, окончательные речи и пошел в пространство, в тихое русское поле, где все цветы и растения уже отжили свой летний солнечный век.

— А мой век еще цел, он остался полностью: ого-го! — со счастьем освобождения размышлял Василий Ефремович, уходя в смутный, рано вечереющий свет поздней осени.

Пройдя немного времени вперед, Василий Ефремович утомился и лег для отдыха у плетня усадьбы колхозницы Паршиной; за этим плетнем уже начиналось пустое место всего мира, открытое до самого неба и увлекающее в даль. Туда и решил направиться Василий Ефремович; теперь ему уже до всего было близко, и он подумал, что можно не спешить. «Отдохну и тронусь!» — сделал Василий Ефремович свое мысленное заключение и уснул.

Проходя вечером мимо спящего пожилого человека, который мог остыть за ночь и скончаться в одиночестве, Григорий Хромов побудил Василия Ефремовича, но тот не пожелал идти ко двору, наоборот — велел Хромову идти и заниматься полезным делом, поскольку тут его дело бесполезное. Тогда Хромов натужился и поднял Василия Ефремовича к себе на руки, как мог. Василий Ефремович на вес был нетяжелый; он лишь казался тяжелым от большой бороды и шумного характера.

— Пойдем, — сказал Хромов, — а то ты, знаешь что, простудишься и умрешь, ночи нонче длинные, и будешь потом на том свете, как старухи обещают.

— На том свете! — обрадовался Василий Ефремович незнакомому месту. — А это еще лучше — неси меня туда!

Но Григорий приволок его домой, к жене, и та уже сама велела жить Василию Ефремовичу здесь, а не во вселенной и не на том свете.

На другое утро Василий Ефремович заинтересовался Григорием Хромовым — он всем интересовался, что не относилось к его обязанностям конюха, — и отыскал молодого колхозника, когда Хромов менял обветшалые венцы в срубе колхозного колодца.

— Ты это что же! — сказал конюх. — Ты что же никуда не ушел до весны, как прочие умные?

Григорий перестал тесать дерево и подумал. Осенний чистый день стоял над мирными избами колхоза, над умолкшим, остывшим перелеском и над родным полем, отдавшим всю свою силу людям и теперь дремлющим в покое. Снега еще не было, и холода не пришли; с утра до вечера небо было сумеречным, но этого кроткого света было достаточно для жизни и работы.

В кузнечном сарае горел огонь в горне; там работал старик кузнец с подручной девушкой, справляя весь железный инвентарь, изношенный за лето, к будущему севу. Невестка кузнеца, не ожидая зимнего пути, без спеха повезла на телеге навоз на колхозный огород. Мерин Отсталый поглядел в сторону Василия Ефремовича и повез телегу с навозом дальше. Счетовод Груня шла с большой счетной книгой в общественный амбар, считая в уме, что кому положено получить, что кто переполучил, а что кто недополучил, и какие фонды уже засыпаны, а какие не готовы или неправильно назначены.

— Я привык жить в колхозе и по матери боюсь соскучиться, — произнес Хромов в ответ Василию Ефремовичу и застеснялся чего-то.

Конюх осудил подростка:

— Соскучиться боишься! Так скука же либо тоска и прочее — это упадовничество! Ты против закона, значит: ага, твоя фигура нам понятна!

— Нет, дядя Вася, у меня мать хворая... Боюсь — я уйду, а она помрет одна без меня...

— Врешь! Кругом колхоз, свои люди, не дали б ей помереть!.. А так что же получается — нам великие люди нужны, а ты мелким хочешь прожить, чтоб и могилы твоей никто не нашел! Как тебя назвать — в стороне от схватки, что ль?

Хромов опять начал тесать бревнышко для колодезного венца.

— Я, дядя Вася, великим человеком не буду, я не умею...

— Врешь! — отвергнул эти слова конюх. — Ты сколько классов кончил?

— Семилетку в Шаталовке, — сказал Хромов. — Все семь классов кончил прошедшей весной.

— Ну вот! Тебе самый раз теперь учиться выше, чтоб познать все темные тайны и совершить подвиг во вселенной!.. Сколько наших ребят вон уехали, — теперь, гляди, пройдет год, полтора, два, и они будут каждый на великом деле, на глазах всего человечества — кто летчик, кто артист, кто по науке, кто по прочей высшей части!.. А ты кто будешь? Замрешь здесь, как черенок в плетне! Кто про тебя сказку расскажет, либо песню над гробом споет?

— Никто, — сказал Хромов. — Мне не надо сказки...

— Не надо? А это опять твое упадовничество в тебе говорит... Ты вспомни наших ребят — возьми хоть Гараську, хоть Мишку, да того же и Пашку можно! Сколь они старше тебя? Да чуть-чуть, а глянь, в каких высших училищах учатся: вот-вот в величайшие люди выйдут! Да оно им вполне прилично и к лицу очутиться у власти на вышке: у них у каждого грудь раза в два поболе твоей развернулась — на таких грудях сколько медалей с заслугами можно увесить. Красиво будет!

Григорий Хромов молчал и работал топором.

Василий Ефремович соскучился быть с ним и отошел от него.

— Не хочешь, значит, использовать всех прав нашего государства и Конституции, ну погибай, как мошкара в чужой ухé! — сказал на прощанье сердитый конюх.

Хромов поглядел ему вослед:

— А ты сам-то чего, дядя Вася, не подашься от нас никуда?

Василий Ефремович остановился.

— Так у меня же фантазия есть, дурак человек! Где меня нету, там я легко представляю, что там я есть! Я все могу, только не хочу пока что... Пусть все выяснится и утрамбуется на свете, тогда я и нагряну лично. А ты-то что?

— Я в колхозе состою, — ответил Хромов. — Я за себя и за мать работаю.

— Только что! — усмехнулся конюх.

— И я для всех работаю, — робко добавил Хромов.

— Старайся! — насмеялся Василий Ефремович. — Какая твоя работа! Ты от этой работы только сам с матерью кормишься... А для народа ты никто — народ тебя сроду не почувствует: был ты или нет...

Хромову стало грустно; он оглядел свою деревню: в ней жил его народ, но неужели Хромов не нужен здесь никому — живет он или умер, а тот, кто играет на музыке где-то вдалеке или управляет машинами, тот народу нужнее и дороже его?

Григорий не знал, как правильно надо думать об этом, и он начал достраивать колодезный сруб.

К вечеру он закончил работу, собрал инструмент и поспешил к матери. Мать Григория, хоть и была слабой от возраста и давней болезни, но днем никогда не прикладывалась к постели для отдыха и с утра до ночи работала — то по колхозному делу, то по домашней нужде. Когда сын жалел свою мать и просил ее прилечь отдохнуть, она нипочем не хотела и отказывалась:

— Что ты, Гриша! А ночь куда девать... Кто ж нас должен хлебом кормить, и в одежу одевать, и керосином светить! На каждую душу ишь сколь добра всякого нужно, чтоб она жила, а добро-то ведь сработать надобно... Если б днем ложиться, да ночью спать, да поутру чесаться, — да не редкий кто, а каждый бы так, — весь народ с недостатков ослабел бы и помер...

— А ведь ты больная, мама. Тебе можно отдыхать больше...

— Я больная, да терпеливая и к жизни привычная. И что ж, что больная! Все равно ведь и обедаю, и ужинаю, и одежу на себе трачу, и мало ль чего... Чем мне в мыслях жить, когда я бы только от людей брала, а им ничего не давала?..

И сын не мог ей ничего ответить.

В нынешнюю осень Хромова-мать ходила председателем колхоза, как знающая старая крестьянка. Она было хотела отказаться от такой чести и обязанности, но общество не уважило ее просьбу.

— Ты, мать Мавра Гавриловна, хоть и хворая женщина, — сказали ей старики, — и тебе бы пора облегчение позволить, да кто ж тебя удержит, когда ты сама себе покоя не хочешь дать! Ты, гляди, на всякую честную работу с охотой идешь, откуда и мужик норовит вбок уйти. Нужен навоз — ты к навозу любезна, нужно картошку перебрать — ты самой пылью дышишь и кашляешь потом по всей ночи с мокротой.

Аль мы не знаем тебя! Была ты на черном деле хороша, ступай ныне на белое, на чистое. Душа в тебе есть, голова хоть и бабья, да не дурная, колхоз наш не слишком хлопотлив да велик, а можно сказать — мал, хоть лодыря в нем есть много — порядочно. Чего тебе! Живи полной властью...

И с недавней поры Мавра Гавриловна стала жить полной заботой о всем колхозе. Раньше, когда Мавра Гавриловна не ходила еще в председателях, она только вздыхала, когда видела непорядки в общем деревенском хозяйстве, но превозмочь их не могла. Теперь она вздыхать перестала, потому что не о чем было горевать, когда власть была в ее руках и можно стало превозмочь всякий ущерб или недостаток и всякое беспутное злодейство в хозяйстве. Если даже и нельзя сразу все сделать по-доброму, то легче знать, что вина за это находится в тебе, потому что сама, значит, не умеешь совладать с другим нерадивым человеком, сама, значит, негодная, чем видеть эту вину в неподвластных лодырях и праздных гуляках; страшно только то зло, до которого руками нельзя добраться, а когда можно, то чувствуешь себя заранее хорошо, если зло даже и существует пока. Поэтому Мавра Гавриловна почувствовала теперь облегчение, и болезнь ее от улучшения настроения ослабела или забылась.

Она по-прежнему вела домашнее хозяйство в избе и стряпала обед к приходу сына с работы. Делов у нее не стало больше от должности председателя, потому что она с малолетства привыкла к заботе, а что эта забота теперь большая стала, то иная маленькая единоличная нужда либо нехватка сушила кости, бывало, злее всякой большой общественной заботы.

Нынче тоже, как вернулся Григорий с колодезной работы, так мать собрала ему сейчас же на стол, а сама не стала есть, она пообещала покушать после.

— Ефремыч-то опять гуляет? — спросила мать у сына.

— Опять, — сказал сын.

— До весны стерпим его, — решила мать. — На амбаре накат будем менять, некому тяжести поднять — Ефремыча тогда пошлю... А у тетки Аксюши-то третья дочка, Фроська, животом лежит мучается, слыхал иль нет?

— Нет, — ответил Григорий. — Я тетку Аксюшу не видел.

— Ведь это что ж творится!— удивилась мать. — Две девочки летось померли, теперь третья вслед им хворает... Уж не вода ли у нас дурная?

— Вода, — решил сын. — Не вода, а люди... Каждый своим ведром в колхозном колодце воду достает, а дальние проезжают — те конным ведром черпают, а в нашем колхозе дети оттого помирают... Зараза в воду попадает!

Мавра Гавриловна замерла вся от горя.

— Вот кручина-то! Как же нам быть-то, да разве отучишь, упросишь кого, чтоб со своим ведром не ходил по воду, — всякий тебе отрежет, что его ведро и луженое, и чиненое, и чище всех, а наше грязное...

— Не отучишь! — согласился Григорий.

Весь вечер он сидел, по своему обычаю, с книжкой возле лампы и читал, но сам думал о колодце. В учебнике по физике он рассмотрел рисунок деревянного ворота и сообразил, как его надо сделать.

На другой день с утра Григорий начал делать ворот для колодца и к вечеру установил его над срубом, а затем взял цепь и один конец ее укрепил в круглом теле ворота, а другой приклепал к дужке общественной бадьи. Верхнюю дневную поверхность сруба он накрыл деревянной крышкой на петлях.

Когда Григорий уже убирал стружки и мусор от сруба, к нему подошел Василий Ефремович и осмотрел новое деревянное устройство.

— Это ты что ж, товарищ Хромов, всурьез или нарочно тут строишь?

— Немного лучше будет, дядя Вася, — сказал Хромов. — Вода чище станет, а то у детей животы болеют, и они помирают.

— Эк тебе забота: дети помирают! — выразился Василий Ефремович. — А то детей у нас дюже мало! Одни помрут, вторые на смену явятся — ишь ты, чем государство наше испугал... Нас ничем не напугаешь — девки у нас красные, парни геройские: они тебе сколько хочешь народа вперед, впрок нарожают! Да и зачем тому родиться, кто помирает скоро: пускай помирает, его чистой водой от смерти не сбережешь, а и выживет, так все одно он квелый, маломощный будет, — нам таких гражда́н не нужно! Нам такие нужны,

чтоб навозную жижку пили — и серчали, как звери, от лишнего здоровья... А это что — вся твоя тут цивилизация — это безвозмездное дело!

Григорий нахмурился и поглядел на всего Василия Ефремовича.

— Тебе хорошо говорить, ты век свой прожил, а людям неохота помирать в детстве, и матерям их неохота хоронить.

— Это-то хоть так, — поразмыслил конюх. — Я о пользе дела тебе говорил: кто нам нужен, а кто нет.

— А я не о пользе, — сумрачно произнес Григорий Хромов. — Я о жизни, чтоб люди не помирали зря...

— Ну хлопочи, хлопочи, — согласился Василий Ефремович, — мне какое дело, мое дело в дальней стороне... А твое дело тоже не здесь — твое дело славу заслужить и высший почет, чтоб вся вселенная картуз сняла перед тобой, — вот какое твое дело! А ты тут древесину тешешь, чтоб твоя мамаша, председательница, спасибо тебе сказала. Телок ты дурной: вырос давно, а мать все тебе начальство! Рванись вперед во всю прелесть жизни!..

Конюх зарычал от исступленного воображения всей прелести жизни и пошел куда-то за околицу, а Григорий озадачился от его речи.

Вечером Григорий долго читал книгу о дальних перелетах и об автомобилях, которые ехали по Москве, убранные живыми розами. Он склонил голову на стол и задремал. И ему представилось, что он видит автомобиль с плошками роз, поставленными на подножки, видит людей в этом автомобиле, но не может никак разглядеть и узнать их в лицо, а когда узнал, то закричал от радости и заплакал: в машине сидели как герои Гараська и Мишка из ихней деревни. «Мама, — сказал он матери, — я видел теперь всю славу и силу, они к Сталину в гости поехали, — я тоже хочу к нему», — но мать ответила ему тихо: «Не шуми, когда он соскучится по тебе, тогда и позовет, а сейчас — нечего».

Григорий очнулся. Лицо его было покрыто слезами, и сердце дрожало от предчувствия счастья, но в избе было спокойно и неизменно, как было всегда с самого детства: горела лампа на деревянном выскобленном столе, поскрипывал старый железный флюгер-петух на дымовой трубе над крышей, обе-

спокоенный полночным ненастным ветром, и мать спала на печи, она не обещала и не говорила сыну ничего. И Григорию стало вдруг стыдно своего желания счастья и славы, приснившегося ему во сне, и жалко самого себя, не заслужившего ни славы, ни чести.

Наутро пал первый снег. Григорий запряг в роспуски Сончика и Зорьку и поехал в лесничество, чтобы начать вывозку полагавшегося деревне Минушкино леса, заготовленного еще до полой воды. Добрые лошади теряли в теле по невнимательному уходу за ними Василия Ефремовича, но бежали скоро и покорно, давно втянувшись в крестьянский труд.

За околицей шли дети и подростки, играя меж собой в снежки. Они шли с книгами, тетрадями и пеналами, неся их в сумках через плечо или под мышкой, и поспешали в школу-семилетку, что была в деревне Шаталовке в четырех километрах отсюда. Шаталовскую школу окончил весной и сам Григорий Хромов. Все учащиеся дети каждый день ходили из Минушкина в Шаталовку, а потом оттуда обратно домой. В теплое время это было терпимо, но зимой и в непогоду минушкинские дети студились и уставали, а родители беспокоились о них. Человек пять детей по слабости здоровья и вовсе не ходили в школу. Но что было делать — Минушкино деревня малая и учеников в ней немного; район обещал начать строить школу, но не в самые ближние годы, а в прочее будущее время, когда население в Минушкине размножится и подоспеет и со средствами в районе будет свободнее.

Григорий усадил всех детей на роспуски и подвез их до Шаталовки, а потом повернул в лесничество.

На обратном пути Григорий раздумался; лошади шли шагом в тишине зимнего поля, роспуски смирно поскрипывали под тяжестью двух больших хлыстов; близ дороги рос кустарник: маленькие сосны и ели стояли запушенные поверху снегом, как милые дети в стариковских шапках, дети, которые смеются, зажмурившись, и смотрят на всех сквозь улыбку полуоткрытыми глазами, полными спокойного ума.

Григорий сидел на длинных хлыстах, пружинящих от движения роспусков, и шевелил ногами по снегу, обрушенному передними полозами роспусков.

— На амбаре накат еще постоит, — решил Григорий вслух, потому что все равно никого не было в зимнем спящем поле. — Накат не рухнет. Я школу буду строить с библиотекой — сложу за зиму большую избу, пусть хотя бы четырехлетка у нас будет и библиотека — книг на тысячу. А то вырастет у нас из детей бессмысленный народ, а пожилые подуреют без чтения иль жить соскучатся, Василий Ефремович вон совсем одурел... В лесничестве нам полагается еще хлыстов шестьдесят получить, попросим — прибавят: управимся... Ишь ты, ишь ты, Зорька! Что ты делаешь, вредная какая! — и Григорий шлепнул вожжой по крупному туловищу Зорьки.

Мерин Сончик, как более работящая и тягущая лошадь, без понукания перешел на мелкую упористую рысь, но Зорьке это не понравилось, и она, идя в пристяжке, норовила укусить Сончика в морду, чтобы он опять пошел шагом и не заставлял Зорьку бежать: она уже утомилась.

Вскоре открылось Минушкино, оно лежало в отлогой впадине земли; небольшое семейство изб прильнуло к сохраняющей их земле; из нее, из ее веществ и растений они созданы и тут живут. Посреди деревни на улице белела свежая древесина колодезного сруба и ворота, и одна женщина вращала ворот за рукоятку, подымая бадью с водой, что обрадовало Григория. «Пусть пьют чистое», — подумал он.

Дома он сказал матери о своем желании построить за зиму большую избу под школу и библиотеку и попросил у нее разрешения на работу.

Мавра Гавриловна подумала:

— Сложить избу ты сложишь, руки у тебя усердные — по рукам ты весь в отца, — сердце у тебя тоже чистое и нужда у нас в той избе первая. Наш колхоз без школы как без души живет, да и пожилому народу надо занятие дать для ума, пусть будет библиотека для чтения... Ну избу ты сложишь, а дальше что, голова ты беззаботная?

— А чего дальше? — не понял Григорий. — Дальше наука начнется и чтение.

— Наука! — сказала мать-председательница с раздражением. — А учительница нужна, а инвентарь, а прочее что! Денег-то сколько от трудодней надо вычесть: хорошо ли будет-то?

— Нет, то плохо будет, — опечалился было Григорий. — А я тогда в город плотничать уйду и буду все деньги присылать на учительницу и на керосин в школу...

Мать удивилась на своего сына и обрадовалась ему, но сказала иное:

— Да что ты, Гриша! И там люди недаром живут — хватит ли тебе самому-то прокормиться! А я-то кто же тебе? Я захвораю и помру тут без тебя, — иль уж учительница в школе дороже матери тебе стала? Приедет, гляди-ко, козявка какая беспородная, а сын на нее в городе работай!.. Нет уж, моя тут власть — не твоя!

Но дума о будущей тесовой школе-библиотеке, построенной его руками, уже согревала сердце Григория и делала жизнь его влекущей и милой; без этой думы ему стало бы теперь так грустно зимовать в деревне, что он бы ушел отсюда или заплакал.

— Мама, я пристройку там сделаю...

— Это к чему ж еще деньги-то лишние тратить?

— Там столярная мастерская будет. Я начну делать табуретки, столы и скамейки и продавать их в район. И ребят, какие станут в училище учиться, научу работать. Нас много будет работать, и денег много будет — мы карты всего мира купим, книги самые главные купим и учительнице будем жалованье платить...

— Ишь ты, ишь ты, разошелся! — заговорила мать. — Жалованье он будет платить!.. Уймись-ка!

Григория обидело это равнодушие и насмешка матери, и он закричал на нее:

— Сама уймись!.. Люди летать учатся, люди все книги знают, а я ничего, и мне нельзя!..

Он не знал, что нужно еще сказать, — так горе стеснило его мысль, и он вышел вон из избы, не зная, куда уйти. А мать умолкла и осталась одна.

Григорий направился за околицу. Кончался первый зимний день, серый вечер приблизился к деревне с лесной, полночной стороны, и в избах зажглись огни навстречу тьме. Григорий измерил шагами поляну у околицы и решил, что это место будет подходящим для постройки. Затем он пошел ко двору, чтобы взять лопату и расчистить снег на поляне.

В их избе мать тоже уже зажгла свет, у соседей за столом сидели дети с бабкой и ужинали, а старик кузнец, наработавшись за день, лег, наверно, спать, не зажигая огня, — в его избе было темно. Все они жили здесь, добывали хлеб из земли и не мучились, что не умеют летать, — они зато умели пахать и радовались, что другие люди живут героями, возвышая их участь.

Григорий пожалел, что закричал на мать: она ведь тоже всю жизнь не имела того, о чем он жалел, но жила без озлобления. Он поглядел в окно родной избы; мать постелила уже полотенце на край стола, где всегда обедал и ужинал Григорий, а сама сидела у другого конца стола задумавшись. О чем думают матери? Умирая, они оставляют своих детей на земле одних. Как же они должны желать того, чтобы весь свет переменился к лучшему, чтобы дети их продолжали жить, оставшись сиротами, без страха, без гонения, без измождающего горя, а так же бы, как при матери...

Через несколько дней Григорий понял, как непосилен был труд, начатый им. Одному было несподручно — и хлысты возить из леса, и пилить их, и готовить, и класть в венцы. А затем нужно еще из кряжей поделать доски, связать рамы, съездить в район за гвоздями и стеклом и о прочем позаботиться. Но Григорий знал, что помочь ему некому, и с терпением выносил свой неподъемный труд. «Переживу, — думал он, — жалеть еще буду, что скоро построил; тогда запруду начну сыпать, пруд нам нужен: рыба — хорошая пища». Особенно неподъемно было укладывать в одни руки стенные бревна; однако, помучившись, Григорий устроил приспособление из веревки и деревянного блока, и ему стало чуть-чуть легче.

Конюх Василий Ефремович исчез из колхоза — думали, что невозвратно, но недели через две он возвратился, столь же неприкаянный, что и прежде. За это время Григорию пришлось в добавление к своей работе ухаживать также и за лошадьми, потому что их некому было поручить, — поэтому Григорий больше всех обрадовался возвращению Василия Ефремовича.

Конюх первым делом явился к Григорию на постройку.

— Новый мир, что ль, строишь опять? — заинтересовался Василий Ефремович.

— Нет, избу для школы, — сказал Григорий.

— Зря, — высказался Василий Ефремович. — В этой школе никакой карьере все равно не научишься...

Григорий промолчал; ему некогда было, он в это время хотел испытать, как он будет разделывать бревна на доски в одиночку; доски ему нужны были на подмости. Он влез на высокие козлы, на которых лежало бревно, и заправил в бревно поперечную пилу; пилить надо было отвесно, вверх и вниз, но пилу заедало в древесном распиле, она играла и не шла в работу. Григорий спрыгнул на землю и пошел в овраг, а Василий Ефремович стоял в стороне и смотрел, что дальше будет. Григорий принес из оврага самородный камень пуда в два весом, затем обвязал его веревками и подвесил к нижней рукоятке пилы. Работа далее пошла правильно, но тяжело. Ведя пилу вверх, Григорий не только совершал распил, но и подымал камень, подвешенный снизу к пиле, вниз же пила шла под нажатием рук Григория и вывешивалась тяжестью камня, не позволявшего пиле играть и заедаться. Григорий работал в одной рубашке и без шапки, но ему было тепло в работе и пар шел от его рта и лица.

— Это сурьезно, — произнес Василий Ефремович в размышлении. — Он и без наших масс управляется...

Он снял с себя полушубок, бросил его на бревна и подошел под козлы, где ходила пила. Уловив момент, Василий Ефремович приостановил пилу, снял тяжкий камень с нее и свергнул его на землю.

— Ты что там? — спросил его сверху Григорий.

— Обожди! — приказал Василий Ефремович. — Дай я возьмусь с тобой.

Григорий обождал работать и промолвил:

— К чему тебе браться, дядя Василий? Я один приноровлюсь и стерплю...

— Как так к чему! — осерчал Василий Ефремович. — А я кто такой — скотина, значит, по-твоему?

— Нет, — ответил Григорий, — какая ты скотина, — скотина такая не бывает... Я про школу тебе говорю — зачем тебе браться за пилу: школа тебе не нужна и весь новый мир тоже ни к чему.

— Верно, — согласился дядя Василий. — Ни к чему. А я не из-за того, я не ради школы и не из прочего: я ради тебя —

ты для меня теперь вроде осьмушки всей вселенной представился, потому что от тебя мне внутри хорошо стало! Но только непонятно, пользы я не вижу...

— Держи пилу крепче! — крикнул Григорий сверху.

И они вдвоем начали пилить бревно вдоль, во всю длину, дыша в два сердца в лад работе.

ВСЯ ЖИЗНЬ

В глубине нашей памяти сохраняются и сновидения, и действительность; и спустя время уже нельзя бывает отличить, что явилось некогда вправду и что приснилось — особенно если прошли долгие годы и воспоминание уходит в детство, в далекий свет первоначальной жизни. В этой памяти детства давно минувший мир существует неизменно и бессмертно... Росло дерево где-то на поляне, в окрестностях родины, освещенное июньским полуденным солнцем; свет неба лежал на траве, и от волнения зноя тень древесных листьев неслышно трепетала по травяной сияющей земле, словно видно было, как дышит солнечный свет.

Томительно и скучно было сидеть десятилетнему мальчику Акиму под тем деревом, но в сердце его жило само по себе тихое, счастливое чувство, питаемое теплом земли, светом солнца, синим небом над далекими полями и воображением всего этого видимого, еще непривычного мира внутри собственной детской души, как если бы и трава росла, и свет светил, и ветер шевелился не снаружи, а в глубине тела Акима, — и ему интересно было жить за них и воображать, что думают и чего хотят ветер, солнце и трава. В детстве весь мир принадлежит ребенку, и Аким все, что видел, превращал в собственное переживание, думая про себя как про дерево, про муравья, про ветер, чтобы угадать, зачем они живут и отчего им хорошо. Мать велела ему уйти со двора гулять и не приходить до обеда, а еще лучше — до ужина, чтобы Аким не просил раньше времени есть... Аким обиделся на мать: «Я совсем к вам больше не приду, живите одни, или вернусь на старости лет, когда вы все умрете, а я один буду». У матери Акима было много

детей без него, она уморилась от нужды и семейства, и она сказала сыну:

— Вот обидишь-то! Вот заплачем-то! Да уходи куда хочешь — век тебя не видать!

И Аким ушел из дома; он любил ходить вокруг своего двора в просторных полях, в кустарниках, по склону большого оврага, заросшего березовой рощей, и каждый раз находил тайные задумчивые места, где он никогда не был.

Увлеченный своим интересом и наблюдением, тихо, как дремлющий, шел в природе маленький Аким. И он вышел на дальнее поле, что находилось над рекою Старая Сосна. Был летний праздник, люди ходили хороводом по полю у опушки леса; они рвали ветви с листьями, собирали цветы на межах у растущих хлебов и завивали венки. Они пели песни, держали друг друга за руки, и чужая мать, пахнущая цветами, обновками и теплым лицом — не так, как пахла мать Акима, — чужая женщина взяла к себе Акима на руки и стала его целовать, стала с ним играть и смеяться, а потом накормила его белыми пышками. Здесь гуляла чужая деревня: в Акимовой деревне пшеницы не сеяли и белого хлеба не пекли, у них ели черный хлеб, картошку и лук. До заката солнца пробыл Аким посреди чужих людей, глядя в их незнакомые, милые лица, слушая музыку, которую играли на гармони, и позабыв свой дом. Он сидел на обрыве земли над рекой. За тою рекой, на другом берегу, лежали луга, и Акиму было видно, как там вдали, на земле и на небе, кончался день — свет скрывался в туман, в синий вечер, в большую и страшную ночь, где уже сверкают зарницы над глубокими травами, поникшими в сонной росе.

Наступило время, стало поздно, и Акиму давно было пора идти домой, но ему не хотелось, он думал совсем остаться здесь, где очутился. И одна большая, веселая и босая тетка из чужой деревни взяла Акима за руку и повела его с места, чтобы малый шел спать к своему двору. Тетка вывела Акима на межселенную межу и оставила его там, дальше он сам найдет дорогу в свою деревню. Аким и без тетки знал, что отсюда начинается земля его деревни, но ко двору не пошел. «Не пора еще», — сказал он сам себе; он не любил уходить оттуда, где ему нравилось, и оглянулся назад, на тетку.

Чужая тетка бежала большими ногами обратно к своим по сырой вечерней траве. «Толстая, сытая, — подумал про эту тетку Аким. — Харчи едят... Не пойду я домой, чего я — отца с матерью не видал: увижу. Ворочусь обратно к чужим, они по своим дворам пойдут, и я с ними, они меня примут в гости, а я у них наемся белых пышек и блинов: пузо станет, как барабан, сразу вырасту, большой буду, уйду в дальний край... Нет, обожду в чужую деревню ходить, пускай они меня сначала забудут, а я сзади них пойду. А то эта тетка толстая вспомнит меня и прогонит: ты опять, скажет, здесь, иди отсюда, полуночник! — Обожду... А уж пойду к ним в гости, попрошусь дней на пять или на четыре. Пускай дома хлеба больше останется, тогда мать с отцом наедятся получше и братья с сестрами, Паньке и Дуньке, Сеньке и Фильке моя доля прибудет, и никто в нашей избе ругаться и поганить черным словом не будет».

Аким сел под зреющую постаревшую рожь и осторожно потрогал рукою колос. Затем Аким наклонил этот колос и рассмотрел его: в колосе наливались влажные, нежные зерна хлеба; Аким решил, что они такими и должны быть, потому что дожди идут чистые, росы тоже ничего, только хлеб все равно испекается в печке черный и кислый, непохожий на эту светлую рожь.

В полях и на небе потемнело, запахло сырой сонной землей и цветами, склонившими свои высокие головы вниз, на плечи соседней травы. Аким посмотрел на рожь — ее колосья дремали, — значит, хлеб тоже хотел спать, и Аким, подумав, прилег головою на ком выпаханной земли, чтобы подремать наравне с травою и рожью.

Засветились звезды на небе. «А они проснулись и глядят! — увидел звезды Аким. — Я тоже не буду спать, а буду глядеть, а то мужики и бабы вернутся ко двору в свою чужую деревню, сядут ужинать и поедят всю еду, а я так останусь, а у них, сразу видать, харчи хорошие — люди у них белые, сытые, горластые... Нагулялись теперь, придут и поедят всё без остатка. Пойду и я за ними, а то не управлюсь!»

Аким вышел на ночную поляну над рекою. Там было уже пусто, люди ушли на ночлег, лишь вдалеке на другом берегу реки светились четыре огонька в избушках таинственной

чужой деревни. Аким пошел по росе туда, боясь опоздать к ужину.

В курене, около деревянного моста жил древний старик; он сидел сейчас у маленького костра и грел себе на ужин кулеш на горящих щепках или суп с картошкой и луком, что-нибудь одно. Аким спросил у старика:

— Дедушка, а ты не видел — народ тут проходил на свою деревню, мужики и бабы, или нету их еще? Они там вон песни пели, ничего не делали.

Старый человек сидел, склонившись над пищей в котелке, он не поглядел на мальчика и не ответил ему: должно быть, ему надоело уже и примечать, что делается вокруг него, и говорить, и думать — пускай творится везде, что хочет, а его дело уже прожитое. В дневное время этот старик постоянно чинил мост, а ночью сторожил его, но мост все равно умирал, потому что дерево на мосту обветшало от старости лет, оно дышало, как пустое, под ногами Акима.

Где теперь, спустя целый человеческий век, тот дед у деревянного сельского моста? Может быть, живет и дышит еще где-нибудь: привык жить, а отвыкнуть забыл. А мост, наверно, давно снесен полой водою. Но что там есть теперь — через пятьдесят с лишним лет? Кто жив еще из людей, завивавших венки на высокой поляне во времена детства Акима, и что растет теперь на той земле — обычная трава или нет, и какие там стоят технические сооружения?..

Аким перешел мост и, чтобы меньше бояться тьмы, побежал скорее через луг на свет в окне, горевший ему навстречу из чужой деревни.

Крайняя избушка, в которой горел свет, была небольшая и неважная на вид. Аким влез на завалинок и поглядел внутрь избы, что там делается. В горнице за столом, покрытым скатертью, сидела худая женщина и ела ужин из чашки. Аким подумал про женщину, что она старуха, но для него все люди тогда, кто немного старше его или больше ростом, были стариками и старухами. Около женщины стояли прислоненными к столу два костыля. «Она, значит, хромолыдка! — решил Аким. — Сидит одна, венки завивать не ходит, ей не нужно». Он тихо постучал в стекло. Хромая женщина обратила свое лицо к окну, и Аким увидел незнакомые до-

брые глаза, спокойно глядевшие на него из глубины чужого сердца, словно издали. Женщина взялась за костыли и пошла, опираясь на них намученными руками, чтобы отворить дверь и встретить гостя.

Аким вошел в избу и спросил хромую:

— Ты тут живешь?

— Тут, а где же, — сказала женщина. — Садись ужинать со мной.

— Наливай в чашку и ложку давай, — согласился Аким.

Но женщина села обратно на лавку и составила свои костыли.

— Сам себе налей, — сказала она. — В печке горшок с молочной лапшой стоит, лапша еще теплая... Ты видишь, я хромая. Бери мою чашку и ложку, я наелась. Хлеба себе отрежь, — сеяного возьми, черный я весь поела.

Аким начал самостоятельно управляться по хозяйству, а женщина молча следила за мальчиком с тем опечаленным терпеливым смирением, которое походило на скромное, но нерушимое счастье.

— Уж солнце-то давечь зашло, — сказала хозяйка и спросила у Акима: — А ты сам-то чей? Куда ты идешь в темное время такое?

— На шахту иду, — ответил Аким; он еще не думал, куда ему идти, но сейчас решил тронуться туда; у него дядя работал шахтером около Криндачевки, он письмо прислал оттуда, давно уже, и писал, что шахтеры живут сытно; отец Акима читал письмо вслух, по всем буквам.

— Уморишься, — произнесла хромая. — И по тебе отец с матерью соскучатся.

— Отец с матерью привыкнут, а потом забудут, — говорил Аким, кормясь молочной лапшой из большой чашки. — Я им заработки буду присылать, когда деньги скоплю.

— А ты откуда родом-то? — спрашивала женщина, и лицо ее воодушевилось интересом к посторонней жизни, забытым в болезни и одиночестве.

— Я нездешний, — рассказал Аким. — Я сам с Меловатки.

— С Меловатки? — удивилась хромая женщина. — Так от нас туда версты полторы будет ли, нет ли?.. Какой же ты нездешний?

— Я недальний, — соглашался Аким. — А ты чем больна, ногами?

— Добро бы одними ногами, — произнесла женщина, — а то я всем больна: слабостью... Доедай всю лапшу, не оставляй ничего — некому есть.

— Я всю, — сказал Аким. — А кто тебя кормит?

— Сыновья у меня. Они в разделе живут, из-за снох, а сами добрые и кормят меня хорошо, жаловаться не на что, — отвечала хозяйка избы. — Да мне помирать уж пора.

— Живи, чего тебе, — сказал Аким. — Харчи есть, в избе покой. У нас хуже.

— Не к чему жить... Я стара, больна, ходить не могу, побыть со мной некому, у всех своя нужда, чужая душа... Поел, что ль? Пора укладываться, я лампу буду тушить.

Акиму хозяйка велела достать из сундука чистую циновку и ложиться на пол, а потом она задула лампу, с трудом и болью забралась на кровать и утихла на ночь.

И пришлый Аким прижился в чужой избе. Он помогал хромой хозяйке убирать горницу, ходил по воду и приносил солому и хворост на истопку печи. Больной женщине было сподручней и веселей жить с Акимом, и она его не гнала от себя, только говорила, что отец с матерью скучают по Акиму и ему бы пора наведаться домой. Но Аким не хотел: «Домой я успею, — отвечал он, — у нас земля малодушная — суглинок, песок, известка — с нее не наешься. А прошлое лето дождей было мало, ни росы, ни сырости, чем там кормиться. Пускай мою долю родные съедят — у нас шесть душ, я седьмой, рты большие, а я у тебя буду, тебе ведь скучно. Ты хромая, сидишь одна в избе, а теперь я с тобой — тебе лучше».

Хромая женщина соглашалась с подростком, что с ним ей жить лучше, и поговорить есть с кем, и посмотреть есть на кого.

— С тобой мое сердце отвлекается от думы и часы скорее идут, — говорила хозяйка. — Да ведь ты на шахты скоро уйдешь...

— Погощу у тебя еще, — обещал Аким.

Но через два или три дня жизни у хромой хозяйки Аким захотел уйти от нее куда-нибудь в более дальнюю сторону, а сначала наведаться домой — живы ли там отец с матерью

и братья с сестрами, а то бывает, что люди умирают сразу, и сердце Акима заболело по-бедному от этой мысли. Но ему надо терпеть жизнь на чужой стороне, чтобы дома больше оставалось харчей.

На четвертый день хромая старуха послала Акима прополоть картошку на огороде, который был при дворе за пустой ригой. Аким пошел в огород, и хозяйка вышла туда вслед за ним: Аким стал полоть ненужную траву, зря евшую землю, а хромая стояла в отдалении, опершись на свои костыли, и глядела на мальчика, чтоб не скучать одной в избе.

Хромая женщина, согнувшись вся, бессильно висела на своих костылях, и Аким заметил теперь, что у нее был небольшой горб, нажитый или природный. «На Конек-Горбунок похожа! — подумал Аким, вспомнив сказку, которую читала ему сестра Панька. — Я работаю, а она стоит, ничего не может. Зря живет. Или нет — ей тоже нужно жить, раз она родилась. Не нужно, она бы не рожалась. Кому не нужно жить, того нет».

С ночной стороны продувал холодный неровный ветер, лето менялось и задолго давало предчувствие об осени; опять придется сидеть в закрытых избах, играть и ссориться с малолетними братьями и сестрами, ждать, когда будет обед, когда ужин, и стараться поймать из общей чашки какой-нибудь кусок, хоть картошку, побольше — и получить за это от отца пустою ложкой по лбу... «Нет, я ко двору не вернусь, пойду в дальние края, покуда тепло», — обсуждал свою судьбу Аким на чужом картофельном огороде.

— Иди, бабушка, домой! — сказал он хозяйке избы. — Ветер холодный, остудишься, потом помрешь!

— Ничего, милый, — ответила хромая женщина. — Я хоть обветрюсь и продышусь.

— Обветрится она! — хрипло серчал Аким. — Ты же немощная, больная вся такая, иди в избу, говорят тебе! — указывал Аким, вспоминая своего сердитого отца. — Ишь ты, хромолыдка какая, век тебя не видать!

Хромая со страхом и печалью смотрела на своего гостя, потом молча пошла в избу, волоча за собой убогие ноги.

— Горшок с кашей подальше в печку задвинь, а то остынет к обеду, — сказал Аким вслед хозяйке.

— Чего уж кричишь, я сама знаю, — ответила ему издали хромая женщина. — С салом будешь есть-то или с маслом постным?

— С салом, — пожелал Аким.

К обеду он управился прополоть огород, затем вышел за ворота, поглядел в свою родную сторону и пошел в избу обедать. Наутро хозяйка не встала с кровати, она занемогла.

— Остудилась! — говорил ей Аким. — Зачем ты на ветру стояла? Будешь теперь знать!

— Мне давно уже недужилось, — отвечала больная. — Сверху пот выходит, а внутри я сохну вся. И до тебя я лежала, а ты вот пришел когда в гости, мне будто полегчало, я отдышалась, есть на кого поглядеть стало, а теперь вот опять. Это я не от ветра, я давно таю сама по себе... Когда усну, чувствую, что плыву я по водам куда-то и вода меня испивает, проснусь — и весу во мне мало, я легкая, словно и нет меня...

— А где сыновья твои живут, давай я за ними схожу, сюда их кликну, — сказал Аким.

Женщина подумала и не велела Акиму ходить.

— Пока не надо... Да они уже привыкли, что я хворая. Старшего нет — он на неделю в город уехал, а второй был недавно, он крупу принес и бутылку керосина, — теперь его долго жена не пустит; может, и зайдет когда тайком от нее...

На ночь Аким постелил себе на полу возле самой кровати больной хозяйки, чтоб услышать, когда ей плохо будет, и сразу проснуться на помощь.

Стало тихо и темно во всей деревне. Через окно были видны две звезды, еле светившие от своей слабости, и по временам они припотухали вовсе, а потом опять светились, неясно, как во сне. В дальних полях изредка покрикивали поздние перепела — один голос спрашивал, а другой отвечал. И опять было молчание, и через приоткрытую дверь в сени прохладно пахло со двора свежей травой, напитавшейся росой.

— Спать пора! — сказал Аким и повернулся на правый бок.

— Спи, — ответила ему больная хозяйка с кровати. — Я костыль тут один поставлю, около твоей головы. Когда я буду хо-

лодеть, я им постучу об пол, ты проснешься и попрощаешься со мной. А сейчас спи.

— Ладно, — произнес Аким и уснул.

Он проснулся в страшной тьме, даже две слабые звезды ушли, на небе за окном, там теперь ничего не было — пустая тьма, и перепела умолкли в дальней ржи. Акиму снова захотелось спать, но он боялся теперь закрыть глаза, чтобы кто-нибудь не подполз к нему невидимо во мраке или не показался снаружи в окне.

— Аким, — тихо сказала больная женщина. — Это я тебе костылем стучала. Встань ко мне, засвети огонь. Мне худо, я стыну вся.

Услышав голос хозяйки избы, Аким перестал бояться тьмы и ночи; он потянулся в теплоте сна, закрыл глаза и, серчая, что не может тотчас встать, решил лишь подремать чуть-чуть и сразу подняться: хромая старуха не успеет остыть, она привыкла хворать, сама говорила. Стараясь вспомнить, что нужно проснуться, Аким уперся рукою в подстилку и, забыв сам себя, положил голову обратно на подушку. Но сквозь сон Аким услышал стук, который все приближался, — точно издали, еле слышно кто-то шел к нему или просился в его сердце, а он не мог подняться навстречу ему и ответить.

Костыль стучал по полу около уха Акима, больная женщина шепотом звала мальчика, но Аким бормотал в детском сне и не мог пробудиться. Женщина застучала костылем сильнее. Аким открыл глаза и вспомнил больную. Костыль перестал стучать, он покойно стоял нижним концом около самой головы Акима. Теперь было тихо; Аким прислушался — хозяйка редко и тягостно дышала, но больше не звала его. «Уснула, — решил Аким, — пусть спит, к утру ей полегчает». Он осторожно взял костыль и спрятал его под кровать, чтобы хромой хозяйке нечем было стучать и чтоб она спала, и Аким опять уснул.

У женщины, лежавшей на кровати, замирало сердце от старой слабости; она старалась глубже дышать и уснуть поскорее, но руки у нее холодели и теряли силу, она боялась, что не поднимет ими костыля, не успеет разбудить Акима и умрет одна, ни с кем не попрощавшись. И она снова по-

звала Акима еле шепчущим ртом, а затем протянула руку, чтобы постучать костылем, но костыля не было. «Он упал на пол, — подумала больная, — подняться за ним я сейчас не могу, мне и пошевелиться мочи нет; я подожду умирать до утра, буду дышать и проживу, пока не проснется Аким, нечем его разбудить».

Она прожила до утра. Аким выспался и проснулся.

— Ты жива? — спросил он хозяйку.

— Жива еще, — ответила женщина с кровати. — Мне легче будто стало и в сон тянет, я всю ночь не спала... Укрой мне ноги потеплее, достань мою шушунку из сундука. Обед сам себе сготовь — крупа в кадушке в сенцах стоит, сала себе отрежь...

— Сготовлю, — согласился Аким. — Опять жить будешь, только отоспишься?

— Как отдохну, так опять поживу, — пообещала больная хозяйка.

— Живи, — сказал Аким. — А я пообедаю и дальше пойду — на шахты.

— Ступай, — тихо произнесла хромая женщина. — С шахт назад ворочаться будешь, заходи опять гостить ко мне.

Аким укрыл ноги хозяйки шушункой поверх одеяла, подбил ей подушку и ответил:

— Зайду... Я нескоро ворочусь, а к тебе все одно приду. Тогда я заработок домой понесу и тебе гостинцев куплю иль обновку какую.

— Шаль мне купи, хоть полушалок, чтоб я не стыла, — попросила старая женщина.

— Из шерсти, — сказал Аким. — Я знаю. У моей матери была шаль, отец ее продал и пшена купил.

После обеда Аким взял себе кусок хлеба побольше и пошел на большак за деревню. Отец ему говорил когда-то, что по этой большой дороге все люди на шахту идут, и дядя ушел...

Вернулся Аким обратно нескоро — через пятьдесят пять лет. Из этих пятидесяти пяти лет отсутствия каждый день он хотел уйти домой, но ему нельзя было: то нужда и работа, то свои дети, то тюрьма, то война, то прочая забота, — так и прошла вся жизнь: небольшое мгновенное время, как убедился Аким. Весь свой век он готовился к чему-то наилучше-

му и томился, но не мог опомниться, пока не стал стариком. И теперь, в старости, он опять стал одиноким и свободным, каким был в детстве. Дети его выросли и живут сами по себе, а жена умерла.

И тогда старый Аким пошел домой. Где был большак, откуда он тронулся на шахты, теперь проходила железная дорога. Но Аким не поехал по железной дороге, а шел по обочине ее пешком.

В памятном месте он свернул с большака на деревню, где жила хромая женщина, некогда приютившая его, и сразу заблудился, не узнавая ничего. Он вошел в большой город, полный домов и богато живущих людей. Аким пошел по направлению к реке, по смутному воспоминанию, чтобы выйти на высокую поляну и оттуда добраться до своей деревни; там он оставил свое первое старое семейство — отца с матерью, братьев и сестер.

Реки не было. Он спросил у пожилого прохожего, где же река. Ему ответил прохожий, что реку давно впустили в трубу, а трубу зарыли в глубь земли...

Старик пошел далее по долгой улице, уставленной сплошь светло-желтыми, украшенными снаружи домами. Улица и после пересечения с рекой, схороненной в трубе, шла ровно, нигде не видно было той высокой поляны, посреди которой завивали венки в детстве Акима.

Старик миновал весь город и вышел на гладкий асфальтированный тракт. То место, где стояла его родная деревня, он не мог теперь обнаружить. Только печные углы из избы отца, может, лежат где-нибудь под фундаментом незнакомого дома. Аким воротился обратно в город, свернул в боковую улицу и вошел в попутный сад на площадь. Там он сел у фонтана и опомнился. У фонтана было прохладно, тихо, пахло дорогими посаженными цветами. Новые, сытые дети играли в горке песка за фонтаном; их сторожила молодая женщина с задумчивым лицом, одетая в белое платье с цветами; она ходила вокруг детей, занятых между собою, читала книжку, а иногда что-то говорила детям, наверно, делала им наставление.

Старый Аким подошел к задумчивой молодой женщине и спросил ее, полагая, что, может быть, он обознался, заблудился и пришел не на родину, а в чужое место:

— А вы не знаете, что тут раньше находилось, когда города не было?

— Знаю, — улыбнулась женщина ему в ответ. — Здесь были поля, леса, соломенные деревушки, а в них жили печальные, бедные люди.

— Верно, — согласился старик Аким и отошел от красивой молодой женщины.

Он вспомнил рожь и деревья, которые росли здесь в его детстве, сияющие летние дни, волнение зноя и трепетание теней древесных листьев на траве. В природе и в мире все это было и исчезло, но в нем, в человеке, ничто не забудется, пока он жив. Старик, варивший себе ужин у деревянного сельского моста, и женщина-хромолыдка, которой Аким не успел принести в подарок шерстяной полушалок, давно отжили на свете, но они существуют в чувстве и памяти старого Акима как любимые и бессмертные.

— А ну пойди сюда! — сказал Аким задумчивой женщине в белом платье с цветами.

Девушка молча и вежливо подошла.

— Ты чья? — спросил ее старик. — Давно здесь живешь или пришлая?

— Я родилась здесь, — ответила девушка. — Я дошкольница, в детском саду работаю, я Надя Иванушкина. А вы?

— Я рабочего класса, а родился тут, только давно уже, в старинное время, когда тебя не было.

— Меня не было, — согласилась Надя Иванушкина. — Я недавно живу: девятнадцать лет.

— А я уж в эти годы стариком почти был: на шахтах давно работал, женился и сын у меня рос, а мальчишкой в тюрьме отсидел — не в последний раз.

— А ваш сын здесь живет? — спросила Надя.

— Нет, не живет, — сказал Аким. — Я пришел один... Ступай занимайся с детьми.

Надя еще постояла возле Акима в стеснении и неловкости, а затем отошла к малолетним детям.

Старому Акиму она не понравилась, поэтому он и подозвал ее к себе, но не стал обижать.

Прежние люди, умершие и старые, должны были жить печальными и бедными в нищих жилищах, чтобы эта Надя

Иванушкина могла легко работать, быть красивой и задумчивой, одеваться в белое платье с цветами, жить в каменном доме и есть сытную пищу на обед и на ужин. Прежние люди не жалели себя — даром родились, даром померли. А эти — ишь какую жизнь себе выдумали!

Старый Аким раздумался, загоревал, сморился и уснул; он сидел на скамье, склонив голову на руки, окруженный благоухающими цветами, обдуваемый прохладой фонтана, в тишине распустившегося всеми листьями сада.

В сумерках он проснулся. Детей у фонтана не было, их, наверно, развели по домам. Но Надя Иванушкина сидела теперь одна в отдалении от Акима. Старик поглядел на нее и опять закрыл глаза.

Надя по своей воле подошла к дремлющему старику.

— Дедушка, — сказала она, — вы к кому приехали?

Аким открыл глаза на нее.

— К тебе в гости, — осерчал он.

— Ну пойдемте, — согласилась Надя Иванушкина.

Старик поднялся. «Все одно, — подумал он, — пойду погляжу». Надя жила недалеко — в чистой, убранной комнате. Она приветила старика и налила для него в тарелку супа с мясом.

— Ешьте, — пригласила она. — Я уже обедала.

— Замужняя? — спросил Аким.

— Нет еще. Одна живу, —сказала Надя. — Сейчас я вам второе подогрею.

— Грей, — сказал Аким. — А где я спать буду, у тебя одна кровать?

— На ней вы и будете спать, — решила молодая хозяйка. — А я на полу себе постелю. Я привычная, я на постройках работала, в общежитиях и в бараках жила, всего повидала.

Старик всмотрелся в эту девицу.

— Ишь ты! — произнес он.

Отобедавши, Аким сразу лег в мягкую постель на ночлег. Усталый и старый, он долго, однако, не мог уснуть — привык маяться. Надя уже давно спала на узком ковре на полу, сжавшись по-детски под простыней.

Среди ночи старик захотел вдруг пить.

— Хозяйка, дай пить! — шумно сказал Аким.

Надя сейчас же поднялась, чуткая, как неспавшая, сходила в одной рубашке на кухню и принесла оттуда стакан воды, а потом опять легла.

Напившись, старик уснул и во сне стал плакать, точно в нем освободилась опечаленная, измученная за долгую жизнь душа. Он не видел сновидений и не чувствовал страданий, но ему становилось все легче и легче, сон поглощал его глубже, он отдыхал; Аким не знал, что он плачет.

На рассвете старик проснулся. У его изголовья сидела Надя и утирала ему слезы своей ладонью.

— Успокойтесь, — говорила она, — вы давно плачете.

— Не чувствую, — сказал Аким.

— Ну теперь проснитесь и успокойтесь, — попросила его молодая хозяйка и поцеловала Акима в лоб. — Я понимаю.

Старик привлек к себе Надю, сжав ее голову руками.

— Прежние люди забыты, они умерли, а избы их сопрели, — произнес Аким. — Но ты не хуже их, ты должна быть лучше.

— Мы лучше, — доверчиво сказала Надя.

— Я помню их, ты запомни меня, а тебя запомнят, кто после тебя народится, те будут неизвестные — еще лучше тебя, — говорил старый Аким. — Так и будем жить один в другом, как один свет.

Надя слушала старика. Аким умолк. Ему теперь было уже привычно жить здесь — в чужом городе на месте родной деревни. Перед ним был все тот же знакомый с малолетства вечный человек, только моложе хромой старухи и счастливее ее.

— Я завтрак буду готовить, — сказала хозяйка. — Мне на работу сегодня идти.

— Готовь, чего же нам ждать, — ответил Аким.

— Дедушка, а отчего вы плакали ночью? — спросила Надя.

Старик ничего не сказал. Он не помнил, что плакал.

Надя задумалась.

— Вы жили, должно быть, плохо. Ушли далеко и всех забыли, пришли к нам — и нас не узнали. А забытые без вас все умерли, а ночью они пришли к вам в сердце. Но теперь их никого нет, не плачьте, теперь одни мы живем...

Старый Аким смолчал. Он понял, что жизнь в людях стала выше, и оробел перед этой девушкой Надей.

УЛЯ

Жил однажды на свете прекрасный ребенок. Теперь его забыли все люди, и как его звали, тоже забыли. Никто его не помнит — ни имени его, ни лица. Одна бабушка моя помнила того прекрасного ребенка, и она рассказала мне о нем, какой он был.

Бабушка сказала, что ребенка звали Уля, и это была девочка. Все, кто видел маленькую Улю, чувствовали в своем сердце совестливую боль, потому что Уля была нежна лицом и добра нравом, а не каждый, кто смотрел на нее, был честен и добр.

У нее были большие ясные глаза, и всякий человек видел, что в их глубине, на самом их дне, находится самое главное, самое любимое на свете, и каждый хотел вглядеться в глаза Ули и увидеть на дне их самое важное и счастливое для себя... Но Уля моргала, и поэтому никто не успевал разглядеть того, что было в глубине ее ясных глаз. Когда же люди снова смотрели в глаза Ули и некоторые уже начинали понимать то, что они видят там, Уля опять моргала, и нельзя было узнать до конца, что было видно на дне ее глаз.

Один человек успел, однако, посмотреть Уле в глаза до самого дна и увидеть, что там было. Этого человека звали Демьяном; он жил тем, что в урожайные годы дешево покупал хлеб у крестьян, а в голодные годы дорого продавал его, и был с того сам всегда сыт и богат. Демьян увидел в далекой глубине Улиных глаз самого себя, и не такого самого себя, каким он всем казался, а такого, каким он был по правде: с алчной пастью и с лютым взором; скрытая душа Демьяна была явно написана на его лице. И Демьян, как увидел себя, ушел с тех пор с места, где он жил, и никто про него долго ничего не слышал, и уж стали было его забывать.

В глазах Ули отражалась одна истинная правда. Если жестокий человек имел красивое лицо и богатую одежду, то

в глазах Ули он был безобразным и покрытым язвами вместо украшений.

Сама же Уля не знала, что в глазах ее отражалась правда. Она была еще мала и неразумна. А другие люди не успевали разглядеть себя в ее глазах, но всякий любовался Улей и думал, что жить хорошо, раз она существует на свете.

Уля не знала своей родной матери и родного отца. Ее нашли в летнее время под сосною у дорожного колодца. Ей было тогда несколько недель от рождения; она лежала на земле, завернутая в теплый платок, и молча глядела на небо большими глазами, в которых менялся цвет: они были то серые, то голубые, то вовсе темные.

Добрые люди взяли ребенка к себе, а одна бездетная крестьянская семья назвала ее своей дочерью и окрестили ее Ульяной. И всю свою раннюю детскую жизнь Уля прожила в избе у приемных родителей.

Когда она спала, глаза ее бывали закрыты наполовину, и она словно смотрела ими. А под утро, когда рассветало на дворе, в полуоткрытых глазах Ули отражалось все, что было видно за окном избы. Она спала на скамье, и лицо ее освещал ранний день. Ветви ивы, росшей за окном, облака, озаренные первым кротким солнцем, и пролетающие птицы — все это было один раз снаружи, а второй раз — светилось в глубине Улиных глаз; но в Уле облака, и птицы, и листья ивы были лучше, яснее и радостней, чем их видели все люди.

Приемные родители так любили маленькую Улю, что от тоски по ней они каждую ночь просыпались. Они сходили с полатей, приближались к Уле и подолгу смотрели в сумраке на спящую чужую дочь, которая им стала милее родной. Им казалось, что свет светит из ее полузакрытых глаз, и в бедной избе было хорошо в этот час, как в день праздника во время их молодости.

— Уля, должно быть, скоро умрет, — тихо говорила мать.

— Молчи, не кличь беду, — говорил отец. — Чего ей помирать в малолетстве?

— Такие долго не живут, — опять говорила мать. — У нее глазки во сне не закрываются. — В их деревне было поверье, что дети, у которых не закрываются во сне глаза, рано умирают.

Сколько раз мать хотела своею рукою опустить веки на глаза Ули, но отец не велел трогать ее, чтобы не испугать. Днем, когда Уля играла в углу с лоскутьями или переливала воду из глиняной миски в железную кружку, отец и тогда остерегался прикоснуться к дочери, словно боясь повредить ее маленькое тело.

Светлые волосы росли на голове Ули, и они вились в локоны, будто это ветер вошел в них и замер. А мягкое лицо Ули и во сне, как наяву, всматривалось куда-то и было озабочено. Отцу и матери казалось тогда, что Уля хочет спросить их о чем-то, что мучает ее, и не может, потому что не умеет говорить.

Отец позвал к Уле доктора-фельдшера. Может, думал отец, у нее есть какая боль и доктор поможет ей. Доктор послушал дыхание Ули и сказал, что у нее все пройдет, когда она вырастет.

— А отчего она всем мила? — спросил отец у доктора. — Лучше бы она была похуже!

— Это игра природы, — ответил доктор.

Отец с матерью обиделись.

— Какая игра! — сказали они. — Она ведь живая, а не игрушка.

Другие люди по-прежнему старались посмотреть в глаза Ули, чтобы увидеть там, какие они есть по правде. Может быть, кто-нибудь и видел себя самого, только про это не говорил, а говорил всем, что не успел рассмотреть, потому что Уля моргнула.

Все люди узнали, что глаза Ули меняли свой цвет. Если она смотрела на доброе — на небо, на бабочку, на корову, на цветок, на прохожего дедушку-бедняка, то глаза ее сияли прозрачным светом, а если она смотрела на то, что скрывало в себе зло, то глаза ее темнели и становились непроглядными. Только в самой глубине Улиных глаз, в самой середине их, был всегда одинаковый ясный свет, и в нем отражалась правда о том человеке или предмете, на который она глядела, — не то, что кажется всем снаружи, а то, что скрыто втайне внутри и невидимо.

Когда Уле сравнялось два года, она стала говорить, и говорила она чисто, но редко, и знала мало слов... Она видела

в поле и на деревенской улице то, что всем видно и понятно. Однако Уля всегда удивлялась тому, что видела, а иногда кричала от страха и плакала, показывая туда, на что она смотрела.

— Чего ты? Ты чего, Уленька? — спрашивал ее отец и брал к себе на руки, не понимая, отчего тревожится Уля. — Чего ты так глядишь на меня? Там стадо идет ко двору, а тут — я с тобой.

Уля с испугом смотрела на отца, будто он был ей чужой и она никогда не видела его. Со страхом она сходила на землю и убегала от отца. Так же одинаково она боялась матери и пряталась от нее.

Спокойной Уля была только в темноте, где глаза ее ничего не видели.

Проснувшись утром, Уля сразу хотела убежать из дома. И она уходила в темный овин или в поле, где была в овраге песчаная пещера, и там сидела в сумраке, пока ее не находили отец с матерью. А когда отец или мать брали ее на руки, прижимали к себе и целовали в глаза, то Уля плакала от страха и вся дрожала, будто ее схватывали волки, а не ласкали родители.

Если Уля видела робкую бабочку, летящую поверх травы, она с криком бежала от нее прочь, и еще долго билось ее испуганное сердце. А больше всех Уля боялась одну старуху, мою бабушку, которая была такая старая, что ее и все другие старухи тоже звали бабушкой. Бабушка редко приходила в избу, где жила Уля. А когда приходила, то всегда приносила в подарок девочке лепешку из белой муки, либо кусок сахару, либо варежки, которые вязала целых сорок дней, или еще что, что нужно Уле. Старая бабушка говорила, что она бы уже умерла, ведь ей пришло время, да теперь не может умереть: как вспомнит Улю, так ее слабое сердце опять дышит и бьется, как молодое: оно дышит от любви к Уле, от жалости к ней и от радости.

А Уля, увидев бабушку, тотчас начинала плакать; она не сводила с бабушки своих потемневших глаз и тряслась от страха.

— Она правды не видит! — говорила бабушка. — Она в добром видит злое, а в злом доброе.

— А почему же в глазах ее всю правду истинную видно? — спрашивал отец.

— А потому же! — опять говорила старая бабушка. — В самой-то ней вся правда светится, а сама она света но понимает, и ей все обратно кажется. Ей жить хуже, чем слепой. Пускай бы она уж слепая была.

«Может, и верно бабушка говорит, — подумал тогда отец. — Нехорошее Уля видит хорошим, а доброе дурным».

Цветов Уля не любила, она никогда не трогала их, а, набрав в подол черного сору с земли, уходила в темное место и там играла одна, перебирая сор руками и закрыв глаза. Она не дружила с другими детьми, что жили в деревне, и убегала от них домой.

— Боюсь! — кричала Уля. — Они страшные.

Тогда мать прижимала голову Ули к своей груди, словно хотела спрягать ребенка и успокоить его в своем сердце.

А дети в деревне были небалованные, добрые, на лицо чистые, они тянулись к Уле и улыбались ей.

Мать не понимала, чего Уля боится и что страшное на свете видят ее прекрасные бедные глаза.

— Не бойся, Уленька, — говорила мать, — ничего не бойся, я ведь с тобою.

Уля, поглядев на мать, опять кричала:

— Я боюсь!

— Кого же тебе страшно: это я!

— Я тебя боюсь: ты страшная! — говорила Уля и закрывала глаза, чтобы не видеть матери.

Никто не знал, что видит Уля, а сама она от страха сказать не умела.

В деревне росла еще одна девочка; ей было четыре года от рождения, и звали ее Грушей. С ней одной стала играть Уля и полюбила ее. Груша была из себя длиннолицая, за это ее прозвали «кобыльей головкой», и сердитая нравом; она даже своего отца с матерью не любила и обещала, что скоро убежит из дома далеко-далеко и никогда не вернется, потому что тут плохо, а там хорошо.

Уля трогала лицо Груши руками и говорила ей, что она красивая. Глаза Ули глядели на злобное, угрюмое лицо Груши с любованием, будто Уля видела перед собой добрую лю-

бящую подругу, хорошую лицом. А Груша однажды нечаянно посмотрела в глаза Ули и успела увидеть в них самое себя, такую, какая она есть по правде. Она закричала от страха и убежала домой. С тех пор Груша стала добрее сердцем и не серчала на родителей, что дома плохо. Когда же она опять хотела быть злой, то вспоминала свой страшный образ в глазах Ули, пугалась себя и делалась смирной и кроткой.

Хотя и грустно было видеть Уле цветы и добрые лица людей ужасными, однако она, как все малые дети, ела хлеб, пила молоко и с того росла. А жизнь скоро идет, и вскоре Уле исполнилось сначала пять лет, а потом шесть и семь.

В то время вернулся в их деревню тот мужик Демьян, что давно ушел неизвестно куда. Он вернулся бедным и простым, он стал пахать землю, как все люди, и жил после добрым до старости лет. Он даже хотел, чтобы Улю отдали к нему в дом названой дочерью, потому что он был стар и одинок, но приемные родители Ули не дали своего согласия. Они сами не могли жить без Ули, как взяли ее во двор.

С пяти лет Уля перестала кричать и убегать от страха; она лишь становилась печальной, когда видела перед собой добрую и прекрасную душу, будь то моя старая бабушка или другой кроткий человек, и часто плакала. Однако попрежнему в глубине ее больших глаз светился истинный образ того, на кого она смотрела. Но сама она не видела правды, а видела ложь. И, словно замершие в удивлении, осматривали весь свет ее доверчивые, грустные глаза, не понимая того, что они видят.

Когда Уле сравнялось семь лет, приемные родители сказали ей, кем они ей приходятся и о том, что родные отец и мать Ули неизвестно где живут и неизвестно — живы они или нет. Приемные родители сказали это разумно. Они хотели, чтобы девочка узнала правду от них, а не от других людей; чужие люди когда-нибудь скажут ей о том же, но скажут нехорошо и поранят душу ребенка.

— А они тоже страшные? — спросила Уля о своих родных родителях.

— Нет, они не страшные, — сказал приемный отец. — Они тебя на свет родили, милее их тебе никого нету.

— Ты неправду видишь, дочка, — вздохнула неродная мать. — У тебя глаза порченые.

С тех пор Уля стала жить еще более печальной. Шло лето, и Уля задумала, что под осень она уйдет из дома, чтобы встретить на свете своих родных отца и мать, покинувших ее.

И то лето еще не минуло, как пришла в деревню одна пожилая крестьянка, обутая в лапти и с хлебной котомкой за плечами. Видно было, что она шла издалека и утомилась. Она села у дорожного колодца, возле которого росла старая сосна, поглядела на дерево, потом поднялась и ощупала землю вокруг сосны, точно искала что-то, давно оставленное и забытое. Переобувшись, женщина подошла к избе, где жил Демьян, и села на завалинок.

Прохожих никого не было, люди работали в поле, и женщина-странница долго сидела одна. Потом из одного двора вышла девочка. Она увидела чужую женщину и приблизилась к ней.

— Ты не страшная, — сказала девочка с большими светящимися чистым светом глазами.

Странница посмотрела на девочку, взяла ее за руку, потом обняла ее и прижала к себе. Девочка не испугалась и не вскрикнула. Тогда женщина поцеловала ребенка в один глаз и в другой, а сама заплакала: она узнала в Уле свою дочь — по глазам ее, по родинке на шее, по всему ее телу и по своему задрожавшему сердцу.

— Молода я была, глупа была, на людей тебя бросила, — говорила женщина. — За тобой теперь пришла.

Уля прижалась к мягкой теплой груди женщины и задремала.

— Я матерью тебе прихожусь, — сказала женщина и опять поцеловала Улю в ее полузакрытые глаза.

Поцелуй матери исцелил Улины глаза, и с того дня она стала видеть белый свет, озаренный солнцем, так же обыкновенно, как все другие люди. Она смирно глядела перед собой серыми ясными глазами и никого не боялась. Она видела правильно — прекрасное и доброе, что есть на земле, ей теперь не казалось страшным и безобразным, а злое и жестокое — прекрасным, как было без родной матери.

Однако в глубине Улиных глаз с этого времени ничего не стало видно: тайный образ правды в них исчез. Уля не почувствовала горя, что правда более не светится в ее глазах, а ее родная мать тоже не опечалилась, узнав об этом.

— Людям не нужно видеть правду, — сказала мать, — они сами ее знают, а кто не знает, тот и увидит, так не поверит...

В то время моя старая бабушка умерла и больше ничего не могла рассказать мне об Уле. Но спустя много времени я сам увидел однажды Улю. Она стала красивой девушкой, столь красивой, что была лучше, чем нужно людям: и поэтому люди любовались ею, но сердце их оставалось равнодушным к ней.

АЛТЕРКЭ

Отец маленького мальчика Алтеркэ был сапожником в местечке Загуменном, что лежит по дороге в Тарнополь. Отца Алтеркэ звали Моисеем Цвирко, но вывески, что его так зовут и чтобы живущие в Загуменном люди несли к сапожнику обувь на починку, у отца не было. Он жил безмолвно в хате у мельничного приказчика Антона Стефановича Годыцкого. Однако Моисей Цвирко не мог по своим средствам снимать целую большую хату, он снимал только половину кухни — около устья печки; здесь стоял его низкий сапожный верстак — под окном, обращенным на пустой двор хозяина, где находился лишь маленький баз, в котором жила одна свинья и гнездились две курицы, а далее был плетень и небо, покрывающее и двор и дальнее скучное суглинистое поле. Тут за верстаком жил, трудился и думал сапожник Цвирко, а горницу и почти всю кухню занимали хозяева, муж и жена.

Хозяева не имели детей — наверное, от скупости, как думал Моисей Цвирко, или ради сбережения чистоты в горнице и ради своего покоя. Дитя было лишь у жильца-сапожника, пятилетний мальчик Алтеркэ, но хозяева загодя сказали отцу Алтеркэ, чтобы его сын не смел никогда ни шуметь, ни ходить по двору без нужды и чтобы ребенок жил незаметно, как живет

одна верба на ихнем дворе, а то хозяева прогонят сапожника с квартиры. Моисей не мог спорить с хозяевами хаты.

— Ты слышишь, что нам люди говорят? — сказал он своему сыну.

— Слышу, — прошептал Алтеркэ; он сидел около верстака на овчине, на которой спал по ночам с отцом, и вдавливал несмелыми пальчиками гвозди в дырки старой подметки, хотя ему и хотелось постучать молотком.

Он уже знал, что здесь играть и шуметь нельзя, он понимал, что здесь надо жить тихо, а то на дворе стало холодно — некуда больше идти ночевать; ему отец еще раньше про это говорил. И Алтеркэ неслышно занимался с подошвой опорка, или navaщивал дратву в помощь отцу, или глядел в окошко — в пустое поле осени, над которым шли облака в дальнюю дорогу. Тогда Алтеркэ шептал на ухо отцу:

— Папа, мне надо что-нибудь, а то тут скучно!

— А вон, видишь, воробей на плетне сидит, — показывал отец в окно. — Видишь, он один живет, видишь — он от холода съежился, и улететь ему некуда, а он молчит — живет, ему ничего не скучно... У него и отца нету, а у тебя есть. Погляди на него!

Алтеркэ смотрел через окно на воробья; черные глаза мальчика начинали светиться вниманием и сочувствием к тому одинокому воробью, и он воображал его жизнь на холоде и без отца, и на время Алтеркэ переставал скучать, потому что чужая жизнь занимала его сердце больше своей.

А отец, пока сын его не тоскует, вновь склонялся над работой. Он чинил, подшивал и приводил в гожий вид опорки башмаков, вконец изношенных окрестными бедняками: им в работе ходить приходилось помногу, вот и снашивалась обувь. Работы на заказ, чтобы шить обувь на живую готовую ногу, Моисею Цвирко не давали: в Загуменном жили другие многие сапожники, которые работали лучше и чище Моисея, и к ним уже давно привыкли зажиточные жители. Моисей же Цвирко кормился тем, что скупал по воскресным дням на базаре обувную ветошь, негодную более к пользе, и затем чинил эту ветошь, чтобы окрестные батраки и крестьяне могли купить у него починенные опорки и снова сно-

сить их, потому что денег на новую обувь у бедных людей не было.

Все долгие будние дни Моисей Цвирко сидел за верстаком и латал или подшивал опорки, готовя их к продаже в базарный воскресный день. Он молча вспоминал свою жену Розу, мать Алтеркэ, умершую после родов от грудной болезни, и утешался тем, что он кормит и растит Алтеркэ, которого родила умершая Роза. Больше у Моисея Цвирко не было утешения. Для одного себя, для своей жизни Цвирко не стал бы вечно чинить опорки, он бы ушел куда-нибудь или сделал что-либо выдающееся или же умер. Но пусть растет около него маленький кудрявый Алтеркэ, он, может быть, будет человеком лучше своего отца и счастливее его, а Моисей Цвирко ради Алтеркэ как-нибудь вытерпит свою жизнь, — теперь уж недолго осталось жить, сорок лет прожил.

Алтеркэ все долгое холодное время года — осень и зиму — проводил около отца: у него не было одежды, чтобы выйти на улицу и посмотреть, что там делается; кроме того, Алтеркэ боялся чужих ребят, которые однажды ткнули ему в глаз ржавым гвоздем, когда Алтеркэ смотрел в щель забора, как они играли там на большом незнакомом дворе.

— Это поляки, — сказал Моисей своему сыну, — а мы с тобой евреи. Дети ни при чем, они не понимают, их учат родители, а родители их тоже не понимают, — говорил отец и промывал ранку возле глаза сына.

— А я тоже не понимаю, — равнодушно и серьезно произнес Алтеркэ. — Они говорят, что убьют меня, чтоб я лучше не жил и не ходил на их улицу.

— Тебе надо понимать больше их, — ответил отец, — тогда они тебя не сумеют убить.

— Папа, а отчего я противный? — быстро спросил Алтеркэ и умолк, затомившись своим горестным чувством, еще непривычным для детского сердца. — И Анеля Дворкина тоже противная — она пархатая, и я тоже, — все ребята говорят.

Отец поглядел на своего сына:

— Алтеркэ, бедный мой, не надо думать глупость. Противный, кто колет в глаз, хороший — кто терпит свою боль, а самый лучший тот, кто выбьет глаза тем, кто хотел выколоть их тебе.

— А с кем я буду теперь играть? — спросил Алтеркэ.

— А ты думай, что у тебя есть много товарищей, — сказал отец и показал молотком во все углы кухни. — Вон Мойша, вон Соломончик, здесь Ривка, там Абрам Рыженький... Сиди и думай, что они тут с тобою, играй с ними в наши гвозди и подметки.

— А кто они? — спросил Алтеркэ.

— Тоже люди, — объяснил отец. — Ты выдумай их, каких хочешь, они всегда будут с тобою, когда тебе нужно, и они не выколют тебе глаза. Они все добрые и бедные, как мы.

Алтеркэ стал думать о рыжем Абраме, таком же мальчике, как он, и о Ривке, девочке меньше его, и он приучился играть с ними в уме и разговаривать.

Почти неподвижный и точно дремлющий, сидел теперь Алтеркэ на овчине около верстака своего отца и шептал слова про себя, живя воображением в кругу своих невидимых друзей, и он бросал сапожные гвозди на овчину, будто пуская корабли в плавание или совершая другое действие в таинственном и свободном мире.

Весною, уходя на базар для продажи своего товара, отец пообещал Алтеркэ купить настоящих игрушек — кораблей, коней и солдат. Алтеркэ стал ожидать отца, а чтобы скорее прошло время, он уснул на полу на овчине.

Но отец его не вернулся более. Он продал товар на базаре, купил игрушек сыну, как обещал, и выпил вина в корчме, чтобы и себе получить удовольствие от жизни. Выйдя из корчмы, Моисей Цвирко увидел полицейского, который держал за воротник небольшого мальчика, немного более Алтеркэ, и время от времени бросал его от себя на прилавок галантерейной торговли и возвращал обратно, не отпуская из своей руки. Из-за прилавка кричал свои слова торгующий человек, сочувствуя полицейскому. Прилавок был устроен низко, так что ребенок мог попасть лицом в разложенный товар — в шпильки, в гребешки, спицы для вязанья, в монисты и различные предметы.

— Зачем так волноваться — вы глаза можете испортить ребенку! — сказал Моисей Цвирко полицейскому. — Если этот ребенок виноват, то, значит, вся Польша виновата!

Полицейский бросил мальчика головою о прилавок и бросился к сапожнику:

— По-твоему, Польша тоже вор, раз этот малый ворует?

Моисей Цвирко подумал и объяснил:

— Ну, может, и она немножко тоже, если мальчику нечего кушать: кто-нибудь украл же у него его пищу и счастье!

Полицейский схватил сапожника за рубашку на груди, но вдруг сразу оставил его и ударился затылком в прилавок, потому что Моисей Цвирко толкнул полицейского в подбородок со страшною силой, в которую внезапно превратилось все его долгое мученическое терпение. На сапожника навалились торговцы и прохожие люди и связали его, чтобы он уцелел для наказания в тюрьме.

Алтеркэ проснулся вечером и не увидел отца. Всю ночь он пролежал в ожидании его, изредка беззвучно плача; он желал бы позвать какого-нибудь человека на помощь своему болящему горю, но не смел зашуметь во тьме, чтобы не помешать спать хозяевам в горнице хаты.

На другой день хозяйка проведала, что стало с отцом Алтеркэ, и велела мальчику уйти со двора.

Алтеркэ потрогал жестяную пуговицу, которой его штаны были соединены с полоской помочи, перекинутой через плечо, и ничего не мог сказать хозяйке; он думал о своем отце, и тоска по нем в его сердце была больше, чем страх перед этой чужой большой женщиной.

— Ступай, ступай, — говорила хозяйка, — теперь лето, не замерзнешь, а добрых людей и кроме нас много, кто-нибудь накормит, с голоду не помрешь.

— А куда надо идти?— спросил Алтеркэ; он стоял босой на овчине и глядел на нее, ему жалко было, что овчина останется здесь одна жить без него, он привык к ней, и она немного пахла телом ушедшего отца, спавшего тут. — Я уйду, — сказал Алтеркэ. — А отец говорил — нас никто не ждет. Я пойду к отцу...

Большая хозяйка удивилась и осерчала:

— К какому отцу? Нет у тебя нынче никакого отца — он в тюрьму попал, больше ты его не увидишь — его либо там убьют, либо он сам помрет. А уж если ты дождешься его, так и сам тогда старый будешь.

— Я дождусь его, — согласился Алтеркэ, — я старый буду скоро...

— Нет уж, — сказала хозяйка, — иди старей, только не в моей хате... Пойди вон хоть на мельничный двор, там людская есть, туда мужики чуть не со всего воеводства приезжают — там ты сытей, чем у отца, прокормишься: все едят, и у всех остатки бывают...

— А верстак отца чей теперь будет? — спросил Алтеркэ. — Вон опорки лежат, кожа сыромятная два куска, молоток с гвоздями, лампа наша, в ней керосин...

— Ступай отсюда прочь, нахальный какой! — закричала хозяйка на Алтеркэ. — И так отец мне за квартиру два месяца не платил и борщ на ужин позавчера еще занимал — незнаемо уж который раз!

Алтеркэ ушел из чужой хаты как был, без шапки и босой.

Он увидел мельничный мощеный двор, что находился на въезде в Загуменное, на большой земляной дороге, которая уходила в дальние деревни.

Алтеркэ явился на двор и стал посреди него; ему стало страшно от света солнца, от большого пространства, от того, что он весь тут в одном в своем теле под рубашкой, а вокруг него ему все незнакомо, один отец только его помнит, но отца больше нету.

В каменном сарае гудела паровая мельница; крестьяне-помольщики дремали в тени своих возов в ожидании своей очереди на помол зерна, а другие люди, батраки или прохожие, смотрели на маленького чужого мальчика, когда шли невдалеке, но не думали о нем: мало ли чего нет на свете, пусть будет еще один черноволосый кудрявый мальчик, он постоит здесь, а потом пропадет куда-нибудь.

Алтеркэ пошел в людскую; это была большая кухня, где одна старая кухарка стряпала пищу на мельничных рабочих и дворовых батраков; рабочие и батраки ночевали здесь же — на кухне либо в сенях и пристройке, и тут же они жили всю жизнь, если были нужны, а потом умирали.

Кухарка-старуха спросила у Алтеркэ, чей он есть и надолго ли пришел в гости. Алтеркэ не знал, чей он есть, и сказал, что ничей, а пришел он сюда жить до старости лет, пока не придет за ним отец из тюрьмы.

Старуха месила черное хлебное тесто в большой дежке на полу, она тяжко дышала от работы, и пот с ее лица капал в хлеб.

— Чтой-то ты долго гостить-то собрался у нас? — спросила старая женщина.

— Я недолго, — сказал Алтеркэ, — стану, как ты, тоже старым и уйду. Ты долго жила до старости?

— Да ну, где уж долго! — произнесла старуха, не отымая рук от работы. — Я и не упомнила, как прожила... Весь век от зари до за̀ри батрачила, по ночам спала, а во сне чего упомнишь. Нам жить всю жизнь было некогда — то одно, то другое, — гляжу, а я уж старая.

— И я тоже хочу быть старым, давай я буду с тобой тесто месить, а потом печку топить, чтоб у нас было то одно, то другое, — попросился Алтеркэ.

— То не годится, — отказала кухарка. — У нас жить никому не дозволяют: наш пан лютый, он весь хлеб на порции сам считает, а у пана еще два сына, так те еще лише отца... На́ тебе ломоть, ступай по миру, ищи себе добра, а моего сердца не трожь... Чем я тебе помогу, я сама на чужом живу, вся сама не своя...

Старуха опустила тесто с рук, вытерла их о рушник и выдала Алтеркэ готовый ломоть хлеба. Алтеркэ взял хлеб и спрятал его себе за пазуху, чтобы подольше сберечь. Старуха смотрела на чужого мальчика, в его черные внимательные глаза, чутко и осторожно глядящие на нее; он смотрел на старую женщину с интересом детства и беспомощностью ранней печали. Кухарка погладила голову Алтеркэ и проводила его из кухни:

— Ну иди, — сказала она. — Раз родился, проживешь!

Алтеркэ направился дальше по большому двору. В конце двора росли кусты и деревья, освещенные чистым солнцем. Алтеркэ любил траву и деревья, он всегда принюхивался к ним и думал, что они пахнут светлым небом и самим солнцем; он вышел в сад и сел на траву около тропинки, уводящей к дому, в котором жил, наверно, сам старый пан мельник. Алтеркэ видел отсюда только крыльцо богатого каменного дома, увитое синей травой, и высокую цинковую крышу.

Отдохнув, Алтеркэ вынул хлеб из-за пазухи и стал есть его, вспомнив, что он ел еще при отце и сейчас в первый раз ест без отца.

Босая женщина вышла из дома мельника с пустою корзиной и подошла к Алтеркэ.

— Сейчас паны молодые гулять выйдут, — сказала она, — уйди со двора, — и женщина прошла далее по своему делу.

Алтеркэ остался на траве, не зная, куда ему уйти.

Два молодых пана сошли с крыльца. Они были одеты в белые штаны и рубашки и в белые башмаки, в руках они держали трости, чтобы баловаться ими во время прогулки.

Смеясь и наслаждаясь шутками между собой, молодые паны миновали Алтеркэ и оглянулись на него.

— Смотри, — сказал один пан, — еврейчик сидит и ест хлеб.

— Это он ест наш людской хлеб, — сказал другой.

Они отошли, задумавшись, словно им сразу стало печально, что чужой маленький человек сидит и ест хлеб.

Наевшись и собрав крошки, Алтеркэ пошел обратно, — идти ему было легче, чем сидеть и скучать по отцу, хотя неизвестно, куда ему нужно идти.

На дворе у мучного амбара сидели на площадке весов два молодых пана в белой одежде и с ними два дворовых сытых человека. Они весело потешались над прохожими людьми, которые занимались работой на дворе — таскали мешки на повозки, ходили на колодезь за водой или искали что-нибудь необходимое на земле — кому нужен был гвоздь, кому железка или веревочка. Молодые паны у каждого человека находили что-либо недостаточное и веселились по этому случаю.

Они подозвали к себе Алтеркэ.

— Мальчик, как тебя зовут? — спросили они.

— Алтеркэ, — сказал им Алтеркэ.

— Ах, так ты, значит, Алтеркэ! — произнес один молодой пан и вынул что-то из кармана штанов, маленькую вещь. — Алтеркэ, Алтеркэ, на тебе конфетку!

Алтеркэ пошел к протянутой руке пана за конфеткой. Он взял конфетку и хотел сначала рассмотреть картинку на конфете, но не успел, потому что упал головой на землю, за-

мощенную камнями. Молодой пан, подавший Алтеркэ конфетку, схватил мальчика за черные кудрявые волосы, притянул немного к себе и затем отбросил сразу прочь сильной, откормленной рукой. Алтеркэ ударился и забылся от боли, точно мгновенно уснул; кровь вышла из его рассеченной головы под волосами. Алтеркэ полежал и проснулся; два пана стояли возле него и следили, как он дышит.

— Сейчас опять отживеет. Жиды бессмертные! — сказал один пан. — Алтеркэ, хочешь еще получить конфетку?

— Не хочу, — ответил Алтеркэ.

— Почему не хочешь? — опять спросил пан.

— Вы мне голову бьете, и я все забываю, — объяснил Алтеркэ.

— А чего тебе надо помнить? — спросил пан. — Тебе нечего помнить, ты живи без памяти.

— Мне отца надо помнить, — сказал Алтеркэ.

Он встал и ушел от них.

Увидя за одною постройкой безлюдное место, заросшее бурьяном, Алтеркэ спрятался туда и уснул в тишине травы, чувствуя, как скучает его сердце по отцу, и не зная себе помощи и утешения.

Пробудившись ночью, Алтеркэ побоялся выйти из травы и пролежал там до рассвета, сжавшись от ночной прохлады.

Наутро Алтеркэ пошел в местечко, желая там увидеть тюрьму. Но на мельничном дворе он снова увидел одного молодого пана, того, который вчера бросил его головой о камни.

— А ты отдай мне конфету — за что ты меня бил? — сказал Алтеркэ.

— Та потерялась, ее куры склевали, — ответил пан. — Пойдем, я тебе другую дам.

И он взял Алтеркэ за руку и, больно сжимая ее, повел мальчика.

— По чем меня будешь бить? — спросил Алтеркэ. — По голове не надо.

— Не буду, — пообещал пан.

Он привел мальчика в панский дом, посадил на кухне за стол и велел женщине-кухарке дать мальчику покушать

каши с молоком. Женщина дала Алтеркэ тарелку с молочной кашей. Алтеркэ съел и попросил еще. Кухарка не посмела было давать, но молодой пан велел ей дать, а сам сидел неотлучно против Алтеркэ и глядел на него, как он жадно ест.

После еды молодой пан повел Алтеркэ в сад.

— Бей меня теперь ты! — сказал пан ребенку. — Бей изо всех сил! Я дам тебе конфетку!

Они находились сейчас на травяной поляне; среди травы росли молчаливые цветы — синие и желтые — яркие от света, будто у них были сияющие, видящие глаза.

Пан повалился в траву и попросил Алтеркэ:

— Бей меня кулаком!

Алтеркэ ударил потихоньку.

— Сильнее! — приказал пан.

Алтеркэ дал ему в глаз, чтоб было больнее. В ответ пан тоже толкнул Алтеркэ; тогда мальчик схватил пана за волосы и ткнул ему рукою в шею. Пан ожесточился и, привстав, схватил Алтеркэ, прижал его к себе и стал кататься с ним по траве. Задыхаясь, Алтеркэ обнял пана за шею, чтоб он не бил и не мучил его. Однако пан не понял Алтеркэ; он пришел в исступление, чувствуя в своих руках жалкое, но живое и терпеливое тело мальчика, цепко прильнувшее к нему. Пан оторвал от себя Алтеркэ и бросил его в траву. Алтеркэ умолк, притворившись мертвым, потом, тихо отдышавшись, сам бросился на пана и стал бить его кулаками по ногам. Пан сначала стоял смирно, с наслаждением сберегая свою ярость, пока в сердце его не стало душно от злобы. Тогда он вскрикнул и откинул Алтеркэ ногой от себя. Алтеркэ упал, но вновь поднялся, чтобы кинуться на своего врага. Пан подпустил его к себе и ударил кулаком в лицо. Алтеркэ припал было к земле, но встал опять и молча прыгнул на пана и попал ему в руки. Пан сжал Алтеркэ и, размахнувшись маленьким несдающимся телом, бросил его головою о ствол ближнего дерева.

Алтеркэ потерял память и остался лежать под деревом, как умерший или уснувший.

Ночью он очнулся и пошел по саду, не помня более отца и не понимая про себя, кто он такой.

Алтеркэ вышел на середину мельничного двора и принялся искать на камнях во тьме потерянную конфету. Он искал ее до рассвета, но не нашел, и, когда закричали петухи, он решил, что конфету проглотил петух.

Старая кухарка из людской кухни увела утром Алтеркэ в кухню и дала ему ломоть хлеба. Разглядев мальчика, она умыла его, вытерла ему голову мокрым полотенцем, чтобы разошлись волосы, слипшиеся от крови, и сказала:

— Ты скоро кончишься: у тебя глазки потухли.

Алтеркэ не ответил ей; он сейчас хотел только есть, и больше ему ничего не надо было. Поев, он уснул за столом, и кухарка отнесла его спать в сени, постелив ему подстилку на старом ларе.

С тех пор Алтеркэ стал жить в людской кухне на мельничном дворе. Боясь хозяев-панов, старуха кухарка прогоняла Алтеркэ, но он, не помня теперь об отце, забыв про свое прошлое и не думая ни о чем, возвращался всегда обратно. Его влекла на людскую кухню привычка есть хлеб и спать на старом ларе.

Молодые паны и разные дворовые люди — приказчики, конторщики, весовщики и другие — приучились постоянно играть с безумным Алтеркэ. Они играли с ним всегда одинаково — вынимали из кармана какую-либо бумажку и звали мальчика: «Алтеркэ, Алтеркэ, на тебе конфетку!» Алтеркэ покорно подходил и протягивал руку, и тогда его, чтоб он отвык от сладкого, били по голове или валили на землю. Алтеркэ никогда не плакал от боли, он молча вставал и отходил, пока его не звал еще кто-нибудь тем же обещанием конфетки, и Алтеркэ сейчас же подходил к зовущему его человеку и протягивал руку за конфеткой. Некоторые люди из дворовых служащих жалели и даже нередко ласкали Алтеркэ, но он не понимал их жалости и к ласкам их относился равнодушно; пока его не звали, чтобы побить или пожалеть, он не подходил к людям и уходил от них, как только его оставляли их руки.

Осенью старая кухарка стала стелить Алтеркэ на печке, чтобы он спал в тепле. Кухарка теперь кормила Алтеркэ лучше, потому что молодые паны и старый пан все уехали воевать на войну, некому было попрекать за лишний кусок хлеба.

Алтеркэ спал на печке подолгу, не только ночью, но и днем, и ему снились сновидения, и он видел во сне отца и его верстак на чужой кухне, а проснувшись, он забывал свои сновидения. Лишь один раз он, проснувшись, все еще помнил лицо своего отца, потому что старуха кухарка разбудила Алтеркэ среди ночи и сна. Она стояла с лампой в руках среди кухни и будила всех, кто ночевал в помещении.

— Паны наши приехали и с ними еще паны — офицеры и солдаты: война на дворе будет! — говорила она.

Все ночующие люди встали. Алтеркэ посмотрел на них и опять задремал.

Проснулся он от молний, сверкавших за окном, и пулеметной пальбы, которую он не слышал никогда и не понимал, что она такое.

В кухне было пусто, все люди и старая кухарка ушли: на дворе начинался рассвет.

Алтеркэ слез с печки и вышел на большой пустой двор. От каменных ворот двора била в сад огнем какая-то трубка или что другое, а из сада, от панского дома, тоже сверкал огонь.

Алтеркэ направился на середину двора и там сел на замощенную землю. Стрельба прекратилась. Алтеркэ стал копаться в земле, рассматривая травинки меж камнями. Немного погодя из панского дома снова засверкало пламя, и воющие падающие пули стали высекать огонь из камней возле Алтеркэ. От дворовых же ворот огнем больше не стреляли.

Вдруг Алтеркэ услышал знакомый голос молодого пана, который звал его из мучного амбара:

— Алтеркэ, Алтеркэ, на тебе конфетку!

Алтеркэ сейчас же встал и пошел туда, заранее протянув руку.

Из амбара раздался выстрел — горячий ветер прошел мимо щеки Алтеркэ, и мальчик сел на землю. Затем большой незнакомый солдат пробежал около Алтеркэ с поднятой рукой; он бросил что-то в амбар, и оттуда вылетели огненные камни и закричал человеческий голос. Солдат тут же схватил Алтеркэ с земли и унес его с собою.

За каменными столбами ворот Алтеркэ увидел другого незнакомого солдата, лежавшего у трубки на колесах. Ал-

теркэ посмотрел в близкое лицо того солдата, который держал его на руках. Лицо солдата под железной шапкой было в поту, и солдат улыбнулся в ответ мальчику, заметив его взор, а потом сказал ему что-то, неизвестные слова.

Алтеркэ увидел на рукаве солдата красную звезду, но он не знал, какие бывают звезды вблизи, и не понял, что это такое.

Солдат лег на землю ко второй трубке на колесах и, тесно прижав Алтеркэ к себе, почти целиком укрыл его своим большим, часто дышащим телом.

Из панского дома начали часто стрелять по воротам, другой солдат тоже палил туда огнем из трубки, а солдат, укрывший Алтеркэ, не стрелял, а только смотрел вперед изпод железной шапки.

Земля загудела на дороге — и большая железная машина пронеслась в ворота, мимо Алтеркэ и лежавших солдат. Из машины палили толстым огнем, а из панского дома перестали стрелять.

Солдат поднялся на ноги и взял к себе на руки дрожащего Алтеркэ.

— Не бойся, больше стрелять не будем, операция кончена, — сказал красноармеец, но Алтеркэ не понял его.

Красноармеец погладил Алтеркэ по черным вьющимся волосам.

— Что ты худой, напуганный такой? Кто тебя мучил здесь? — сказал он. — Мы им отшибем руки вместе с головой.

Алтеркэ чутко разглядывал чужое доброе лицо. И он вспомнил отца, приснившегося ему сегодня в сновидении.

— Отведи меня к отцу в тюрьму, — попросил Алтеркэ.

Красноармеец не знал еврейского языка, но вполне согласился с мальчиком.

Бой на мельничном дворе окончился. К воротам подошли пешие красноармейцы с ружьями. В людской кухне появилась старая кухарка и начала стряпать обед для красноармейцев. Алтеркэ же взял за руку того красноармейца, который вынес его со двора, и велел ему идти искать с ним тюрьму и отца.

Красноармеец с помощью старой кухарки понял мальчика и послушался его.

ЖЕЛЕЗНАЯ СТАРУХА

Шумели листья на дереве; в них пел ветер, идущий по свету. Малолетний Егор сидел под деревом и слушал голос листьев, их кроткие бормочущие слова.

Егор хотел узнать, что означают эти слова ветра, о чем они говорят ему, и он спрашивал, обратив лицо к ветру:

— Ты кто? Что ты мне говоришь?

Ветер умолкал, будто он сам слушал в это время мальчика, а потом снова медленно бормотал, шевеля листья и повторяя прежние слова.

— Ты кто? — спросил еще раз Егор, не видя никого.

Никто ему не ответил более; ветер ушел, и листья уснули. Егор подождал, что будет теперь, и увидел, что уже наступает вечер. Желтый свет позднего солнца осветил старое осеннее дерево, и стало скучнее жить. Нужно было идти домой, ужинать, спать во тьме. Егор же спать не любил, он любил жить без перерыва, чтобы видеть все, что живет без него, и жалел, что ночью надо закрывать глаза, и звезды тогда горят на небе одни, без его участия.

Он поднял жука, ползшего по траве домой на ночлег, и посмотрел в его маленькое неподвижное лицо, в черные добрые глаза, глядевшие одновременно и на Егора, и на весь свет.

— Ты кто? — спросил Егор у жука.

Жук не ответил ничего, но Егор понимал, что жук знает что-то, чего не знает сам Егор, но только он притворяется маленьким, он стал нарочно жуком и молчит, а сам не жук, а еще кто-то — неизвестно кто.

— Ты врешь! — сказал Егор и повернул жука животом вверх, чтобы увидеть, кто он такой.

Жук молчал; он со злою силой шевелил жесткими ножками, защищая жизнь от человека и не признавая его. Егора удивила настойчивая смелость жука, он полюбил его и еще более убедился, что это не жук, а кто-то более важный и умный.

— Ты врешь, что ты жук! — произнес Егор шепотом в самое лицо жука, с увлечением рассматривая его. — Ты не притворяйся, я все равно дознаюсь, кто ты такой. Лучше сразу откройся.

Жук замахнулся на Егора сразу всеми ногами и руками. Тогда Егор не стал с ним больше спорить.

— Когда я к тебе попадусь, я тоже ничего не скажу. — И он пустил жука в воздух, чтобы он улетел по своему делу.

Жук сначала полетел, а потом сел на землю и пошел пешим. И Егору стало вдруг скучно без жука. Он понял, что больше его никогда не увидит, и если увидит, то не узнает его, потому что в деревне много прочих жуков. А этот жук будет где-нибудь жить, а потом помрет, и все его забудут, один только Егор будет помнить этого неизвестного жука.

Усохший лист упал с дерева. Он когда-то вырос на дереве из земли, долго смотрел на небо и теперь снова возвращался с неба в землю, как домой с долгой дороги. На лист вполз сырой червь, отощавший и бледный.

«Кто же это такой? — озадачился Егор перед червем. — Он без глаз и без головы, о чем он думает?» Егор взял червя и понес его к себе домой.

Уже совсем свечерело; в избах зажглись огни, все люди собрались с полей, чтобы жить вместе, потому что везде стало темно.

Дома мать дала Егору поужинать, потом велела ложиться спать и укрыла его на ночь одеялом с головой, чтобы он не боялся спать и не услышал страшных звуков, которые раздаются иногда среди ночи из полей, лесов и оврагов. Егор притаился под одеялом и разжал левую руку, где у него все время находился червь.

— Ты кто? — спросил Егор, приблизив червя к лицу.

Червь дремал, он не шевелился в разжатой руке. От него пахло рекою, свежей землей и травой; он был небольшой, чистый и кроткий, наверно, детеныш еще, а может быть, уже худой маленький старик.

— Отчего ты живешь? — говорил Егор. — Хорошо тебе или нет?

Червь свернулся на ладони, чувствуя ночь и желая покоя. Но Егор не хотел спать: он хотел еще жить, играть с кем-нибудь, он хотел, чтобы уже сразу было утро за окном и можно было встать с постели. Но на дворе стояла ночь — только начавшаяся, долгая, всю ее не проспишь; и если заснешь,

все равно проснешься до рассвета, в то страшное время, когда все спят — и люди и травы, а проснувшийся человек бывает один на свете — его никто не видит и не помнит.

Червь лежал в руке Егора.

— Давай я буду тобою, а ты будешь мною, — сказал червю Егор. — Я тогда узнаю, кто ты, а ты станешь как я, ты будешь человеком, тебе лучше будет.

Червь не соглашался; он, наверно, уже спал, не подумав о том, кто такой Егор.

— Мне надоело быть все Егором и Егором, — говорил мальчик один. — Я хочу быть еще чем-нибудь. Проснись, червяк. Давай с тобой разговаривать — ты думай про меня, а я буду про тебя...

Мать услышала разговор сына и подошла к нему. Она еще не спала, она ходила по избе и кончала последние дела, с которыми не управилась днем.

— Ты что там не спишь, бормочешь, шутоломный какой, — сказала она и подоткнула одеяло под ноги Егора. — Спи. А то железная старуха ходит в поле в темноте, она ищет тех, кто не спит, и с собой уводит.

— Мама, а она кто? — спросил Егор.

— Она железная, ее не видно, она во тьме живет, она страхом пугает, и у людей сердце отымается...

— А она кто?

— А кто ж ее знает, сынок. Ты спи, — произнесла мать. — Ты ее не бойся, она, может, никто, бедная какая-нибудь старушка.

— А где она живет? — узнавал Егор.

— Она по оврагам ходит, траву ищет, сухие кости гложет, а когда кто помрет — она рада, она хочет одна остаться на свете, и все живет, все живет, все хочет дождаться, когда все помрут и будет одна она ходить, железная старуха. Ну, спи теперь, она по дворам не ходит, я дверь запру...

Мать отошла от сына. Егор спрятал червя под подушку, чтоб он там спал в тепле и ничего не боялся.

— Мама, а кто ты? — спросил он.

Но мать ничего не ответила ему. Она решила, что Егор еще немного поговорит-поговорит и заснет, ему уж, видно, дремлется.

«А кто я? — думал Егор и не знал. — Кто-нибудь я тоже есть. Так не бывает, чтобы я был никто!»

В избе стало тихо. Мать легла, отец уже спал давно. Егор прислушался. На дворе изредка скрипел плетень, его пошатывал клен, росший у плетня. Егор заметил, что и в самую тихую погоду клен качается помаленьку, будто он тянется куда-то, хочет скорее вырасти или стронуться с места и уйти, и плетень постоянно скрипит от него, жалуясь на беспокойство. Скучно, наверно, быть деревом, оно живет на одном месте.

— Мама, — тихо позвал Егор и высунул голову из-под одеяла наружу. — Что такое клен?

Но мать уснула, никто ничего не ответил Егору. Он всмотрелся в сумрак. Окно, выходившее в просяное поле, светилось смутным светом ночи, будто за окном была глубина неподвижной воды. Егор привстал на постели, думая о том, что сейчас делается в темном поле и кто там идет один с котомкой хлеба в дальнюю дорогу. Наверно, кто-нибудь идет по пустой дороге и не боится ничего. Кто он такой?

Издали кто-то протяжно вздохнул, затем застонал и умолк. Егор уставился в окно; прежний свет темной земли озарял стекло, но унылый, стонущий звук повторился опять — ехала ли то телега вдали, или железная старуха шла по оврагу и томилась, что люди живут и рождаются, а она никак не дождется, когда будет одна на свете. «Пойду, до всего дознаюсь, — решил Егор. — Что там ночью, кто старуха?»

Он надел штаны и ушел босой наружу. Клен шевелил ветвями, собираясь тронуться в путь, лопухи терлись о плетень, и корова жевала в сарае. Во дворе никто не спал.

Ясные звезды светились на небе; их было так много, что они казались близкими, — поэтому ночью под звездами было так же нестрашно, как днем среди полевых цветов.

Егор миновал просо, прошел дремлющие, шепчущие подсолнечники и по брошенной, забытой дороге направился к оврагу.

Овраг был старый, его не размывала большая вода, и он зарос бурьяном и кустарником. Старики и старухи запасали здесь прутья и в зимнее время в избах плели из них корзины.

Когда Егор прошел заросли бурьяна и кустарника и очутился на дне оврага, то увидел, что здесь было тише и темнее, чем на верху земли, — ни травинка, ни лист не шевелились тут, — и ему стало страшно.

— Звезды, глядите на меня, — прошептал Егор, — а то я боюсь один!

Но из оврага было видно только три звезды, и те слабо мерцали на далекой, уносящейся высоте, точно они удалялись и меркли там во тьме.

Егор потрогал траву, увидел камешек, потом покачал лопух, такой же, как на своем дворе, и оправился от страха: ничего, они ведь все живут здесь и не боятся, и он будет с ними. Вскоре он заметил маленькую пещеру, вырытую в склоне оврага, чтоб выбирать оттуда глину, и залез туда. Ему захотелось теперь подремать немного — он уморился за день жить и ходить.

— А как пойдет мимо железная старуха, то я ее покличу, — сказал Егор сам себе, сжавшись в земле от ночной прохлады, закрыл глаза.

Стало тихо совсем, и все онемело, все звезды скрыла небесная наволочь, и трава поникла, как умершая.

Унылый звук раздался в этой низине земли, как вздох сожаления всех умерших людей. Егор сейчас же открыл глаза, услышав во сне этот томительный звук. Над ним стояло темное тело человека, большое и смутное от окружающей черной ночи, готовое быть и готовое исчезнуть.

— Ты кто? — спросил Егор. — Ты старуха?

— Старуха, — сказала старуха.

— А ты железная?.. Мне нужна железная.

— Зачем я тебе? — спросила железная старуха.

— Я хочу тебя увидеть — ты кто, ты зачем? — говорил Егор.

— Помирать будешь, тогда скажу, — ответил голос старухи.

— Скажи, я помру, — согласился Егор и взял комок глины в руку, чтобы залепить глаза старухе и осилить ее.

— Иди ко мне, я тебе скажу на ухо, — и старуха в первый раз пошевелилась, и вновь раздался знакомый унылый звук шелестящего железа или хруста высохших костей. — Иди ко мне, я все тебе скажу, и ты тогда помрешь. А то ты малень-

кий, тебе жить еще много, и мне долго ждать твоей смерти. Пожалей меня, я старая.

— А ты кто, ты скажи, — узнавал Егор. — Ты не бойся меня, я тебя не боюсь.

Старуха склонилась к Егору и стала к нему приближаться. Мальчик прижался спиною к земле в своей пещере и открытыми глазами вглядывался в склоняющуюся к нему железную старуху. Когда она согнулась и приблизилась к нему и тьмы между ними осталось мало, Егор закричал:

— Я знаю, я знаю тебя. Мне тебя не надо, я тебя убью! — Он бросил в ее лицо горсть глины и сам обмер и приникнул к земле.

Но и обмерши, лежа вниз лицом, Егор еще раз услышал голос железной старухи:

— Ты меня не знаешь, ты меня не разглядел. Но всю твою жизнь я буду ждать твоей смерти и губить тебя, потому что ты меня не боишься.

«Немножко-то боюсь, потом привыкну и перестану», — подумал Егор и забылся.

Он очнулся от знакомого тепла, его несли мягкие большие руки, и он спросил:

— Ты кто? Ты не старуха?

— А ты кто? — спросила его мать.

Егор открыл глаза и вновь зажмурил их — свет солнца освещал всю деревню, клен на ихнем дворе и всю землю. Егор снова открыл глаза и увидел шею матери, у которой покоилась его голова.

— Ты зачем сбежал в овраг? — спросила мать. — Мы спозаранку тебя искали, отец в поле работать уехал весь в сомнении.

Егор рассказал, что он боролся в овраге с железной старухой, но только не успел разглядеть ее лица, потому что бросил в него глиной.

Мать задумалась, потом она опустила Егора на землю и посмотрела на него, как на чужого.

— Иди своими ногами, борец!.. Тебе это приснилось.

— Нет, я правда ее видел, — сказал Егор. — Железные старухи бывают.

— А может, и бывают, — произнесла мать и повела сына домой.

— Мама, а кто она?

— А я не знаю, я слыхала, а сама ее не видала. Люди говорят, что судьба, что ль, или горе наше ходит. Вырастешь, сам узнаешь.

— Судьба, — промолвил Егор, не зная, что она означает. — Вырасту еще чуть-чуть и поймаю железную старуху...

— Поймай, поймай ее, сынок, — сказала мать. — Я тебе сейчас картошек начищу и поджарю их.

— Давай, — согласился Егор. — Я есть захотел, старухи сильные бывают. Я уморился от нее.

Они вошли в сени избы. В сенях по полу полз знакомый червяк, возвращаясь с постели Егора к себе домой в землю. «Ползи, немой! — осерчал Егор. — Ишь ты. Кто он такой, так и не сказал. После все равно дознаюсь. И до старухи дознаюсь — сам стану железным стариком!»

Егор остановился в сенях и задумался: «Это я нарочно буду железным, чтоб старуху напугать, пускай она околеет. А потом я железным не буду — не хочу, я опять буду мальчиком с матерью».

ОТ ХОРОШЕГО СЕРДЦА

Авдей Васильевич любил свою жену и своего сына. Они его тоже раньше любили, но в последнее время перестали любить. Поэтому Авдею Васильевичу жить в своей избе на старости лет стало скучно. Ему было уже семьдесят лет, но он никому не говорил про свою старческую слабость и работал в колхозе — и зиму, и лето.

Сын Авдея Васильевича давно вырос, поженился, потом овдовел и уже сам стал стареть, но как родился, так и жил с тех пор вместе с отцом и матерью в одной избе, а разделяться не хотел, да теперь уже и поздно было. Старая жена Авдея Васильевича, Авдотья Захаровна, была доброй, работящей крестьянкой; она любила свое семейство, свой двор и свою избу, построенную ее дедом сто лет тому назад, а больше она ничего не любила. И мужа своего, Авдея Васи-

льевича, она уважать перестала за то, что он на старости лет стал, по ее словам, разбойником.

Действительно, недавно Авдей Васильевич тайно унес из дому новую лампу. Лишь через неделю Авдотья Захаровна доискалась правды. Оказывается, старик унес лампу на конюшню: там, стало быть, лошадям жевать было темно. На первое время Авдотья Захаровна стерпела такой убыток в хозяйстве: она думала, что, может, ее старик опомнится и больше не будет уносить добро со двора.

Авдей Васильевич, однако, не угомонился. Он разобрал деревянную пристройку у избы, которая служила кладовой, и увез на санях все доски куда-то в глубину колхоза, и сложил из этих досок общественную уборную. Авдотья Захаровна была в тот день в районе на базаре; она вернулась вечером и увидела в доме разоренье: кладовки не было, все добро, что хранилось в ней, теперь лежало наружи. Там находилась единоличная соха, сундук с ветошью, тележный передок на деревянном ходу и разные предметы, на которых уже не было лица от давности, так что неизвестно, что это такое было. Но Авдотья Захаровна это добро берегла: может, понадобится ей, думала она, может, свет обратно повернется, и тогда соха опять нужна будет.

Она сразу догадалась, кто тут разбойничал, и сердце ее ссохлось от горя.

— Ты-то чего глядел! — упрекнула сына Авдотья Захаровна. — Ты видишь, отец твой полоумным стал, ты бы его окоротил и вожжой связал!

— Он мне отец, вязать его не полагается, — ответил сын, — и вожжей у нас нету...

— Не полагается! — сказала мать, села на крыльцо и заплакала. — А разбойничать при советской власти полагается? Разве тут станешь сроду зажиточной, когда из дома старик все тащит!..

Авдей Васильевич воротился в избу к ночи.

Авдотья Захаровна сначала ничего ему не сказала, но потом промолвила:

— Чего не евши спать разбираешься? Поужинай, пропащий человек.

Авдей Васильевич промолчал и покорился: сначала поужинал, а потом улегся и, засыпая, старался не храпеть.

Через два дня со двора пропала деревянная лопата и заодно с нею вилы.

— Должно, от снега на скотном дворе отгрестись хотят, — подумала Авдотья Захаровна, — а потом навоз на огород возить почнут. В своем-то, в казенном инвентаре нехватка да негладко, вот они и тащут чужое руками моего дурака... Их, да и что ж это творится, непостижное такое!

Она пошла жаловаться к председателю. Председатель, Петр Савельич, выслушал Авдотью Захаровну, погладил бороду и сообщил:

— Колхоз наш не в нужде живет. Мы не просили твоего мужика добро свое к нам таскать. Это он от усердия делает, от хорошего сердца. Мы ему тут не остановка — пускай ревнует общее дело, раз у него передовое сознание есть.

Авдотья Захаровна, послушав председателя, решила про него: «И этот такой же разбойник, как и мой, либо вовсе на ум слабосильный». И она сказала председателю:

— У моего-то старика сознание? Какое ж у него сознание, когда у него один колхозный пережиток — только всего и есть в голове!

— Колхозный пережиток! — задумчиво произнес председатель. — Вот нам он дороже всего и есть, этот колхозный пережиток!

Авдотья Захаровна поглядела на этого человека и подумала про него: «Ну что с ним говорить, когда он не своим умом живет, когда они все как бешеные, непутевые стали!»

И она ушла ко двору, решив, что лучше ей закрыть глаза и умереть.

С Авдеем Васильевичем она перестала разговаривать, и старик тоже ничего не говорил жене, а сидел молча, задумавшись, когда являлся домой от колхозных трудов.

— О светлой жизни, что ль, думаешь? — спрашивала наконец Авдотья Захаровна.

— А то о чем же? О ней, конечно, — соглашался Авдей Васильевич. — И ты тоже о ней думаешь. Только у тебя светлая жизнь во тьме: в кладовке, что век стояла без надобности, в чулане, в сарае да во дворе с лопухами...

— И то, и то! — осерчала Авдотья Захаровна. — Ишь ты, ишь ты, светлый какой! Лампу свою в чужое место унес...

— Я не светлый! — сказал Авдей Васильевич. — Я так себе. Прожил вот век в дворовой загородке, вся душа сопрела, только теперь оживать начала…

— Уж не в колхозе ли? — попытала Авдотья Захаровна.

— Ты не трожь меня, старуха! Я со всеми милыми людьми хочу теперь славной жизнью пожить! — зашумел Авдей Васильевич.

— Живи, живи, — сказала жена. — А я уж лучше к сестре век доживать поеду…

Вскоре, когда Авдей Васильевич унес со двора мешок под семена, Авдотья Захаровна уехала к родной сестре в район. Она задумала там гостить до самой своей смерти.

Но смерть к ней не пришла, а сердце, привыкшее к дому и семье, соскучилось, как ни старалась Авдотья Захаровна перетерпеть свою тоску. И хозяйка к исходу весны воротилась в родную деревню.

Над старой, любимой избой висел на ветру красный флаг, а в избе помещались теперь детские колхозные ясли.

— Ишь что наделал мой пережиток! — загоревала Авдотья Захаровна. — Отлучись тут из избы — и погостить-то нельзя, некогда прямо!

Незнакомая тетка, вроде как городская, важно вышла из избы с красного крыльца, будто она там была уж давно хозяйкой.

— А где же мой Авдей Васильевич-то? — спросила ее Авдотья Захаровна.

— Какой Авдей Васильевич? Пережиток, что ль?

— Ну пережиток, — согласилась Авдотья Захаровна. — Хоть не тебе бы его так называть, тебе бы нужно в ножки ему поклониться, он у меня первый колхозник в деревне, он и добро и душу — все народу взаймы отдал… А ты говоришь — пережиток!

Чужая тетка смолчала.

— Авдей Васильевич нынче в председателях ходит, — сказала она. — Он на дальнее поле пошел, а сын у шорника в помощниках работает.

— Вы избу-то мою долго пачкать будете? — спросила Авдтья Захаровна.

— До осени, матушка, — ответила тетка.

Авдотья Захаровна ушла на околицу, в чистое поле, и первый раз, за всю свою памятную жизнь, сидела на траве свободная, без думы и заботы о дворе и хозяйстве, и слушала, как поют жаворонки в туманном, влажном, согревающемся небе. «Ведь это в яслях городская тетка работает, — нечаянно подумала Авдотья Захаровна, — она небось харчи тратит зря — неумелая, видать». Потом она опять сидела в безмолвии теплой природы, и ей стало обидно, что столько времени она в деревне не была, а о ней здесь и не вспомнили — все делами заняты. Тут помрешь, похоронят и пожалуй сразу забудут: у каждого другой заботы в сердце много, вся она не помещается.

Авдотья Захаровна вернулась к своей избе. Прежняя тетка вышла наружу с цинковым ведром и выплеснула из него что-то на землю. Авдотья Захаровна подошла, нагнулась и рассмотрела, что осталось на земле. Там были остатки супа с перловой крупой. «Вот они, трудодни-то наши, как в землю обратно впитываются! — подумала Авдотья Захаровна. — Да что ж это творится такое!»

Дождавшись мужа, Авдотья Захаровна велела ему нанять ее кухаркой в детские ясли.

Авдей Васильевич решил не сразу, сначала он подумал.

— А угодишь нам? — спросил председатель. — Я взыщу, если что, с одного родного как с двоих чужих.

— Ишь ты, пережиток какой, испугал меня! — рассерчала Авдотья Захаровна.

Авдей Васильевич улыбнулся.

— А до коей поры работать-то в колхозе будешь? Ясли до осени, а тогда как?

— И тогда я не вредная буду, — сказала старая крестьянка. — Я до той поры у вас поживу, пока народ мне все не отдаст, что взаймы взял, — и лампу, и кладовую, и вилы, и избу, и тебя, старика-пережитка, и еще сверху добавок положит. Вот тогда мое сердце целиком успокоится, а дотоле у меня вся душа не на месте будет...

Авдей Васильевич поглядел на свою старуху.

— С осени десять новых изб класть начнем. Так общее собрание порешило, и нам тоже новую избу велели класть. Лес уж занарядили, жду только времени, когда народ посвободней станет.

Авдотья Захаровна посчитала в уме, что это будет, и сказала своему старику:

— Ну уж ладно... Нам старой кладовки не нужно, если всю новую избу даром сложат. Знать, и мне пережитком пора настала быть!

И они по привычке пошли к своей избе, где были теперь ясли.

— Пойдем, я тебе ужин сготовлю, — сказала Авдотья Захаровна. — Соскучилась я в гостях.

ИЗБУШКА БАБУШКИ

Дядя Сарай жил в деревне Магометовка с самого малолетства, как только родился. Из родной деревни он редко куда выходил пешком или выезжал на телеге; это ему было без надобности, потому что он доволен был жизнью в деревне. Сараем его прозвали за широкое, низко опущенное туловище, которое держали, как два пенька, короткие робкие ноги. Сарай ходил тихо, либо потому что тело его было грузное, либо потому что ему не к чему было спешить. Лысая, опустевшая без волос голова у Сарая была невелика, но зато толстая и умная; она тесно приросла к его плечам и казалась издали похожей на присевшую печную трубу на овине; Сарай никогда не покрывал свою голову шерстяной или прочей какой-либо шапкой, говоря, что голова его не для шерсти подставка.

Если дядя Сарай шел один по деревне, то он шептал слова сам для себя, потому что у него непрерывно шло в голове размышление, и мысль рождала слова: если Сарай встречал другого человека, то немедля вступал с ним в беседу — о том, что происходит сейчас на свете, что дальше будет, как надо жить и как не надо, какая будет погода в будущем году и отчего в деревне появилась моль. Дядя Сарай на каждый вопрос давал полный ответ, потому что он все знал, и все люди, особенно дети, любили его за то, что он все знает.

Но больше всех дядю Сарая любил мальчик Тишка, лет десяти от роду, который не знал ничего. Он чувствовал

только, что живет на свете и что ему здесь хорошо. Дядя Сарай тоже любил маленького конопатого Тишку, потому что Тишка с доверчивой радостью слушал каждое слово старого дяди и принимал его слово в свое сердце.

Дядя Сарай даже скучал, когда не видел в иной день Тишку, и тогда самостоятельно шел искать мальчика. А Тишка играл на околице с товарищами, бегал по дикому разнотравью неудобной, непахотной земли и кричал там от своего баловства и детского счастья. Однако Тишка не знал, что такое, если считать по науке, земля, животное, насекомое или небо, а дядя Сарай знал это в точности. И поэтому Сарая печалило, что Тишка еще ничего не знает, а сам живет, шумит и балуется.

— Тишка! — кричал Сарай поверх высокой травы среди лета. — Беги ко мне, я тебе свое указание скажу!

Тишка подбегал к Сараю, садился возле него в траву и делался задумчивым.

Тишке интересно было думать о чем-нибудь; только он сейчас не знал, о чем ему думать, и он следил глазами за бабочкой, которая летала над травой и над цветами, торжествуя в воздухе легкими крыльями. Бабочка отражалась в светлых глазах Тишки, и поэтому он чувствовал ее, он знал, что она тоже живет с ним наравне, а больше он не думал ни о чем.

Сарай садился рядом с Тишкой, гладил свою голову и сообщал мальчику:

— Эх ты, Тишка, Тишка!.. Не на той звезде я живу...

— А где же тебе надо, дядя Сарай? — спрашивал Тишка.

— Надо бы мне не тут, а на прочей какой-нибудь дальней планете, — грустно говорил Сарай. — Здесь я все уже знаю, и давно своим мозговым умом дошел до чего попало...

Тишка с пугливой кротостью посматривал на большого Сарая.

— А мозговой ум у нас есть? — спрашивал Тишка. — Я ел мозох из кости, из коровы, — мне отец его давал, чтоб я поумнел.

— Это ложь невежества, — хрипло, опухшим голосом говорил Сарай. — Ты ничему не верь, Тишка, ты никого не слушай, ты думай, как я тебе говорю...

— А отчего я думаю, дядя Сарай? — спрашивал Тишка.

— Это тебе так кажется, — объяснял Сарай. — Вещество в тебе киснет, в твоей голове, и получается разное воображение про то, чего нет.

— А я думал, что я вправду думаю, — грустно говорил Тишка. — А это нарочно!

— Все нарочно, — утверждал Сарай. — Ничего такого особого нету.

— А отчего я вижу? — допытывался далее Тишка, уже тронутый сомнением до сердечной боли.

Сарай, как знающий человек, ухмыльнулся довольным лицом.

— А чего ты видишь-то?

— Я вижу целое небо и синюю траву, она маленькая, — медленно говорил Тишка, внимательно рассматривая сияющий летний мир. — Я вижу вон там избушку бабушки Феклы, из ней дым из трубы идет, это бабушка либо картошки печет, а может, гуся!

— А дальше что ты, видишь? — спрашивал Сарай.

— Я вижу, где желтые цветы растут, — смотрел мальчик в тихое поле перед собой, — и над ними солнце весь дух освещает.

— Ничего ты не видишь, — отвергал Сарай мнение Тишки. — Это тебе так только кажется, это у тебя глаза играют.

— А чего же там есть? — указывал Тишка рукою на весь мир возле себя.

— Там-то? — равнодушно говорил Сарай. — Там ничего нету — там одна тьма, а глазами ты обман один видишь... Это у тебя в одних твоих глазах есть разноцветный свет, а снаружи весь мир черный.

— Черный? — спросил Тишка, сейчас же вообразив тьму и почти увидев ее своими глазами на месте сияющего солнечного света.

— Черный, а также бледный, как покойник, — сообщил дядя Сарай. — Все ведь это мертвое.

— А отчего же что-нибудь живет? — не понимал Тишка. — Жуки живые, коровы чвакают ртом и моргают добрыми глазами, я тоже живу с ними...

— Живут они от нужды и скуки, — отвечал знающий Сарай. — На свете ведь всякое дело, Тишка, идет просто: гниет и томится, а все думают, что это важное дело, — ишь ты как! А это одно представленье!

— А бабочки летают! — тихо произнес Тишка.

— Пускай, — сказал Сарай. — Что ж тут хорошего! Бабочка была червяком, а станет пылью. Я ведь, Тишка, все знаю.

Тишка соскучился сидеть и пошел домой, а Сарай остался на месте, не смея окликнуть мальчика и возвратить его обратно для беседы и своих указаний.

Ему стало вдруг стыдно оттого, что он знал все, а Тишка ничего. «Надо его еще больше на ум наставить», — решил Сарай.

Задумчив был Тишка на родном дворе. Он грустно рассматривал плетень, лопух и прочие предметы и различные существа, живущие во дворе; он знал теперь, что все это не такое, каким кажется, и голубое небо над ним на самом деле черное или серое, как безродная пустошь.

Тишка поднял темно-синего жука, жившего в тени под травой, положил его к себе на ладонь, погладил его и поговорил с ним.

— Ты кто? — спросил Тишка. Жук молчал. — Правда, что ты гниешь и томишься? — Жук пошел по ладони, двигаясь вперед от нужды или скуки; Тишка обиделся, что жук им не интересуется и живет сам по себе, отдельно и тайно, не нуждаясь ни в Тишке, ни в ком другом, и Тишке стало плохо, оттого что его не любит жук.

— Лети, помирай! — сказал Тишка жуку и забросил его. — Нечего тебе жить...

Вечером дядя Сарай разделывал на краю деревни тушу старой овцы, убитой на мясо. Он понимал, отчего живут и потом умирают разные животные и твари, поэтому хорошо умел снимать шкуры с них и выбирать мягкие внутренности.

Ребята окружили Сарая и следили за ним, что он делает. Тишка тоже находился возле и смотрел внутрь разверстого тела овцы, в темную тесноту кишок и костей.

— Вот, ребята, — сказал Сарай, сидя на корточках и копаясь руками около сердца овцы, — вот отчего овца эта

с нами жила! — Сарай вынул сердце, потом кишку и показал их всем.

Тишке было жалко, что Сарай сломал теперь овцу и никогда ее не будет. Он стал смотреть в ее мертвое лицо, стараясь запомнить его, когда эту овцу уже все позабудут.

— Она, стало быть, оттого жила, — говорил детям Сарай, — что в ней трава прела и теплый дух давала. Ну, духу этому деваться некуда было, кругом же шкура, в овце получалось томление, и она жила.

— А она думала? — спросил Тишка.

Дядя Сарай раздробил косарем по темени овечью голову, вынул оттуда мозг и показал его детям на ладони.

— Видали? — сказал Сарай. — Одинаково, что кишки, что мозг... Вот чем она думала! В кишках варится навоз, а в мозгу весь мир и всякая видимость сгорает в обман воображения, чтоб овце нескучно было жевать траву и варить навоз до самой смерти...

Умолкшие дети сидели и слушали Сарая. Им было страшно теперь жить, они тоже часто жевали траву — лук и купыри.

Тишка поглядел на небо, занимавшееся звездами, и спросил:

— Дядя Сарай, а отчего звезды?

— А звезды оттого, — рассудительно сообщил Сарай, — что раньше небо было дело пустое, вот оно и заросло звездами, как овраг зарастает бурьяном. А если бы там не было звезд, то было что-нибудь другое, может, совсем худое, пускай уж лучше там звезды будут.

— Пускай, — сказали ребята, но сами задумались.

Дядя Сарай окончил разделывать овцу на товарное мясо, вытер о траву руки и знающими, спокойными глазами посмотрел на великую ночь, наступающую на небе.

— Дядя Сарай, а что будет в нашей деревне через тыщу лет? — спросил Тишка.

— Через тыщу? — сказал Сарай. — А что ж тут будет! В июле месяце в ту пору над нашей местностью пойдет град со снегом, и у тетки Агафьи Семеновны — а это будет такая тетка тогда жить, полномордая из себя и сытая, но в общем нормальная, — у тетки Агафьи издохнет курица: уткнется

носом в землю и издохнет, неизвестно отчего, но издохнет, птицы уж не будет.

— А сейчас где живет эта курица, какая умрет? — спрашивал Тишка.

— Ну, сейчас она не родилась еще, — говорил дядя Сарай. — Сейчас она мертвая пока.

— А мертвые тоже живут?

— А то как же!

— А где они?

— Спят в живых потихоньку, а потом выковыриваются из них, когда соскучатся быть мертвыми. Видишь ты, как оно житейское дело идет!

Все ребята со страхом и уважением поглядели на Сарая.

— Дядя Сарай, а ты ведь все знаешь! — сказал Тишка.

— Сквозь! — согласился Сарай и пожевал пустым ртом.

Тишка попробовал рукой низкую молчаливую траву и нечаянно сказал:

— А может, ты тоже дурак, дядя Сарай!

— Я-то? — произнес Сарай. — Едва ли, Тихон! Да если я и дурак, так ведь я сам знаю, что я дурак и отчего я дурак, а значит, и тут выходит, что я умный. Мне от своего ума деться некуда: мировоззрение такое!

Тишка смотрел на разбитую голову овцы, запрокинутую навзничь на земле, и в ее открытые мертвые глаза. Ему казалось, что овца просила его о помощи или о памяти о ней, раз она теперь умерла. Пусть она сама жила без ума и без счастья, от одной нужды и скуки, лишь для того, чтобы жевать траву и варить в животе навозные орешки, но ей не хотелось быть такой — это видно было Тишке по измученному, мертвому, милому лицу овцы. Она была лучше, чем ее считали.

— Всякая тварь, Тишка, — громко говорил Сарай, оглядывая утихшую темную землю, — всякая тварь есть машина. Ну, вроде тебе стенных часов, самовара, или, может, трактора. И ты, Тишка, ты тоже вроде будильника или горшка с кашей — в тебе преет посторонняя пища, она жарится и парится, а ты воображаешь и думаешь, что живешь и что тебе хорошо. А тебя, Тишка, почти нет на свете. Это прочие

силы действуют в тебе, как в пустой шкурке. А сам ты вроде ветерка над травой — прошел и минул, и все тебя забыли. Кто ты такой?

— А ты кто? — спросил Тихон.

— И я тоже никто, я тоже пустой пустяк, — сказал Сарай. — Ступайте все ко двору, я сейчас небо своим размышлением постигать начну: что эти мелкие звезды означают, самая крупная такая — вон видите там, вдалеке...

Сарай уставил лицо вверх, открыл рот, икнул прежней пищей и задумался, а Тишка и все ребята пошли по дворам к родителям.

Тишке стало жить скучно, как будто у него умерло сердце. Отец и мать ему надоели, он серчал на них, что они ничего не понимают, и уходил в темный сарай, где сидел в тишине и одиночестве, как старый человек.

— Тишка, ты бы хоть с Нюськой пошел погулял! — кликала его мать.

Но Тишка отказывался водить гулять маленькую сестру. Кто она такая, эта Нюська? Пустая шкурка какая-то...

— Тишка! Я тебе что говорю! — приказывала мать. — Сейчас же выдь из сарая, домовой!

— А что ты понимаешь-то? — отвечал Тишка из тьмы. — В тебе вещество томится, вот отчего ты кричишь! А у Нюськи нужда гниет — у нее понос...

— Да кто ж это тебя научил так худо выражаться-то? — озадачивалась мать.

— Мировоззрение такое! — сообщал из сарая Тишка.

— Что? — спрашивала мать и не понимала своего сына, отчего он такой блажной и грустный.

— Ничего, — сурово отвечал Тишка. — Помирать пора.

По вечерам Тишка уходил к дяде Сараю и сидел с ним на завалинке его избы или в траве на пустоши и слушал слова Сарая о том, что человек и муравей, а равно и рыба, — одно и то же, но что скоро, однако, наступит конец света, потому что рыба пошла жить мелкая, муравей изленился, а человек во всем мире стал подлым.

К ночи печальный Тишка возвращался домой на ночлег. Мать, привстав на кровати, ругала сына, что он так долго

шатается, полуночник. Отец ничего не говорил, но тоже кряхтел от непорядка в доме.

— А вы бы лучше не рожали меня, — отвечал им Тишка. — Кто вас просил? Я не просил, меня не было.

— У меня морской ремень есть, — тихо говорил тогда отец, — мне давно дядя Федя подарил. Надо на тебе его испробовать.

— Ладно, — соглашался Тишка, укладываясь на свое место. — Спите смирно, муравьи уже спят.

Наутро, просыпаясь, Тишка видел свет за окном, но он ему казался смутным, как влага на дне, и неинтересным. Тишка не хотел вставать с постели вовсе и долго притворялся спящим, пока мать с боем не поднимала его.

— Зачем разбудила? — злобно говорил матери Тишка. — Кто тебя просил, темное ты существо!

— Ступай воды принеси маленькое ведерко, — просила его мать.

— А размышленьем когда мне заниматься? — сердился Тишка. — Не пойду я никуда, зачем пить и есть...

— А сам лопаешь! — сказала мать и взяла ведерко.

Тишка вспомнил, что и дядя Сарай тоже, видно, ел пищу, потому что на лицо был сытый и довольный, он даже икал отрыжкой, хотя думал обо всем с печалью. Тишка встал с постели, отрезал порцию хлеба побольше и съел его, запив полкорчажкой молока, а потом опять лег.

Когда мать возвратилась с водой, Тишка притворился умершим: он выставил наружу лицо, сжал губы и старался не дышать. Он долго лежал в таком положении, а мать ходила в избе по хозяйству и работала, точно ей ничуть не жалко было Тишку.

Наконец мать подошла к сыну, помолчала и произнесла горестным голосом:

— Аль и взаправду наш Тихон-то покойник!.. Что ж за беда такая в семействе: теперь ведь от нужды придется другого рожать — может, лучше родится. У кого ж надо проситься-то: можно иль нет нам детей сызнова рожать?..

Но Тишка уже не слышал матери, он уснул вторым утренним сном и во сне улыбнулся, потому что его сердце забылось и снова стало добрым.

Тишка шел ночью по пустой сельской улице и плакал. Он давно ушел со двора, еще с обеда, и весь день провел в полях, воображая себя то будильником, то трактором, то чугунным колесом, чтобы узнать про себя, кто он есть по правде, и жить спокойно. Но Тишке скоро надоело однообразно думать о себе как о будильнике или колесе; внутри его сердца всегда оставался живой беспокойный остаток, который не мог и не хотел быть ничем посторонним, а хотел быть сам по себе — неизвестно чем, — и это мучило Тишку. Он перестал тогда превращать себя воображением в разные машины и предметы, сказал себе, что он Тишка, но это ему тоже не дало радости.

Измучившись, он дожил до поздней ночи и заплакал на деревенской улице, не зная, что ему думать дальше, он уже все передумал. Хотя была безлунная ночь, но Тишка все замечал, что было перед ним, — мелкие комья земли, утерянные колосья с возов, растущие былинки и чистый покров соломенных крыш, — точно вся земля была ясно освещена светом дальних покойных звезд, или Тишка видел прохладное сновидение. Ветви попутной ветлы шевелились без ветра в тишине; мальчик удивился дереву, что оно волнуется без ветра, остановился и вытер глаза.

За ветлою светился огонь в окне, и Тишка узнал место и опомнился. Тут живет в своей избушке одна бабушка Фекла; раньше, давно еще, она была учительницей, а теперь живет по старости на пенсии.

Тишка постучал в окошко, в окне показалось лицо бабушки Феклы, волосы ее были уже белые, губы тонкие, шепчущие, но маленькие темные глаза блестели, как у девочки, и от этого света в уставших глазах все лицо бабушки было постоянно внимательным и добрым.

Тишка вошел в избу и сел на лавку, не зная, зачем он пришел. Однако бабушка Фекла Семеновна давно жила на свете, и ей не надо было ничего говорить, она сама угадывала, что у человека лежит на сердце. Она знала людей по привычке жить среди них и редко ошибалась в причине их печали, их нужды и их радости.

— Не горюй, — сказала она мальчику.

— Бабушка, а ты все на свете знаешь? — спросил ее Тишка.

— Чего я знаю! Я все уж позабыла, — произнесла бабушка и пригасила лампу, чтобы не горел лишний огонь.

— А помирать тебе не пора? — узнавал у нее гость.

— Чего ты! Сроку нет, я еще не нажилась на белом свете, — сказала бабушка Фекла. — Хочешь, я картошек печеных тебе положу?

Тишка молчал. Он осматривался в чистой избе, где горела лампа, пахло высохшей травой и напевал сверчок под сенями — в теплой тишине завалинка.

Бабушка подала на стол глиняную миску с запеченой картошкой и велела есть.

— Съешь, — сказала она. — Нельзя брезговать: над картошкой и солнце светило, и тепло ее грело, и дождь мочил, и земля ее кормила, и гром гремел...

Бабушка села у стола против Тишки и загляделась на него своими ясными, смеющимися глазами, точно она любовалась им. Тишка несмело начал есть картошку.

— Ты не бойся, ты ешь побольше, — угощала бабушка.

— Я не боюсь, чего бояться, — сказал Тишка, — все равно все люди подлые...

Фекла Семеновна задумалась, и глаза ее померкли на минуту, будто она посмотрела ими в тьму.

— Ишь ты, думает, картошку я не ел, добро какое, — бормотал Тишка. — Я все знаю на свете: кто ты, кто сверчок, кто картошка.

— А я не знаю, — ответила бабушка. — Я забыла.

В окно избы ударилась неизвестная, заблудившаяся птичка; она промолвила что-то в испуге и умолкла, улетев в ночь на ослабевших крыльях. Фекла Семеновна прильнула к оконному стеклу, но увидела лишь ветлу и звезды, светившие в небе меж листьев и ветвей, а далее видно было темное пространство полей, знакомых с детства, но все еще влекущих к себе, точно там что-то забыто или не узнано самое дорогое.

— Бабушка Фекла, а бабушка! — позвал Тишка. — Зачем ты живешь и живешь? От нужды и скуки? — Он уже перестал есть картошку, потому что его не влекло к пище.

Бабушка оглянулась на Тишку.

— Зачем, зачем, — за многим! — сказала она. — Затем, чтоб тебя на свете видеть и других людей, помнить

об умерших и чувствовать всех. Я ведь не своим сердцем живу...

— А чьим? — спросил Тишка.

— Своим не проживешь — соскучишься, — говорила Фекла Семеновна. — Я уж пробовала: давно ведь живу, было время, все видела.

— А чего ты видела-то? — спрашивал Тишка. — Может, это у тебя в глазах обман играет, весь мир черного цвета, ничего особого нету.

Бабушка подошла к Тишке и погладила его волосы мягкой ладонью. «Рука-то у нее как пшеничная», — подумал сам про себя Тишка.

— Что с тобой! — произнесла Фекла Семеновна. — Если бы у нас в одних глазах играло, ты бы не плакал слезами...

Тишка здесь опять загоревал.

— А правда, весь мир черный? — кротко спросил он. — А то я его боюсь.

— Не знаю, — сердито ответила бабушка. — А ты освети его сам, если он черный: кто ж для тебя должен весь мир освещать! Ишь ты, прах вас всех возьми, — только родились, а уж злитесь, весь свет у них стал черным... Либо ты думаешь, я тебя, что ль, не вижу, какой ты есть, либо ты думаешь, у меня в глазах темная вода, что ль?

И вдруг Фекла Семеновна перестала быть сердитой, она села рядом с Тишкой и склонилась к нему.

— Что у тебя болит? — спросила она.

— Нутрё, — сказал Тишка. — Не знаю, как мне теперь быть, на еду не тянет, скучно все, и мировоззрение какое-то болит.

И Тишка положил голову на стол в своем грустном, детском томлении души, которая стала беспомощной, потому что весь мир для нее представился пустым.

Бабушка обняла Тишку и стала шептать ему утешение:

— Забудь все, Тишка... Кто это все знает? Кто это такое тебе сердце измучил дурной мыслью? Он самый подлый человек, кто знает все! Ты оттого и горюешь, что живешь и думаешь неправильно, ты поверил в обман.

— А как же надо-то? — опомнился Тишка.

— Надо-то? — подумала Фекла Семеновна. — Всякому разное надо, но одно нужно всем одинаковое... Чего ты

скучаешь? Смотри, без тебя тоже скучно всем: ветла стоит наружи одна, мать не спит, она ожидает тебя, птица летела к нам на свет, но окно было закрыто, и птица улетела. Ты сам закрыл свое сердце ото всех, и оно стало голодное и худое, как у мертвеца. А ты ведь маленький еще, пусти всех, кто к тебе просится, пойми нас, тогда ты сам научишься знать немножко, как тебе жить.

— А ты знаешь чего немножко? — спросил Тишка.

— Мало чего, — сказала бабушка. — Я жила, перемучилась и теперь счастливая: во мне чужие души живут, одна своя давно бы засохла и умерла. А сейчас я увидела тебя и взяла твое горе к себе.

— Чего ты взяла? — усомнился Тишка. — Я не почуял.

— Потом почувствуешь, — произнесла бабушка, — и сам не заметишь, как почувствуешь. Ешь картошку! Ты клади сейчас себе больше в живот и меньше думай в голову. Не спеши, а то у тебя от думок лишняя душа вырастет.

— Ну, это ладно, — по-мужиковски согласился Тишка. — Проводи меня ко двору, я спать хочу и тьмы боюсь.

Бабушка пригасила свет в лампе, взяла мальчика за руку и повела домой.

Прохладная ночь освещала звездами землю. Фекла Семеновна посмотрела на небо; она знала, что за видимыми звездами есть невидимые, и они тоже освещают землю, но тем светом, который люди не видят; если бы глаза людей могли видеть весь свет мира, то ночью вся земля была бы озарена сиянием, а солнечный день был похож на сумерки. Чем выше на небе, тем больше света, — но бабушка ничего не сказала об этом Тишке, пусть он поживет и догадается сам.

Старуха и мальчик шли по деревенской пустой улице. Потом бабушка остановилась, прислушалась к воздуху ночи и сказала:

— Кто ж это такое так поздно ужин готовит? Не то Гараська-секретарь из города приехал?

Но в деревенской ночи раздался чужой голос человека, другой голос пробормотал ему ответ, и бабушка все поняла.

— Пожар! — сказала она Тишке.

— Пускай, он сам потухнет, — произнес Тишка. Ему было все равно, он хотел спать.

Бабушка подхватила Тишку на свои сильные белые руки и побежала с ним вперед на запах дыма.

Рядом с избой дяди Сарая тлела колхозная овчарня, крытая соломой. Дядя Сарай был тут же; он ходил по выгону перед овчарней и давал указания старику, ночному сторожу. Ночной сторож, опершись грудью на полевой посох, курил трубку, из трубки вылетали искры и летели с живым огнем до самой земли.

— Беги скорей к правлению, кличь весь народ! — шумел Сарай. — Ты видишь, что делается — сейчас огонь наружу покажется — всю деревню спалит, меня первого!

— Загаснет сам, потушить не поспеют, все люди уморились и спят, пока встанут, пока обуются, — тихо и неохотно, словно безмолвно, сказал старик. — До твоей избы еще далече.

— Я тебе что говорю! Я член ревизионной комиссии! — распоряжался Сарай с непокрытой головой. — Ты все поголовье вывел из помещения или нет?

— Всех, — еле-еле проговорил старик. — Осталась малость.

— А это ты своей трубкой поджег помещение! — кричал бегающий мелкими ногами по поляне Сарай. — Ты нам ответишь в сто крат, я тебя расшифрую, я знаю на свете все!

— Вспыхнуло от природы, — сказал сторож. — Может, от зарницы. Одно сгорит, другое построят. Это горит от ветхости.

Из тлеющего сарая сразу пошел густой толстый дым, озаренный пламенем из-под своих корней.

Дядя Сарай широко осмотрелся вокруг и заметил Тишку со старухой Феклой: бабушка опустила Тишку на землю, и он стоял, прикоснувшись рукой к ее руке.

— Тишка! — воскликнул Сарай. — Беги ко мне в избу, выволакивай легкие вещи наружу, ставь их в ряд на улице по той стороне, а за тяжелым я сам сейчас приду. Гляди, не разбей ничего. Бери пока табуретки, а часов и настольное зеркало не смей трогать!

Тишка засмотрелся в дым и в огонь и раздумал спать.

— Тишка! — повторно произнес Сарай. — Ты слыхал, что я тебе сказал? Беги в мою избу добро спасать!

— А зачем тебе часы и табуретки, дядя Сарай? — спросил Тишка. — Все равно скоро конец света будет — не иначе, ты сам говорил. Пускай все горит, может, это конец начинается.

Сарай остановился в своей суете.

— Я тебе дам конец! — сказал он. — Я тогда сначала все начну!

Здесь Сарай подумал о бабушке Фекле и дал ей приказание:

— А ты чего стоишь моргаешь: помирать боишься? В помещении наши колхозные, общественные овцы остались, тебе что жить, что не жить, — зубы сжевала, ум прожила, — швыряйся в дым, старуха!

Фекла Семеновна поняла Сарая и пошла в дым пожара. Она остановилась около извергающегося из овчарни чада, закрыла лицо одной рукой и вошла туда внутрь, во мрак огня.

— Кончится старуха, — произнес сторож старик. — А вся такая белая, пшеничная женщина была.

— Это неважно: ей пора! — сказал Сарай. — Едоком меньше — трудодень больше. Одна овчарня сгорит: трава сырая, огонь дальше не пойдет.

— Нипочем, — подтвердил старик. — Деревня останется, деревня дело святое. А если б деревня занялась, так я бы тут ух что наделал!..

Старик замолчал, всматриваясь в темный ночной дым пожара, уходящий от безветрия прямо на небо.

— Зря женщину послал, — сказал он. — Я овец еще давеча всех выгнал на пустую поляну, а там одна осталась, и то дурная. Малоумный ты человек, а на должности!

Из дыма вышла Фекла Семеновна; одной рукой она закрывала свое лицо, а другою держала овцу за шерсть на загривке; овца шла тихо и вяло, она уже сомлела, но старуха не хотела оставлять овцу в огне и тоже шла с ней потихоньку, — может быть, овца тоже была старухой. Тишка пошел навстречу бабушке и спросил ее:

— Ты чего: отживеешь?

— Угорела, — хрипло сказала Фекла Семеновна. — Ничего, я водой отопьюсь, ты ступай спать. А когда я умирать

захочу, я тебя позову — ты живи тогда вместо меня, чтоб не забыли мою душу.

И бабушка закрыла свое лицо обеими руками, а овца отошла от нее и легла в холодную траву.

— Я с тобой побуду, — попросился Тишка.

— Иди спать, полуночник, — приказала бабушка. — Нечего больше смотреть, огонь потухает.

Тишка пошел домой. Сначала он шел шагом, а потом побежал, будто испугавшись чего-то.

Дома все спали, кроме матери; однако мать его не попрекнула, она только сказала: «Похлебай молока в сенцах и ложись».

Наутро Тишка узнал, что бабушка умерла от старости лет и от угара. Он пошел к ее избушке, сел в траву напротив ветлы, долго смотрел на трубу избушки, на сопревшую солому ее крыши и на стены, выбеленные известью. Ветла шевелила ветвями, все так же, как и тогда. В избе лежала мертвая бабушка, велевшая ему жить вместо себя.

ЦВЕТОК НА ЗЕМЛЕ

Скучно Афоне жить на свете. Отец его на войне. Мать с утра до вечера работает в колхозе на молочной ферме, а дедушка Тит спит на печке; он и днем спит, и ночью спит, а утром, когда просыпается и ест кашу с молоком, он тоже дремлет.

— Дедушка, ты не спи, ты уж выспался, — сказал нынче утром Афоня дедушке.

— Не буду, Афонюшка, я не буду, — ответил дед. — Я лежать буду и на тебя глядеть.

— А зачем ты глаза закрываешь и со мной ничего не говоришь? — спросил тогда Афоня.

— Нынче я не буду глаза смежать, — обещал дедушка Тит. — Нынче я на свет буду смотреть.

— А отчего ты спишь, а я нет?

— Мне годов много, Афонюшка... Мне без трех девяносто будет, глаза уж сами жмурятся. А тебе еще мало времени, тебе без трех первый десяток идет.

— А тебе ведь темно спать, — говорил Афоня. — На дворе солнце горит, там трава растет, а ты спишь — ничего не видишь.

— Да я уж все видел, Афонюшка.

— А отчего у тебя глаза белые и слезы в них плачут?

— Они выцвели, Афонюшка, они от света выцвели и слабые стали, мне глядеть ведь долго пришлось.

Афоня осмотрел деда, какой он есть. В бороде деда были хлебные крошки, и там жил еще один комарик. Афоня встал на лавку, выбрал все крошки из бороды у деда, а комарика прогнал оттуда, пусть живет он отдельно. Руки дедушки лежали на столе; они были большие, кожа на них стала как кора на дереве, и под кожей видны были толстые черные жилы — эти руки много земли испахали.

Афоня поглядел в глаза деду. Глаза его были открыты, но они смотрели равнодушно, не видя ничего, и в каждом глазу светилась большая капля слезы.

— Не спи, дедушка! — попросил Афоня.

Но дедушка уже спал. Мать подсадила его сонного на печку, укрыла одеялом и ушла работать. Афоня же остался один в избе, и опять ему скучно стало жить на свете. Он ходил вокруг деревянного стола, смотрел на мух, которые окружили на полу хлебную крошку, упавшую из бороды деда, и ели ее; потом Афоня подходил к печке, слушал, как дышит там спящий дед, смотрел через окно на пустую улицу и снова ходил вокруг стола, не зная, что ему делать.

— Мамы нету, папы нету, дедушка спит, — говорил Афоня сам себе.

Потом он посмотрел на часы-ходики, как они идут. Часы шли долго и скучно: тик-так, тик-так, будто они баюкали деда, а сами тоже уморились и хотели уснуть.

— Проснись, дедушка, — просил Афоня. — Ты спишь?

— А? Нету, я не сплю, — ответил дедушка Тит с печи.

— Ты думаешь? — спрашивал Афоня.

— А? Я тут, Афоня, я тут.

— Ты думаешь там?

— А? Нету, я всё обдумал, Афонюшка, я смолоду думал...

— Дедушка Тит, а ты всё знаешь?

— Всё, Афоня, я всё знаю.

— А что это, дедушка?

— А чего тебе, Афонюшка?

— А что это всё?

— А я уж позабыл, Афоня...

— Проснись, дедушка, скажи мне про всё!

— А? — произнес дедушка Тит.

— Дедушка Тит! Дедушка Тит! — звал Афоня. — Ты вспомни!

Но дед уже умолк, он опять уснул в покое на русской печи.

Афоня тогда сам залез на печь к дедушке и начал будить его, чтобы он проснулся. А дед спал и только шептал тихо во сне неслышные слова. Афоня уморился его будить и сам уснул возле деда, прильнув к его доброй знакомой груди, пахнувшей теплой землею.

Очнувшись от сна, Афоня увидел, что дед глядит глазами и не спит.

— Вставай, дедушка! — сказал Афоня.

А дед опять закрыл глаза и уснул.

Афоня подумал, что дед тогда не спит, когда сам Афоня спит; и он захотел никогда не спать, чтобы подкараулить деда, когда он совсем проснется.

И Афоня стал ожидать. Часы-ходики тикали, и колесики их поскрипывали и напевали, баюкая деда.

Афоня тогда слез с печи и остановил маятник у часов. В избе стало тихо. Слышно стало, как отбивает косу косарь за рекой и тонко звенит мошка под потолком.

Дедушка Тит очнулся и спросил:

— Ты чего, Афоня? Что-то шумно так стало? Это ты шумел?

— А ты не спи! — сказал Афоня. — Ты скажи мне про всё! А то ты спишь и спишь, а потом умрешь, мама говорит — тебе недолго осталось, кто мне тогда скажет про всё?

— Обожди, дай мне квасу испить, — произнес дед и слез с печи.

— Ты опомнился? — спросил Афоня.

— Опомнился, — ответил дед. — Пойдем сейчас белый свет пытать.

Старый Тит испил квасу, взял Афоню за руку, и они пошли из избы наружу.

Там солнце высоко стояло на небе и освещало зреющий хлеб на полях и цветы на дорожной меже.

Дед повел Афоню полевою дорогой, и они вышли на пастбище, где рос сладкий клевер для коров, травы и цветы. Дед остановился у голубого цветка, терпеливо росшего корнем из мелкого чистого песка, показал на него Афоне, потом согнулся и осторожно потрогал тот цветок.

— Это я сам знаю! — протяжно сказал Афоня. — А мне нужно, что самое главное бывает, ты скажи мне про всё! А этот цвет растет, он не всё!

Дедушка Тит задумался и осерчал на внука.

— Тут самое главное тебе и есть!.. Ты видишь — песок мертвый лежит, он каменная крошка, и более нет ничего, а камень не живет и не дышит, он мертвый прах. Понял теперь?

— Нет, дедушка Тит, — сказал Афоня. — Тут понятного нету.

— Ну, не понял, так чего же тебе надо, раз ты непонятливый!.. А цветок, ты видишь, жалконький такой, а он живой, и тело себе он сделал из мертвого праха. Стало быть, он мертвую сыпучую землю обращает в живое тело, и пахнет от него самого чистым духом. Вот тебе и есть самое главное дело на белом свете, вот тебе и есть, откуда все берется. Цветок этот — самый святой труженик, он из смерти работает жизнь...

— А трава и рожь тоже главное делают? — спросил Афоня.

— Одинаково, — сказал дедушка Тит.

— А мы с тобой?

— И мы с тобой. Мы пахари, Афонюшка, мы хлебу расти помогаем... А этот вот желтый цвет на лекарство идет, его и в аптеке берут. Ты бы нарвал их да снес. Отец-то твой ведь на войне, — вдруг поранят его, или он от болезни ослабнет, вот его и полечат лекарством.

Афоня задумался среди трав и цветов. Он сам, как цветок, тоже захотел теперь делать из смерти жизнь; он думал о том, как рожаются из сыпучего скучного песка голубые, красные, желтые счастливые цветы, поднявшие к небу свои добрые лица и дышащие чистым духом в белый свет.

— Теперь я сам знаю про всё! — сказал Афоня. — Иди домой, дедушка, ты опять, должно, спать захотел: у тебя глаза белые... Ты спи, а когда умрешь, то не бойся, я узнаю у цве-

тов, как они из праха живут, и ты опять будешь жить из своего праха. Ты, дедушка, не бойся!

Дед Тит ничего не сказал. Он невидимо улыбнулся в бороде своему доброму внуку и пошел спать в избу на печку.

А маленький Афоня остался один в поле. Он собрал желтых цветов, сколько мог их удержать в охапке, и отнес в аптеку на лекарство, чтобы отец его не болел на войне от ран. В аптеке Афоне дали за цветы железный гребешок. Он принес его деду и подарил ему, пусть теперь дедушка чешет себе бороду тем гребешком.

— Спасибо тебе, Афонюшка, — сказал дед. — А цветы тебе ничего не сказывали, из чего они в мертвом песке живут?

— Не сказывали, — ответил Афоня. — Ты вон сколько живешь, и то не знаешь. А говорил, что знаешь про всё. Ты не знаешь.

— Правда твоя, — согласился дед.

— Они молча живут, надо у них допытаться, — сказал Афоня. — Чего все цветы молчат, а сами знают?

Дед кротко улыбнулся и погладил головку внука, как цветок, растущий на земле. А потом дедушка спрятал гребешок за пазуху и опять заснул.

НИКИТА

Рано утром мать уходила со двора в поле на работу. А отца в семействе не было; отец давно ушел на главную работу — на войну, и не вернулся оттуда. Каждый день мать ожидала, что отец вернется, а его все не было и нет.

В избе и на всем дворе оставался хозяином один Никита, пяти лет от роду. Уходя, мать ему наказывала, чтобы Никита не сжег двора, чтобы он собрал яйца от кур, которые они снесли по закутам и под плетнями, чтобы чужой петух не приходил во двор и не бил своего петуха и чтобы он ел в обед молоко с хлебом на столе, а к вечеру мать вернется и тогда покормит его горячим ужином.

— Не балуй, Никитушка, отца у тебя нету, — говорила мать. — Ты умный теперь, а тут все добро наше — в избе и во дворе.

— Я умный, тут добро наше, а отца нету, — говорил Никита. — А ты приходи поскорее, мама, а то я боюсь.

— Чего ты боишься-то? На небе солнце светит, кругом в полях людно, ты не бойся, ты живи смирно один...

— Да, а солнце ведь далече, — отвечал Никита, — и его облако закроет.

Оставшись один, Никита обошел всю тихую избу — горницу, затем другую комнату, где стояла русская печь, и вышел в сени. В сенях жужжали большие толстые мухи, паук дремал в углу посреди паутины, воробей пришел пеший через порог и искал себе зернышко в жилой земле избы.

Всех их знал Никита: и воробьев, и пауков, и мух, и кур во дворе; они ему уже надоели, и от них ему было скучно. Он хотел теперь узнать то, чего он не знал. Поэтому Никита пошел далее во двор и пришел в сарай, где стояла в темноте пустая бочка. В ней, наверно, кто-нибудь жил, какой-нибудь маленький человек; днем он спал, а ночью выходил наружу и ел хлеб, пил воду и думал что-нибудь, а наутро опять прятался в бочку и спал.

— Я тебя знаю, ты там живешь, — приподнявшись на ногах, сказал Никита сверху в темную гулкую бочку, а потом вдобавок постучал по ней кулаком. — Вставай, не спи, лодырь! Чего зимой есть будешь? Иди просо полоть, тебе трудодень дадут!

Никита прислушался. В бочке было тихо. «Помер он, что ль?» — подумал Никита. Но в бочке скрипнула ее деревянная снасть, и Никита отошел от греха. Он понял, что, значит, тамошний житель повернулся на бок либо хотел встать и погнаться за Никитой.

Но какой он был — тот, кто жил в бочке? Никита сразу представил его в уме. Это был маленький, а живой человек. Борода у него была длинная, она доставала до земли, когда он ходил ночью, и он нечаянно сметал ею сор и солому, отчего в сарае оставались чистые стежки.

У матери недавно пропали ножницы. Это он, должно быть, взял ножницы, чтобы обрезать себе бороду.

— Отдай ножницы! — тихо попросил Никита. — Отец придет с войны — все одно отымет, он тебя не боится. Отдай!

Бочка молчала. В лесу, далеко за деревней, кто-то ухнул, и в бочке тоже ответил ему черным страшным голосом маленький житель:

— Я тут!

Никита выбежал из сарая во двор. На небе светило доброе солнце, облака не застили его сейчас, и Никита в испуге поглядел на солнце, чтобы оно защитило его.

— Там житель в бочке живет! — сказал Никита, смотря на небо.

Доброе солнце по-прежнему светило на небе и глядело на него в ответ теплым лицом. Никита увидел, что солнце было похоже на умершего дедушку, который всегда был ласков к нему и улыбался, когда был живой и смотрел на него. Никита подумал, что дедушка стал теперь жить на солнце.

— Дедушка, ты где, ты там живешь? — спросил Никита. — Живи там, а я тут буду, я с мамой.

За огородом, в зарослях лопухов и крапивы, находился колодец. Из него уже давно не брали воду, потому что в колхозе вырыли другой колодец с хорошей водой.

В глубине того глухого колодца, в его подземной тьме, была видна светлая вода с чистым небом и облаками, идущими под солнцем. Никита наклонился через сруб колодца и спросил:

— Вы чего там?

Он думал, что там живут на дне маленькие водяные люди. Он знал, какие они были, он их видел во сне и, проснувшись, хотел их поймать, но они убежали от него по траве в колодец, в свой дом. Ростом они были с воробья, но толстые, безволосые, мокрые и вредные; они, должно быть, хотели у Никиты выпить глаза, когда он спал.

— Я вам дам! — сказал в колодец Никита. — Вы зачем тут живете?

Вода в колодце вдруг замутилась, и оттуда кто-то чавкнул пастью. Никита открыл рот, чтобы вскрикнуть, но голос его вслух не прозвучал, он занемел от страха; у него только дрогнуло и приостановилось сердце.

«Здесь еще великан живет и его дети!» — понял Никита.

— Дедушка! — поглядев на солнце, крикнул он вслух. — Дедушка, ты там? — И Никита побежал назад к дому.

У сарая он опомнился. Под плетневую стену сарая уходили две земляные норы. Там тоже жили тайные жители. А кто они такие были? — Может быть, змеи! — Они выползут ночью, приползут в избу и ужалят мать во сне, и мать умрет.

Никита побежал скорее домой, взял там два куска хлеба со стола и принес их. Он положил у каждой норы хлеб и сказал змеям:

— Змеи, ешьте хлеб, а к нам ночью не ходите.

Никита оглянулся. На огороде стоял старый пень. Посмотрев на него, Никита увидел, что это голова человека. У пня были глаза, нос и рот, и пень молча улыбался Никите.

— Ты тоже тут живешь? — спросил мальчик. — Вылезай к нам в деревню, будешь землю пахать.

Пень крякнул в ответ, и лицо его стало сердитое.

— Не вылезай, не надо, живи лучше там! — сказал Никита, испугавшись.

Во всей деревне было тихо сейчас, никого не слыхать. Мать в поле далеко, до нее добежать не успеешь. Никита ушел от сердитого пня в сени избы. Там было не страшно, там мать недавно дома была. В избе стало теперь жарко. Никита хотел испить молока, что оставила ему мать, но, посмотрев на стол, он заметил, что стол — это тоже человек, только на четырех ногах, а рук у него нету.

Никита вышел в сени на крыльцо. Вдалеке за огородом и колодцем стояла старая баня. Она топилась по-черному, и мать говорила, что в ней дедушка любил купаться, когда еще живым был.

Банька была старая и омшелая вся, скучная избушка.

«Это бабушка наша, она не померла, она избушкой стала! — в страхе подумал Никита о дедушкиной бане. — Ишь, живет себе, вон у ней голова есть — это не труба, а голова — и рот щербатый в голове. Она нарочно баня, а по правде тоже человек! Я вижу!»

Чужой петух вошел во двор с улицы. Он был похож по лицу на знакомого худого пастуха с бородкой, который по весне утонул в реке, когда хотел переплыть ее в половодье, чтобы идти гулять на свадьбу в чужую деревню.

Никита порешил, что пастух не захотел быть мертвым и стал петухом; значит, петух этот — тоже человек, только тайный. Везде есть люди, только кажутся они не людьми.

Никита наклонился к желтому цветку. Кто он был? Вглядевшись в цветок, Никита увидел, как постепенно в круглом его личике являлось человеческое выражение, и вот уже стали видны маленькие глаза, нос и открытый влажный рот, пахнущий живым дыханием.

— А я думал, ты правда — цвет! — сказал Никита. — А дай я посмотрю — что у тебя внутри, есть у тебя кишки?

Никита сломал стебель — тело цветка — и увидел в нем молоко.

— Ты маленький ребенок был, ты мать свою сосал! — удивился Никита.

Он пошел к старой бане.

— Бабушка! — тихо сказал ей Никита.

Но щербатое лицо бабушки гневно ощерилось на него, как на чужого.

«Ты не бабушка, ты другая!» — подумал Никита.

Колья из плетня смотрели на Никиту, как лица многих неизвестных людей. И каждое лицо было незнакомое и не любило его: одно сердито ухмылялось, другое злобно думало что-то о Никите, а третий кол опирался иссохшими руками-ветвями о плетень и собирался вовсе вылезти из плетня, чтобы погнаться за Никитой.

— Вы зачем тут живете? — сказал Никита. — Это наш двор!

Но незнакомые, злобные лица людей отовсюду неподвижно и зорко смотрели на Никиту. Он глянул на лопухи — они должны быть добрыми. Однако и лопухи сейчас угрюмо покачивали большими головами и не любили его.

Никита лег на землю и прильнул к ней лицом. Внутри земли гудели голоса, там, должно быть, жили в тесной тьме многие люди, и слышно было, как они корябаются руками, чтобы вылезти оттуда на свет солнца. Никита поднялся в страхе, что везде кто-то живет и отовсюду глядят на него чужие глаза, а кто не видит его, тот хочет выйти к нему из-под земли, из норы, из черной застрехи сарая. Он обернулся к избе. Изба смотрела на него, как прохожая старая тетка из

дальней деревни, и шептала ему: «У-у, непутевые, нарожали вас на свет — хлеб пшеничный даром жевать».

— Мама, иди домой! — попросил Никита далекую мать. — Пускай тебе половину трудодня запишут. К нам во двор чужие пришли и живут. Прогони их!

Мать не услышала сына. Никита пошел за сарай, он хотел поглядеть, не вылезает ли пень-голова из земли; у пня рот большой, он всю капусту на огороде поест, из чего тогда мать будет щи варить зимой?

Никита издали робко посмотрел на пень в огороде. Сумрачное, нелюдимое лицо, обросшее морщинистой корой, неморгающими глазами глянуло на Никиту.

И далеко кто-то, из леса за деревней, громко крикнул:

— Максим, ты где?

— В земле! — глухо отозвался пень-голова.

Никита обернулся, чтобы бежать к матери в поле, но упал. Он занемог от страха; ноги его стали теперь, как чужие люди, и не слушались его. Тогда он пополз на животе, словно был еще маленький и не мог ходить.

— Дедушка! — прошептал Никита и посмотрел на доброе солнце на небе.

Облако зазастило свет, и солнца теперь не было видно.

— Дедушка, иди опять к нам жить!

Дедушка-солнце показался из-за облака, будто дед сразу отвел от своего лица темную тень, чтобы видеть своего ослабевшего внука, ползшего по земле. Дед теперь смотрел на него; Никита подумал, что дед видит его, поднялся на ноги и побежал к матери.

Он бежал долго. Он пробежал по пыльной пустой дороге всю деревенскую улицу, потом уморился и сел в тени овина на околице.

Никита сел ненадолго. Но он нечаянно опустил голову к земле, уснул и очнулся лишь навечер. Новый пастух гнал колхозное стадо. Никита пошел было далее, в поле к матери, однако пастух сказал ему, что уже время позднее и мать Никиты давно ушла с поля ко двору.

Дома Никита увидел мать. Она сидела за столом и смотрела, не отводя глаз, на старого солдата, который ел хлеб и пил молоко.

Солдат поглядел на Никиту, потом поднялся с лавки и взял его к себе на руки. От солдата пахло теплом, чем-то добрым и смирным, хлебом и землей. Никита оробел и молчал.

— Здравствуй, Никита, — сказал солдат. — Ты уж давно позабыл меня, ты грудной еще был, когда я поцеловал тебя и ушел на войну. А я-то помню тебя, умирал и помнил.

— Это твой отец домой пришел, Никитушка, — сказала мать и утерла передником слезы с лица.

Никита осмотрел отца — лицо его, руки, медаль на груди — и потрогал ясные пуговицы на его рубашке.

— А ты опять не уйдешь от нас?

— Нет, — произнес отец. — Теперь уж век буду с тобой вековать. Врага-неприятеля мы погубили, пора о тебе с матерью думать...

Наутро, Никита вышел во двор и сказал вслух всем, кто жил во дворе, — и лопухам, и сараю, и кольям в плетне, и пню-голове в огороде, и дедушкиной бане:

— К нам отец пришел. Он век будет с нами вековать.

Во дворе все молчали; видно, всем стало боязно отца-солдата, и под землей было тихо, никто не корябался оттуда наружу, на свет.

— Иди ко мне, Никита. Ты с кем там разговариваешь?

Отец был в сарае. Он осматривал и пробовал руками топоры, лопаты, пилу, рубанок, тиски, верстак и разные железки, что были в хозяйстве.

Отделавшись, отец взял Никиту за руку и пошел с ним по двору, оглядывая — где, что и как стояло, что было цело, а что погнило, что было нужно и что нет.

Никита так же, как вчера, смотрел в лицо каждому существу во дворе, но ныне он ни в одном не увидел тайного человека; ни в ком не было ни глаз, ни носа, ни рта, ни злой жизни. Колья в плетнях были иссохшими толстыми палками, слепыми и мертвыми, а дедушкина баня была сопревшим домиком, уходящим от старости лет в землю. Никита даже пожалел сейчас дедушкину баню, что она умирает и больше ее не будет.

Отец сходил в сарай за топором и стал колоть на дрова ветхий пень на огороде. Пень сразу начал разваливаться, он

сотлел насквозь, и его сухой прах дымом поднялся из-под отцовского топора.

Когда пня-головы не стало, Никита сказал отцу:

— А тебя не было, он слова говорил, он был живой. Под землей у него пузо и ноги есть.

Отец повел сына домой в избу.

— Нет, он давно умер, — сказал отец. — Это ты хочешь всех сделать живыми, потому что у тебя доброе сердце. Для тебя и камень живой, и на луне покойная бабушка снова живет.

— А на солнце дедушка! — сказал Никита.

Днем отец стругал доски в сарае, чтобы перестелить заново пол в избе, а Никите он тоже дал работу — выпрямлять молотком кривые гвоздики.

Никита с охотой, как большой, начал работать молотком. Когда он выпрямил первый гвоздь, он увидел в нем маленького доброго человечка, улыбавшегося ему из-под своей железной шапки. Он показал его отцу и сказал ему:

— А отчего другие злые были — и лопух был злой, и пень-голова, и водяные люди, а этот добрый человечек?

Отец погладил светлые волосы сына и ответил ему:

— Тех ты выдумал, Никита, их нету, они непрочные, оттого они и злые. А этого гвоздя-человечка ты сам трудом сработал, он и добрый.

Никита задумался.

— Давай все трудом работать, и все живые будут.

— Давай, сынок, — согласился отец. — Давай, добрый Кит.

Отец, вспоминая Никиту на войне, всегда называл его про себя «добрый Кит». Отец знал, что Никита родился у него добрым и останется добрым на весь свой долгий век.

ОСЬМУШКА

Марья Васильевна жила в избе на опушке густого лиственного леса. Муж ее был лесным сторожем, и они давно жили в этом лесу. Здесь же у них родился сын Митя, которому сейчас сравнялось четыре года.

Семейство лесника жило мирно и хорошо, но в последний год Марья Васильевна стала сильно хворать, и она часто подолгу смотрела жалостными глазами на своего маленького Митю, словно чувствуя, что она скоро умрет и не успеет наглядеться на своего сына.

Нынче Марья Васильевна вовсе занемогла. Однако, как и прежде, она поднялась с зарею и весь день некогда было ей прилечь, потому что нужно было много работать по дому и по хозяйству. От болезни она стала худой, сгорбленной и маленькой, но она никому не жаловалась на свою болезнь и постоянно жила в работе и заботе.

К полудню Марья Васильевна немного отделалась и присела на лавку. Тихо было во дворе, и в поле, и в лесу. Шло теплое лето, росли деревья в лесу, и зрела рожь на нивах. Митя ушел с утра; он играл где-нибудь в поле или лесу, разговаривал там с бабочками, жуками, с цветами и муравьями. Он вырос один, у него не было друзей, только с осени он пойдет учиться в деревню и тогда у него будут товарищи в школе. А теперь он жил лишь с отцом, с матерью и привык дружить со всеми маленькими людьми. Митя называл маленькими людьми всех, кто живет и водится в земле и летает над нею — червей, муравьев, мух, стрекоз, воробьев, бабочек, пауков, зеленую тлю и всяких мошек, кто движется и дышит на свете.

Отец Мити уехал на два дня в город, в лесную контору, там у него было дело и он хотел привезти доктора, чтобы доктор лечил мать Марью Васильевну от болезни.

Марья Васильевна открыла окошко, что выходило в ржаное поле, и послушала — не играет ли, не шумит ли где ее Митя. Но в поле было тихо, не слышно было ни одного голоса, лишь ветер шел один по миру и шевелил листья и колосья, дремлющие в солнечном тепле.

Марья Васильевна прилегла на лавку; ей худо стало от болезни. В чистой избе никого не было, только один подсолнечник, росший за окном, глядел на больную мать.

Марья Васильевна вскоре очнулась, но ей показалось, что уже вечер наступил на дворе и солнце заходит. Матери было томительно дышать, вся внутренность ее горела жаром, и от слабости она не могла подняться.

— Митя! — тихо позвала мать. — Митя, ты где? Дай мне кружку с водой!

Но сын ей не ответил. Его не было за окном, он играл где-то далеко с маленькими людьми, он заигрался с ними и забыл о своей матери.

— Митя! — шептала бессильная мать, лежавшая на лавке. — Митя, поди корову с поляны приведи и сена ей на ночь положи. А я встану потом, мне полегчает, я подою ее тогда… Иди ко мне, посиди-поговори со мной, а то я одна лежу…

Матери показалось, что в ржаном поле раздался голос Мити, слабый и добрый, будто нечаянно воскликнул что-то безмолвный цветок. Когда Митя был меньше, то голос его походил на голос цветов, как если бы они заговорили; так представлялось тогда его матери и так почудилось ей теперь.

— Сынок, иди домой, — просила мать. — Пора уж, вечер во дворе.

Мать прислушалась, но более не услышала сына.

— Пусть он бегает, пусть играет, раз ему там хорошо, — подумала мать. — Его дело детское… А мне пора подыматься!

Ей некогда было болеть и нельзя умирать. Кто без нее сына и мужа обошьет и обстирает, кто за коровой ухаживать будет, кто обед в избе состряпает? Она вспомнила, что ей сейчас надо картошек сварить, надо рубашки зашить, надо свинье на ночь корму намесить, надо хворосту на завтрашний день принести, — все это надо было, а то как же! А завтра надо с утра рассаду в огороде поливать — на дворе сушь стоит, — потом просо надо полоть, потом ягодник обобрать, потом в колхоз сходить, там требуют помощи на уборке сена. У матери кругом была забота, вся жизнь шла от нее.

Голос Мити послышался во дворе.

— А тебе не пора ко двору? — позвала его мать.

— Пора, мама, — ответил сын и пришел в избу.

Мать взглянула на него обрадованными глазами. Каждый раз она видела его как внове, как в первый раз, потому что любила его. Всякий раз она быстро и внимательно огля-

дывала всего сына: целы ли и не повреждены ли его руки и ноги, глаза, нос и уши; потом она брала его руки и перебирала пальцы на них: все ли пальцы здоровы и находятся ли они на своих местах.

Митя стоял перед матерью и улыбался ей. За лето волосы его выгорели и стали белыми, как у старика, а босые ноги, лицо и руки теперь были темными от солнца, от ветра, от комариных укусов и болячек, и лишь одни серые чистые глаза остались прежними, доверчиво глядящими на мать, как никто на нее не глядел и глядеть не будет. Этот жалобный и внимательный взгляд ребенка означал его постоянный страх; он словно говорил: мама, живи всегда со мной, не умирай никогда. И мать понимала этот тайный разум сына, светящийся в его глазах.

Сейчас он был рад, что мать была дома и ожидала его. Играя во дворе, в поле или в лесу, Митя боялся, что вдруг мать умрет или сгорит их изба, и он хотел побежать домой, но жук или бабочка привлекли его, он разговаривал с ними и забывал о матери и доме, а потом опять вспоминал о них и снова забывал, потому что и мать ему была нужна, и земля вокруг него была светла и полна маленьких добрых людей, бормочущих и зовущих его к себе в траву, в заросли орешника, в лесное озеро и в воздух в небе.

— Мама, дай хлебца, там мышка в поле живет, у ней тоже дети есть, я их крошками накормлю…

— Обожди, Митя, не ходи больше никуда. Отца нету, а я болею, гляди вот — помру без тебя.

— А ты не надо! — просил Митя. — Я только чуть-чуть ходить буду и приду. А ты все равно не помрешь, ты уж сколько раз собиралась. Тебе ведь не больно сейчас, не больно?

— Нет, — говорила мать, — мне не больно. Ну ступай походи, солнце еще не зашло. Выпей поди молока, дай я тебе сама налью, и хлебца возьми помягче. Дай я тебе сама отрежу его, я вчера новину пекла из просеянной муки.

— С коркой! — просил Митя. — У мышки зубы есть, она корку любит.

Поев хлеба с молоком, Митя взял с собой еще хлебную краюшку, где была корка, и ушел из избы.

* * *

А мать от слабости прилегла на лавку и задремала. Она думала, что отдохнет немного и потом встанет, пойдет за коровой на лесную поляну и до ночи управится обрядить все дела по хозяйству.

Она дремала, но спать себе не велела, чтобы не заснуть надолго. Почувствовав, что она слабеет, что долгий сон одолевает ее, Марья Васильевна хотела подняться с лавки к своим детям и заботам; но дыхание оставило ее, она протянула руки за помощью, опустилась на пол и умерла.

Митя скоро вернулся. Он пригнал корову с поляны и сказал матери в окно:

— Мама, иди Зорьку встречай, у нее вымя опять полное, она клевер ела.

Он влез в окно и увидел, что мать спит одна на полу.

— Мама! Чего ты спишь? Ночи нету, а ты спишь — ты вставай, мама! Я больше ни с кем не буду играть, я наигрался, я с тобой теперь буду...

Во дворе замычала Зорька.

— Вставай, мама, тебя Зорька зовет.

Мать молчала без дыхания, и ее вытянутые большие руки без силы лежали на полу.

— Ты умерла теперь! — увидел Митя и сказал: — Я тоже помру с тобой.

Он прилег к ней, обхватил одну ее холодную руку и приник к ней лицом.

В сумерки приехал отец и привез с собой доктора к матери. Отец осмотрелся, стал перед матерью на колени и поцеловал ее в лоб; потом он поднял сына и приютил его у себя на груди, чтобы он утешился и уснул.

* * *

Мать похоронили под старым дубом на опушке леса, и Митя стал жить без матери.

Днем отец редко бывал дома, он уезжал в лес на службу и приезжал к вечеру, а Митя жил один. Чужая старуха при-

ходила каждый день из деревни и справляла работу в хозяйстве, но ее забота была плохая, потому что семейство ей было неродное и отец платил ей за работу деньгами и хлебом.

Митя не знал, как ему жить без матери. Он с утра уходил к лесному дубу, где мать положили в землю, и был там один весь долгий день среди травы и маленьких людей.

Он подружился было с муравьем и рассказал ему, что у него умерла мать.

— Ну что ж, — сказал муравей, — она умерла, а ты живи.

— Без матери нельзя, — сказал Митя муравью.

— Можно, — ответил муравей. — Если бы ты не родился еще, тогда мать тебе нужна. А раз ты родился, мать тебе не нужна.

Митя не понял муравья.

— Ты маленький человек, — сказал он муравью, — ты в землю умеешь ходить по норкам. Ты сходи к моей матери и проведай ее, а потом мне расскажи про нее.

— Нам глубоко ходить некогда, — сказал муравей. — У нас, ты видишь, какая муравьиная куча! Нам делов много, нам некогда.

— А что ты будешь делать?

— Я тлю пойду доить, а потому груз буду в муравейник таскать — солому и лес, — нам строиться надо. Нам о тебе думать некогда.

Озабоченный муравей уполз по своим делам, а Митя подошел к белой бабочке; бабочка сидела на синем цветке, трепетала крыльями и вся дрожала, словно ей страшно было жить.

Митя спросил у бабочки: чего она боится?

— Я не боюсь, — сказала бабочка, — это я радуюсь теплому свету, я сейчас полечу.

— Ты полетишь далеко или близко?

— До вечера, а вечером я умру, вечером я старая буду.

— Мама моя тоже умерла, — сказал Митя. — Когда ты умрешь, ты увидишь ее?

— Не знаю, я не умирала, — сказала бабочка.

Митя грустно глядел на бабочку, и в глазах его были две слезы.

— Я увижу ее, — сказала бабочка. — Я скажу ей: пусть она опять живет.

— А утром ты прилети ко мне, я тут буду, и ты опять живи до вечера.

— Нет, я червяку расскажу, как была у твоей матери, а червяк приползет и тебе скажет. А сама я больше не прилечу сюда, мне жить два раза нельзя, завтра другим бабочкам надо жить, утром другие бабочки будут лететь. А я рада, что живу до вечера и вечером умру.

Добрая бабочка встрепенула крыльями, и тихий ветер понес ее вдаль над травами и цветами.

Митя глядел ей вслед, как она улетала от него. И он увидел, как из травы поднялась птица и склевала бабочку на лету. Мальчик тогда лег лицом в землю и заплакал, что добрая бабочка не дожила своей жизни до вечера.

Большой земляной червь подполз к лицу Мити и спросил его:

— Чего ты плачешь? Живи не плачь!

— Я не плачу, — ответил Митя, — ты слепой, ты ничего не видишь.

— Я не вижу, а чувствую, — произнес червяк. — Слеза твоя капнула, а я с землей ее сжевал и узнал, что в земле была слеза.

Митя сказал червю всю правду и отчего он плачет. Червь не шевелился и слушал его…

— У матери последнее дыхание вышло, и она умерла, — говорил Митя. — Я хочу ей от себя дыхание отдать, чтоб она жила, а она в земле глубоко лежит…

Червь молчал и думал.

— Я тоже дышу, — тихо произнес червь, — дыхание для твоей матери я могу от себя отдать.

— А ты отдай! — просил Митя. — Ты пройди к моей маме сквозь землю и отдай ей свое дыхание, пусть она вздохнет и будет жить. А если ты умрешь, тебя мама ко мне принесет, и я тебе отдам тогда свое дыхание, и ты опять станешь живой.

Червь задумался.

— Да я что, я червь, — сказал он, — я могу и без жизни обойтись, это вот тебе нужно обязательно быть на свете.

— А зачем же ты тогда есть? — спросил Митя.

— А затем, что муравьи мне велят почву пахать и рыхлить. Они тут новый муравейник строить будут. А я у них пахарем-крестьянином работаю, затем и живу. Некогда мне в землю глубоко ходить.

— Муравей мне тоже говорил — ему некогда, — сказал Митя. — Одна бабочка была добрая.

— Не обижайся на меня, — произнес червь. — Я обдумал. Ты разорви меня пополам.

— Не хочу. Тебе больно будет.

— Разорви меня, нас тогда двое будет. Один останется землю муравьям пахать, а другой к матери твоей пойдет. Рви меня пополам, мне не больно, я привык.

Митя взял червя в руки и разорвал его; тогда их стало двое: полчервя уползло работать землю для муравьев, а полчервя осталось. Этот полчервя попрощался с Митей и пополз в глубину земли, к матери осиротевшего мальчика. Митя теперь не знал, какой же из двоих полчервей был тот, который говорил с ним.

* * *

На другое утро Митя пришел снова на это место и нашел Полчервя. Это был тот, что остался пахать, а того, что ушел в глубокую землю, того не было. Полчервя заглатывал и пережевывал землю, так он мягчил и пахал ее. Он то показывался наружу, то уходил в темноту почвы, но все время ползал вперед и назад и трудился.

Полчервя-пахарь почувствовал, что Митя пришел и дышит возле него.

— А того нету? — спросил Митя.

— Того нету, — ответил Полчервя. — Может, сглодал его кто в земле, может, он сам уморился и помер — дорога ему дальняя.

— А он добрый?

— Не знаю, — сказал Полчервя, — он как я.

Митя загоревал: он думал, что ему теперь и кого нужно послать на помощь матери.

Тогда Полчервя сказал ему:

— Разорви меня еще пополам — пусть нас будет две четверти: одна Четверть пахать останется, а другая Четверть понесет дыхание жизни твоей матери.

Митя обрадовался и сразу разорвал Полчервя еще пополам. Одна Чертвертьчервя поползла в глубь земли, а другая Четвертьчервя осталась пахать землю муравьям.

Митя ушел к корове Зорьке на лесную поляну; он пас ее до самого вечера и перегонял, когда нужно, с одного места на другое, чтобы она ела ту траву, которая слаще и питательней, а не глодала сухие былинки. Он часто подходил к Зорьке, гладил и ласкал ее, так же как ласкала ее прежде мать, и ему было хорошо, словно он чувствовал на шерсти Зорьки живые нежные следы рук своей умершей матери. Зорька, обернувшись, смотрела на него одним большим печальным глазом, как будто хотела сказать что-то или спросить: а где моя хозяйка, где твоя мама?

Вернувшись вечером домой, Митя лег спать, чтобы скорее прошла ночь, а утром пошел к Четвертьчервю. Один Четвертьчервя пахал муравьиную землю, а другой Четвертьчервя не вернулся обратно.

Теперь Четвертьчервя стал совсем кроткий, ему трудно было пахать землю и у него выходило мало работы. За это два муравья ругали Четвертьчервя и обещали сглодать его живым, если он не сможет работать больше. Четвертьчервя старался трудиться лучше и больше, но силы в нем теперь мало было и тело стало короткое.

Когда муравьи ушли, Митя прилег к труженику-червю и подышал на него, чтобы Четвертьчервя узнал его. Четвертьчервя остановился ползти и попросил Митю, чтобы он отер листиком травы пот с его спины. Митя отер Четвертьчервя; пахарь отдохнул и сказал Мите, что нужно делать:

— Разорви меня еще пополам, мы и по одной осьмушке проживем.

Митя сделал, как велел Четвертьчервя; теперь их стало две осьмушки, два маленьких червя, но оба они были живые и добрые.

Одна Осьмушка пошла в землю к матери Мити, а другая Осьмушка осталась пахать землю. Трудно было малой Ось-

мушке работать, и еще она боялась муравьев, но она была терпелива и усердна в земляной работе, а Митя находился около Осьмушки и время от времени отирал с нее пот травяным листом.

В полдень Митя пошел навестить Зорьку на лесной поляне.

Погладив Зорьку, он повел ее к лесной речке на водопой и там уснул в прохладной тени ивы, росшей на берегу.

Под вечер Митя проснулся: он вспомнил про Осьмушку и побежал проведать ее, как она там, маленькая и слабая, работает одна и не сглодали ли ее муравьи за то, что она мало вспахала земли.

Митя увидел Осьмушку. Она лежала около зеленой былинки, не работала и не двигалась. Митя взял Осьмушку в руку, позвал ее, заговорил с нею, подышал на нее и потрогал ее губами. Осьмушка молчала, она была холодная и уже затвердела; там, где Митя оторвал ее утром от Четвертьчервя, вышла капелька крови и кровь теперь засохла: Осьмушка умерла. Она истомилась в работе, она не могла жить в маленьком ослабевшем остатке своего тела, и Осьмушка умерла.

Митя унес Осьмушку в хлебное поле, чтобы ее не нашли лесные муравьи, и там закопал ее.

Теперь он стоял один над землей, где лежала мертвая Осьмушка. Ему жалко было ее, и он не знал, есть еще кто-нибудь, кто был такой же добрый, как Осьмушка.

РАЗНОЦВЕТНАЯ БАБОЧКА

Легенда

1

На берегу Черного моря, там, где Кавказские горы подымаются от берега к небу, жила в каменной хижине одна старушка, по имени Анисья. Хижина стояла среди цветочного поля, на котором росли розы. В старину здесь тоже было цветочное поле, и тогда Анисья работала в цветоводстве,

а теперь она уже давно не работает, а живет на пенсии и ест хлеб, который ей привозят из колхоза, как старому почтенному человеку. Невдалеке от цветочного поля находился пчельник, и там также издавна жил пчеловод дедушка Ульян. Однако дедушка Ульян говорил, что когда он еще молод был и приехал на кавказскую сторону, то Анисья уже была старой бабушкой и никто тогда не знал, сколько Анисье лет и с каких пор она живет на свете. Сама Анисья тоже не могла этого сказать, потому что забыла. Помнила она только, что в ее время горы были молодые и не покрыты лесом. Так она сказала когда-то одному путешественнику, а тот напечатал ее слова в своей книге. Но и путешественник тот давно умер, а книгу его все забыли.

Дедушка Ульян приходил раз в год в гости к Анисье; он приносил ей меду, чинил ей обувь, осматривал, не худым ли стало ведро, и перекладывал черепицу на крыше хижины, чтобы внутрь жилища не проникал дождь.

Потом они садились на камень у входа в жилище и беседовали по душам. Старый Ульян знал, что едва ли он придет в гости к Анисье на следующий год: он уже был очень стар и знал, что ему наступала пора помирать.

В последний раз, как виделся Ульян с Анисьей, он рассмотрел, что железная дужка очков, которые носила Анисья, стала тонкой, слабее нитки, и вот-вот сломится, — дужка истерлась от времени о переносицу Анисьи. Тогда Ульян укрепил дужку проволокой, чтоб очки еще служили и через них можно было смотреть на все, что есть на свете.

— А что, бабушка Анисья, нам с тобой срок жизни весь вышел, — сказал Ульян.

— Ан нету, у меня срок не вышел, — отозвалась Анисья, — у меня тут дело есть, я сына ожидаю. Покуда он не вернется, я жить должна.

— Ну живи, — согласился Ульян. — А мне пора.

— Раз пора, так чего даром-то живешь! — произнесла Анисья. — Я тут по делу, а ты чего?

— А может, и ты напрасно сына ожидаешь, — сказал Ульян. — Ведь когда он у тебя был-то и куда ушел! Никто и не помнит его. Должно, и кости его в пропасти сотлели, и ветер давно унес его прах. Где теперь ты сыщешь своего сына?

Ветхая Анисья здесь осерчала и велела Ульяну уйти от нее.

— Мой сын далеко, а сердце мое чувствует его и умереть не может, пока он жив. Он сам вернется ко мне, и я дождусь его. А ты иди домой, ты по-пустому живешь.

Ульян ушел и вскоре умер от старости лет, а Анисья осталась жить и ожидать своего сына.

2

Сын ее Тимоша убежал из дома, когда был еще маленьким, а Анисья была молодой, и с тех пор Тимоша не вернулся к матери. Он каждое утро убегал из дома в горы, чтобы играть там, разговаривать с камнями гор, отзывающихся на его голос, и ловить разноцветных бабочек.

К полудню Анисья выходила на тропинку, идущую в горы, и звала своего сына:

— Тимоша, Тимоша!.. Ты опять заигрался и забегался, и ты забыл про меня.

И сын отзывался ей издали:

— Сейчас, мама, я только бабочку одну поймаю.

Он ловил бабочку и возвращался к матери. Дома он показывал бабочку и горевал, что она больше не летает, а только ходит тихо понемногу.

— Мама, чего она не летит? — спрашивал Тимоша, перебирая крылышки у бабочки. — Пусть она лучше летает. Она умрет теперь?

— Не умрет и жить не будет, — говорила мать. — Ей надо летать, чтобы жить, а ты ее поймал и взял в руки, крылышки ей обтер, и она стала больная... Ты не лови их!

— А мне надо, — сказал сын Тимоша. — Я хотел поглядеть, отчего она такая.

— Какая она тебе! — говорила мать. — Бабочка и бабочка, их много.

— А эта такая, лучше всех.

— А есть небось и еще лучше, еще нарядней, чем эта.

— А я их, как увижу, догоню и поймаю, — пообещал сын Тимоша.

Каждый день Тимоша бегал в гору по старой тропинке. Мать Анисья знала, что та тропинка через малую гору идет на большую, а с большой на высокую, где всегда на вечер собираются облака, а с той высокой горы — на самую лютую, самую страшную вершину всех гор, и там тропинка выходит к небу. Анисья слыхала, когда приехала жить с мужем на Кавказ, что тропинку проложил неизвестный человек, который ушел по ней на небо через самую высокую гору, — ушел и более не вернулся; он был бездетный, никого не любил на свете, земля ему была не мила, и все его забыли; осталась от него лишь тропинка, след его бегущих ног, и по тропинке той мало кто ходил после него. Только Тимоша бегал по этой тропинке за бабочками.

Внизу около моря, на теплой земле, бабочек было много. Но они все были похожие, белые и желтые, одного бедного цвета, и Тимоша привык к ним и не ловил их. А в горах летали разноцветные большие бабочки; там было прохладней, бабочки летали редко, зато они были разные, неизвестные, и напоминали мальчику цветы, которые ветер сорвал с земли и уносит с собой в свой далекий дом. И Тимоша гнался по тропинке за бабочкой, гонимой ветром к небу, пока не ухватывал ее рукою. Затем он рассматривал бабочку — какая она есть — и видел, что она увядает в его руках и в разноцветных крыльях ее темнеет свет. Он клал ее на землю, чтобы она ожила и улетела. Но бабочка ползла по земле, шевелила крыльями, а лететь более не могла. Тимоша ложился животом на землю и близко рассматривал бабочку. Он не понимал, почему бабочка теперь не летает, ведь он только поймал ее и потрогал, потому что ему надо было увидеть, почему бабочка такая.

— Лети, я больше тебя трогать не буду, — говорил Тимоша бабочке.

Бабочка не улетала и молчала.

— Давай поговорим! — сказал Тимоша, разглядев у бабочки лицо.

Бабочка вползла на маленький камешек, а ветер дунул, камешек шевельнулся и свалился в пропасть вместе с бабочкой. Тогда Тимоша поймал другую бабочку; он подержал ее и отпустил, но бабочка тоже не могла летать и по-

ползла, как червяк. К бабочке подлетел воробей и склевал ее. Тимоша увидел, что делает воробей, и рассерчал на него; он схватил камень, погнался за воробьем и бросил в него камень. Камень попал в голову воробья, воробей упал на тропинку и перестал дышать, а во рту его осталась раздавленная клювом, непроглоченная бабочка, тоже мертвая теперь.

Тимоша поднял воробья и положил его к себе за пазуху рубашки.

— Я нечаянно, — сказал он. — Зачем вы все от меня умираете?

Он пошел домой; наставало вечернее время, и цветы уже дремали в сумерках на склоне горы. Возле тропинки росла одинокая былинка, ее головка выглядывала из-под обрыва на того, кто шел по земле, и на лице ее блестел маленький чистый свет. Тимоша увидел, что это села капля росы на былинку, чтобы она испила ее, потому что сама былинка ходить пить не умеет.

«Это добрая капля!» — подумал Тимоша.

Здесь разноцветная большая бабочка села на эту былинку и затрепетала крыльями. Тимоша испугался: он никогда еще не видел такой бабочки. Она была велика, словно птичка, и крылья ее были в цветах, каких Тимоша не видел нигде на земле и не видел на небе, когда горит утренняя и вечерняя заря. С крыльев бабочки светились разноцветные огни, а от дрожания ее крыльев мальчику казалось, что свет отходит от нее отдельно и звучит, как зовущий его тихий голос. Тимошу влекла к себе эта трепещущая бабочка, и он захотел схватить ее, чтобы она была с ним и чтобы лучше рассмотреть ее крылья, на которых нарисовано было, чего нет на свете. Эта бабочка совсем не похожа была на ту бедную бабочку, которую вместе с камешком сдунул ветер, и на ту, которую склевал воробей.

Тимоша протянул руку за сияющей, дрожащей бабочкой, но она перелетела на большой камень и села на него. Тогда Тимоша сказал ей издали:

— Давай поговорим!

Бабочка не говорила и не смотрела на Тимошу; она только боялась его. Должно быть, она была недобрая, но она

была так хороша, что ей не надо было ни с кем говорить и не надо быть доброй.

Бабочка поднялась с камня и полетела над тропинкой в гору. Тимоша побежал за ней, чтобы еще раз поглядеть на нее, потому что он не нагляделся.

Он бежал за бабочкой по тропинке в горах, а ночь уже потемнела над ним. Он не сводил глаз с бабочки, летящей перед ним, и лишь по памяти не сбивался с тропинки и не упал в пропасть. Мертвый воробей колотился у Тимоши за пазухой; он его вынул и бросил, не жалея его.

Бабочка летела вольно, как хотела; она летела вперед, назад, в одну сторону и сразу в другую, как будто ее сдувал невидимый ветер, а Тимоша, задыхаясь, бежал за нею следом; ему надо было помнить тропинку, ему нельзя было оступиться, и он боялся, что бабочка улетит от него в пропасть или высоко на небо, а он останется один без нее.

И вдруг он услышал голос матери, который произнес в его сердце:

— Ты опять заигрался, ты опять забегался, и ты забыл про меня!

— Сейчас, мама, — вслух ответил Тимоша. — Я одну только бабочку поймаю, самую хорошую, последнюю.

— Ты заблудишься, — услышал он материнский голос. — Скоро ночь — и бабочка улетит от тебя во тьму.

— А я тогда звезду поймаю с неба! — скоро сказал Тимоша. — Они близко летают ночью!

Бабочка пролетела мимо самого лица Тимоши; он почувствовал теплое дуновение ее крыльев, а потом бабочки не стало нигде. Он искал ее глазами в воздухе и около земли, он побежал назад и вернулся обратно, но бабочки не отыскал.

Наступила ночь. Тимоша бежал по тропинке в гору, куда улетела бабочка. Ему казалось, что бабочка светится крыльями невдалеке от него, и он протягивал руки за нею. Он миновал уже малые и большие горы и подымался на самую страшную, голую вершину всех гор, где тропинка выходит к небу.

Тимоша добежал до конца тропинки и оттуда сразу увидел все небо, а близко от него сияла большая, добрая жмурящаяся звезда. Тимоша увидел здесь, что бабочки нету нигде.

«А я звезду схвачу! — подумал Тимоша. — Звезда еще лучше, а бабочки мне теперь не надо».

Он забыл о земле, потянулся руками к небу со звездами и ступил ногами в пропасть. Сначала он падал без дыхания, потом он коснулся шелестящих листьев кустарника, росшего по скату горы, ветви удержали Тимошу, и он не разбился о камни внизу.

Наутро Тимоша огляделся, где он есть. Кустарник рос по отвесу горы и выходил к берегу маленького ручья. Ручей тот начинался родником у подножия горы, потом протекал недолго внизу по земле и впадал в небольшое озеро, а из озера вода подымалась туманным душным паром, потому что и утром было жарко в этом месте. Кругом стояли голые стены гор, уходящих до высокого неба, по которым никому нельзя взойти, а можно только взлететь по воздуху, как бабочка.

Горы огораживали дно пропасти, где очутился маленький Тимоша. Он весь день ходил по дну этой пропасти, и везде вокруг была одна каменная стена гор, по которым нельзя подняться и уйти отсюда. Здесь было жарко и томительно; Тимоша вспомнил теперь, что дома у матери было прохладней.

По берегу ручья в траве и кустарнике жужжали и жили стрекозы, и всюду летали такие же светящиеся, разноцветные бабочки, какую видел вчера Тимоша одну и которую он хотел поймать и разглядеть. Здесь эти бабочки трепетали над жаркой землей, и слышен был шум их крыльев, но Тимоша не хотел их ловить, и скучно ему было смотреть на них.

— Мама! — позвал он в каменной тишине и заплакал от разлуки с матерью.

Он сел под каменной стеною горы и стал царапать ее ногтями. Он хотел протереть камень и сквозь гору уйти к матери.

3

С тех пор, как мальчик Тимоша очутился на дне каменной пропасти, прошло много лет. Тимоша вырос большим

и перестал быть маленьким. Он научился, как надо долбить и крошить каменную гору. Для этого он нашел куски самого крепкого камня, упавшего когда-то с вершины горы, и наточил их о другие такие же крепкие камни, чтобы они были острыми. Этими камнями он бил гору и крошил ее, но гора была велика и камень ее тоже крепок.

И Тимоша работал целые годы, а выдолбил в кремнистой горе лишь неглубокую пещеру, и ему было еще далеко идти сквозь камень домой. Оглядываясь от работы назад, Тимоша видел дно пропасти, куда он упал в детстве, и видел тех же разноцветных бабочек, которые летали целым облаком в жарком воздухе.

Ни разу с самого детства Тимоша не поймал более ни одной той бабочки, и когда бабочка нечаянно садилась на него, он снимал ее и бросал прочь.

Все реже и реже он слышал голос матери, звучавший в его сердце:

— Тимоша, ты забыл меня! Зачем ты ушел и не вернулся?..

Тимоша плакал в ответ на тихий голос матери, слышный только ему одному, и еще усерднее долбил и крошил каменную гору.

Просыпаясь в каменной пещере, Тимоша иногда забывал, где он живет, он не помнил, что уже прошли долгие годы его жизни; он думал, что он еще маленький, как прежде, что он живет с матерью на берегу моря, и он улыбался, снова счастливый, и хотел идти ловить бабочек. Но потом он видел, что возле него камень и он один. Он протягивал руки в сторону своего дома и звал мать.

А мать не слышала, что сын зовет ее, что он точит гору и каждый год немного приближается к ней. Она смотрела в звездное небо, и ей казалось, что маленький сын ее бежит среди звезд. Одна звезда летит впереди него, он протянул к ней руку и хочет поймать ее, а звезда улетает от него все дальше, в самую глубину черного неба.

Мать считала время. Она знала, что если бы Тимоша бежал только по земле, он бы уже давно обежал всю землю кругом и вернулся домой. Но сына не было, а времени прошло много. Значит, Тимоша ушел дальше земли, он

ушел туда, где летят звезды, и он вернется, когда обойдет весь круг неба. Она выходила ночью, садилась на камень около хижины и глядела в небо, и ей часто чудилось, что она видит своего сына бегущим в Млечном Пути; она не знала, что такое Млечный Путь, он казался ей похожим на предрассветный туман, на первый луч того большого солнца, которое еще никогда не всходило, но однажды взойдет, и наше солнце тогда станет черным и маленьким, а землю осветит вечный день.

Мать тихо говорила:

— Вернись, Тимоша, домой, уже пора... Зачем тебе бабочки, зачем тебе горы и небо? Пусть будут и бабочки, и горы, и звезды, и ты будешь со мною! А то ты ловишь бабочек, а они умирают от тебя, ты поймаешь звезду, а она потемнеет. Не надо, пусть всё будет, тогда и ты будешь!..

А сын ее в то время по песчинке разрушал гору, и сердце его томилось по матери.

Но гора была велика, жизнь проходила, и Тимоша, ушедший из дома в детстве, стал стариком.

4

Он работал по-прежнему, чтобы пробиться сквозь гору; однако от старости и долгого времени разлуки Тимоша все реже и реже слышал зовущий его голос матери и сам стал уже забывать, кто он такой и куда идет через камень. Но он привык работать и каждый день понемногу шел домой, может быть, всего на шаг муравья.

И вот однажды наступил его срок. Он услышал изнутри каменной горы, как загремело ведро, опускаемое за водою в горное озеро. Тимоша по звуку узнал, что это было их ведро, ведро его матери, и закричал, чтоб его услышали. И правда, это была мать Тимоши, пришедшая за водой; она брала теперь всего четверть ведра, потому что больше не могла унести.

Мать услышала, что кто-то кричит из горы, но не узнала голоса своего сына.

— Ты кто там? — спросила она.

Тимоша узнал голос матери и ответил:

— Мама, я забыл, кто я.

Мать опустилась на каменную землю и прильнула к ней лицом.

Сын обрушил последние камни в горе и вышел на свет к матери. Но он не увидел ее, потому что ослеп внутри каменной горы. Старая Анисья поднялась к сыну и увидела перед собой старика. Она обняла его и сказала:

— Родила я тебя, а ты ушел. Не вырастила я тебя, не попитала и поласкать не успела...

Тимоша припал к маленькой, слабой матери и услышал, как бьется ее сердце, любящее его.

— Мама, я теперь всегда с тобой буду!

— Да ведь старая я стала, полтора века прожила, чтоб тебя дождаться, и ты уж старый. Умру я скоро и не налюбуюсь тобой.

— А я опять маленький стану! — сказал Тимоша.

Мать прижала его к своей груди; она хотела, чтобы все дыхание ее жизни перешло к сыну и чтобы любовь ее стала его силой и жизнью.

И она почувствовала, что Тимоша ее стал легким. Она увидела, что держит его на руках, и он был теперь опять маленьким, каким был тогда, когда убежал за разноцветной бабочкой. Жизнь с ее любовью перешла к сыну, и он вновь стал ребенком.

Старая мать вздохнула последним счастливым дыханием, оставила сына и умерла.

А маленький Тимоша остался жить один на земле, не помня ничего, что было. Разноцветная бабочка пролетела над его головой, и он посмотрел на нее.

— Это не та бабочка! — подумал Тимоша. — Это другая, и я ее поймаю. Эта лучше!

СУХОЙ ХЛЕБ

1

Жил в деревне Рогачевке мальчик Митя Климов семи лет от роду. Отца у него не было, отец его умер на войне от болезни, теперь у него осталась одна мать. Был у Мити Климова еще дедушка, да он умер от старости еще до войны, и лица его Митя не помнил; помнил он только доброе тепло у груди деда, что согревало и радовало Митю, помнил грустный, глухой голос, звавший его. А теперь не стало того тепла и голос тот умолк. «Куда ушел дедушка?» — думал Митя. Смерти он не понимал, потому что он нигде не видел ее. Он думал, что и бревна в их избе, и камень у порога тоже живые, как люди, как лошади и коровы, только они спят.

— А где дедушка? — спрашивал Митя у матери. — Он спит в земле?

— Он спит, — говорила мать.

— Он уморился? — спрашивал Митя.

— Уморился, — отвечала мать. — Он всю жизнь землю пахал, а зимой плотничал, зимой он сани делал в кооперацию и лапти плел; всю жизнь ему спать было некогда.

— Мама, разбуди его! — просил Митя.

— Нельзя. Он осерчает.

— А папа тоже спит?

— И папа спит.

— У них ночь?

— У них ночь, сынок.

— Мама, а ты никогда не уморишься? — спрашивал Митя и с боязнью смотрел в материнское лицо.

— Нету, чего мне, сынок, я никогда не уморюсь! Я здоровая, я не старая... Я тебя еще долго буду растить, а то ты у меня маленький.

А Митя боялся, что мама его уморится, устанет работать и тоже уснет, как уснули дед и отец.

Мать теперь целый день ходила по полю за плугом. Два вола волокли плуг, а мать держала ручки плуга и кричала на волов, чтоб они шли, а не останавливались и не дремали.

Мать была большая, сильная, под ее руками лемех плуга выворачивал землю. Митя ходил следом за плугом и тоже покрикивал на волов, чтобы не скучать без матери.

В тот год лето было сухое. Горячий ветер дул в полях с утра до вечера, и в этом ветре летели языки черного пламени, будто ветер сдувал огонь с солнца и нес его по земле. В полдень все небо застилала мгла; огненный зной палил землю и обращал ее в мертвый прах, а ветер подымал в вышину тот прах, и он застил солнце. На солнце можно было тогда смотреть глазами, как на луну, плывущую в тумане.

Мать Мити пахала паровое поле. Митя ходил за матерью и время от времени носил воду из колодца на пашню, чтобы мать не мучилась от жажды. Он приносил каждый раз половину ведра; мать сливала воду в бадью, что стояла на пашне, и, когда набиралась полная бадья, она поила волов, чтоб они не затомились и пахали. Митя видел, как тяжко было матери, как она упиралась в плуг впереди себя, когда слабели волы. И Митя захотел скорее стать большим и сильным, чтобы пахать землю вместо матери, а мать пусть отдыхает в избе.

Подумав так, Митя пошел домой. Мать ночью испекла хлебы и оставила их на лавке, покрыв от мух чистым рушником. Митя отрезал половину ковриги и начал есть. Есть ему не хотелось, да нужно было: он хотел скорее вырасти большим, скорее войти в силу и пахать землю. Митя думал, что от хлеба он скорее вырастет, только надо съесть его много. И он ел хлебную мякоть и хлебную корку; сперва он ел в охоту, потом ему есть расхотелось, а потом уже и сам хлеб не хотел входить в него; тогда Митя насильно подталкивал хлеб пальцами и терпеливо жевал его. Вскоре у него рот уморился жевать, челюсти в щеках заболели от работы, и Митя захотел спать. Но спать ему не надо было. Ему надо есть много и расти большим. Он выпил кружку воды, съел еще капустную кочерыжку и опять стал есть хлеб. Доевши половину ковриги, Митя снова попил воды и стал есть печеную картошку из горшка, макая ее в соль. Картошку он съел только одну, а вторую взял в руку, макнул в соль и заснул.

Вечером мать пришла с пахоты. Видит она, спит ее сын на лавке, голову положил на ковригу свежего хлеба и храпит, как большой мужик. Мать раздела Митю, осмотрела его — не искусал ли его кто, глядит — живот у него, как барабан.

Всю ночь Митя храпел, брыкался ногами и бормотал во сне. А наутро проснулся, жил весь день не евши, ничего ему не хотелось, одну только воду пил.

С утра Митя, ходил по деревне, потом пошел на пашню к матери и все время поглядывал на встречных и прохожих людей: не замечают ли они, что он вырос. Никто не смотрел на Митю с удивлением и не говорил ему ничего. Тогда он посмотрел на свою тень — не длиннее ли она стала. Тень его словно бы стала больше, чем вчера, однако немного, на самую малость.

— Мама, — сказал Митя, — давай я пахать буду, мне пора!

Мать ответила ему:

— Обожди! Придет и твоя пора пахать! А сейчас твоя пора не пришла, ты малолетний, ты маломощный еще, тебе расти и кормиться еще надо, и я тебя буду кормить!

Митя осерчал на мать и на всех людей, что он меньше их.

— Не хочу я кормиться, я тебя кормить хочу!

Мать улыбнулась ему, и от нее, от матери, все стало вдруг добрым вокруг: сопящие потные волы, серая земля, былинка, дрожащая на жарком ветру, и незнакомый старик, бредущий по меже. Огляделся Митя, и ему показалось, что отовсюду на него смотрят добрые, любящие его глаза, и вздрогнуло его сердце от радости.

— Мама! — воскликнул Митя. — А что мне надо делать? А то я тебя люблю!

— А чего тебе делать! — сказала мать. — Расти большой, вот тебе работа. Гляди-ко, кругом тебя сколько людей — кто пашет, кто в кузнице, кто на мельнице, кто скот пасет — и все тебе родня, каждый о тебе заботится. Расти да думай обо всех, и о нас думай — думай о дедушке, думай об отце и обо мне думай.

— А обо мне ты тоже думаешь?

— О тебе я тоже думаю — один ты у меня, — ответила мать. — Эй, лешие! Чего стали? — сказала она волам. — А ну, вперед! Не евши, что ль, жить будем?

2

В родительском дворе, где жил Митя Климов, был старый сарай. Сарай был покрыт досками, и доски стали старые от времени, по ним уж давно рос зеленый мох. А сам сарай ушел с одной стороны наполовину в землю и походил на согнувшегося старика. В темном углу того сарая лежали старые, давние вещи. Туда и отец складывал, что ему нужно было, там и дед хранил, что ему одному было дорого и никому уже не требовалось. Митя любил ходить в тот темный угол сарая-старика и трогать там ненужные вещи. Он брал топор, весь иззубренный, ржавый и негодный, глядел на него и думал: «Его дедушка в руках держал, и я держу». Он увидел там деревянную снасть, похожую на корягу, и не знал, что это такие. Мать тогда сказала Мите: это была соха, ею дедушка пахал землю, Митя нашел там еще колесо от домашней прялки и картинку, на которой нарисован старик, глядящий из облака на землю. Там же валялся кочедык; он был нужен дедушке, когда он плел лапти себе и своим детям. Там еще много было добра, и Митя трогал руками забытые предметы, спящие теперь в сумраке сарая; мальчик думал о них, он думал о том, как они жили давно, в старинное время; тогда еще Мити не было на свете, и всем скучно было, что его нету.

Нынче Митя нашел в сарае твердую дубовую палку; на одном конце ее был корень, согнутый книзу и острый, а другой конец был гладкий. Митя не знал, что это было. Может, дедушка рыхлил землю, как тяпкой, этим острым дубовым корнем или еще что-нибудь работал. Мать говорила, он всегда работал и ничего не боялся. Митя взял эту дедушкину дубовую тяпку и отнес ее в избу. Может быть, она ему годится: дедушка ею работал, и он будет.

3

К самому пряслу Климова двора подходило колхозное хлебное поле. На поле была посеяна рожь рядами. Каждый день Митя ходил к матери через это хлебное поле и видел,

как рожь морилась жарою и умирала; малые былинки ржи лишь изредка стояли живыми, а многие уже поникли замертво к земле, откуда вышли на свет. Митя пробовал подымать иссохшие хлебные былинки, чтоб они жили опять, но они жить не могли и клонились как сонные на спекшуюся горячую землю.

— Мама, — говорил он, — рожь от жары умаривается?

— Умаривается, сынок. Дождей-то ведь не было и теперь нету, а хлеб не железный, он живой.

— А роса есть! — сказал Митя. — Она по утрам бывает.

— А чего роса! — ответила мать. — Роса сохнет скоро; земля вся поверху спеклась, роса вглубь не проходит.

— Мама, а как же быть-то без хлеба?

— Незнамо как и быть... Должно, помощь тогда будет, мы в государстве живем.

— А лучше пусть в колхозе хлеб растет, пусть роса в землю проходит.

— Так бы оно лучше было, — согласно сказала мать, — да хлеб без дождя не рожается.

— Он не вырастает большой, он спит маленький! — произнес Митя; он скучал о тех, кто спит.

Он пошел один домой, а мать осталась на пашне. Дома Митя взял дедушкину деревянную тяпку, погладил ее рукою — дедушка тоже, должно быть, гладил ее, — положил тяпку на плечо и пошел на колхозное озимое поле, что было за пряслом.

Там он стал рыхлить тяпкой спекшуюся землю промеж рядов уснувших ржаных былинок. Митя понимал, что хлебу вольнее будет дышать, когда земля станет рыхлой. А еще ему хотелось, чтобы ночная и утренняя роса прошла сверху между комочками земли в самую глубину, до каждого корня ржаного колоска. Тогда роса смочит там почву, корни станут кормиться из земли, а хлебная былинка проснется и будет жить.

Митя ударил нечаянно тяпкой возле самого хлебного стебелька, и стебелек тот сломался и поник.

— Нельзя! — вскричал Митя самому себе. — Ты что делаешь!

Он оправил стебелек, уставил его в земле и стал теперь мотыжить землю лишь посредине междурядья, чтобы не по-

ранить хлебных корней. Потом он положил тяпку и начал руками копать и рыхлить землю у самых корней хлеба. Корни были осохшие, слабые, мать говорила про них, что они малодушные, и Митя осторожно ощупывал пальцами и разрыхлял почву вокруг каждого ржаного корешка, чтобы не сделать ему больно и чтобы роса напоила его.

Митя долго работал и ничего не видел, кроме земли у ослабевших, у дремлющих былинок.

Он опомнился, когда его окликнули. Митя увидел учительницу. Он не ходил в школу, мать сказала ему, что осенью отдаст его в школу, но Митя знал учительницу. Она была на войне, и у нее осталась целой одна правая рука; однако учительница Елена Петровна не говорила, что она однорукая; она всегда была веселая, она знала всех детей на деревне и ко всем была добрая. Митя помнил, как мать водила его зимой в школу, она хотела узнать — не пора ли Мите уже палочки грифелем писать, — мать спросила тогда учительницу: «А тебе ничего, Елена Петровна, тебе не больно с одною рукой-то жить?» — «С одной мне легче, — сказала учительница и сама улыбнулась. — Сила дана мне была на две руки, а теперь она одной досталась, да с одной рукой и заботы меньше!»

— Митя! Ты что тут копаешь? — спросила учительница.

— Хлеб пусть растет! — сказал Митя. — Я хлебу помогаю, чтоб он жил.

— Как же ты помогаешь? А ну расскажи мне, Митя! Расскажи скорей, ведь сушь стоит!

— Он росу будет пить!

Учительница подошла к Мите и посмотрела на его работу.

— Тебе бы играть надо, тебе не скучно работать одному?

— Не скучно, — сказал Митя.

— А отчего тебе не скучно?.. Приходи завтра ко мне в школу, мы оттуда в лес на экскурсию с ребятами пойдем, и ты пойдешь...

Митя не знал, что сказать, потом он вспомнил:

— Я маму все время люблю, мне работать не скучно. Хлеб помирает, нам некогда.

Учительница Елена Петровна наклонилась к Мите, обняла его одной рукой и прижала к себе:

— Ах ты, милый мой! Какое сердце у тебя — маленькое, а большое!.. Знаешь что? Ты тяпкой будешь мотыжить, а я пальцами у корней буду копать, а то у меня рука-то всего одна!

И Митя стал мотыжить землю дедушкиной тяпкой, а учительница, присев на корточки, начала копать почву пальцами у самых хлебных корней.

На другой день учительница пришла на колхозное поле не одна; с нею пришло семеро детей, учеников первого и второго классов. Митя один уже работал деревянной тяпкой. Он вышел нынче спозаранку и осмотрел все хлебные былинки, возле которых он вчера разрыхлил землю.

Солнце поднялось, роса уже сошла и ветер с огнем дул по земле. Однако те ржаные колоски, что возделал Митя, нынче словно бы повеселели.

— Они просыпаются! — обрадованно сказал Митя учительнице. — Они проснутся!

— Конечно, проснутся, — согласилась учительница. — Мы их разбудим!

Она увела учеников с собою, и Митя остался один.

«Мама пашет, и я хлебу расти помогаю, — думал Митя. — У учительницы одна рука только, а то бы она тоже работала».

Учительница Елена Петровна взяла в колхозе маленькие узкие тяпки и вернулась со всеми мальчиками и девочками обратно. Она показала детям, как работает Митя, как надо делать, чтобы рос сухой хлеб, — она сама стала работать одною рукой, и все дети склонились к ржаным былинкам, чтобы помочь им жить, кормиться и расти.

ПУК-ПУК

Тиме-Тимофею от роду три года, четвертый. Говорит он еще плохо, только учится словам, а думает, что хорошо. Ходит он еще нетвердо, иногда и падает, а думает, что хорошо. Знает он еще не всякую вещь, как она называется и для чего нужна, а думает, что знает всё. Все знают про Тиму, что он еще маленький, а он один знает, что он уже вырос.

Мать думает про Тиму, что он упрямый мальчик, а Тима думает, что это мама у него упрямая, потому что она не слушается его.

Каждое утро, как только Тима просыпался, он что-нибудь придумывал. Мать уже знала: сын ее обязательно придумает что-нибудь. То он попросит ракету от салюта, которой нет в доме, а если и была бы, то ее нельзя давать в руки ребенку; то захочет допить отцово вино, и, не получив еще вина, он уже крякал, как отец; то потребует, чтоб на дворе было лето — так лучше будет, а то сейчас осень — так хуже; или не захочет вовсе одеваться, потому что и червяк в земле и рыбка в аквариуме тоже не одеваются, а голыми живут, он видел; то попросит, чтобы мама его кормила, как воробьиха кормит воробушка — в рот ему клала, он это видел на картинке; то протянет руку к матери и требует: дай-дай-дай-дай! — а чего ему дай, не знает, не выдумал еще.

— Ах, — говорила ему мать, — Тима, ты маленький еще, а такой выдумщик. Мне с тобой хоть и хорошо, а так трудно, если бы ты знал. А все равно — ты вырастешь хорошим, правда? Будешь ведь хорошим, ну скажи мне?

— Буду! — сказал Тима.

— А может, нет?

— Нет! — сказал Тима.

— По-моему, — вслух подумала мать, — ты так мал, что ты еще ни хороший, ни плохой, ты никакой!

— Никакой! — произнес Тима.

— Но ты прелестный! — сказала мать.

— Дай соль! — попросил Тима.

— Зачем тебе соль, какую соль?

— Из рыбки.

Мать догадалась: вчера они ели перед обедом селедку и говорили с отцом, что в селедке слишком много соли; теперь Тима требовал, чтоб ему достали соль из селедки.

Мать улыбнулась сыну:

— А соль из рыбки достать нельзя! Ты знаешь?

— Нельзя! — сказал сын.

— Значит, и не надо. Давай забудем про соль!

— Дай соль!

— Да ведь и селедки нет, мы ее съели!

— Дай соль!

— Рыбку папа съел, а папа сейчас на работе. Как же я из папы рыбку достану, а из рыбки соль? Ты подумай!

— Дай соль! Из рыбки! Из папы!

Вечером мать пожаловалась отцу, что сын их слишком упрямый, он все время просил соли из селедки.

— В капитализм его надо отправить! — сказал отец. — Там бы ребенок селедки попросил, а не соли.

— Тима, — спросила мать, — хочешь в капитализм поехать, где фашисты?

— Дай соль, — сказал Тима.

— Ешь икру, Тимофей! — сказал отец. — Она тоже соленая, в ней соль есть. Попробуй!

И он намазал на ломтик хлеба красной икры и положил хлеб перед сыном.

— Дай соль! Из рыбки! — тихо произнес Тима и отодвинул хлеб с красной икрой.

— Эх, — вздохнул отец, — за такое дело меня при капитализме отец ремнем бы выдрал, а дедушка добавил бы.

— Он хрыч? — спросил Тима.

— Дедушка-то? Он мучеником был, — ответил отец. — Какой же он хрыч?

— А соль ел? — спросил Тима. — Дай соль из рыбки!

Отец и мать посмотрели друг на друга, они хотели рассердиться, а сами засмеялись.

На другое утро Тима как проснулся, так попросил у матери:

— Дай пук-пук!

Мать не поняла:

— Какой тебе пук-пук?

— Пук-пук!

— Ну какой он, пук-пук, — большой он или маленький, где он живет, или он в коробке лежит?

— Ну пук-пук! — объяснил Тимофей. — Он пук-пук!

— Не знаю я никакого пук-пука, — сказала мама. — Вырастешь, тогда и скажешь. А сейчас давай штаны надевать.

А Тима тут обиделся и так закричал, что с потолка упало немножко извести.

Мать собрала с пола известковые частички, положила их на ладонь и показала сыну:

— Может, это пук-пук?

— Не... Дай пук-пук! — И Тима снова так вскрикнул, что паучок, залегший спать на зиму в запечный уголок, проснулся и подумал, что наступила весна, а в оконном стекле в ответ на крик послышался звон.

— Ну ты скажи хоть, на кого похоже твое пук-пук? — узнавала мать. — На меня или на папу? У кого ты видел его?

— Папа пук-пук, — сказал Тима.

— У папы был пук-пук? Сейчас спросим его. Что же это такое?..

Мать позвонила к отцу по телефону.

Отец думал-думал и не мог вспомнить, что такое пук-пук. Тогда он спросил у своих товарищей, и те не знали. Тогда отец посмотрел в книги — в справочник и энциклопедию, и там не было этого слова.

— Должно быть, он сам выдумал это слово, — сказал отец.

— Не знаю, — сказала мать. — Только он так кричит, так кричит, что потолок валится, стекла звенят, и я скоро состарюсь от него и умру.

— А помнишь, — ответил отец, — когда его еще не было, мы думали, он будет хороший!

— Помню, — сказала мать. — А он и есть хороший! Это он нарочно такой вот... какой есть, а надоест ему, он и перестанет.

— Зачем ты так говоришь? — спросил отец в телефон. — Зачем ты защищаешь маленького музовера?

— Потому что я его люблю, — ответила мать и положила трубку.

— Дай пук-пук! — закричал опять Тима; от его крика сам собой зажегся свет в комнате: слабый выключатель дрогнул от звука и соединил электричество.

Мать обняла Тиму:

— Немой ты мой! Еще сказать не можешь, а уж требуешь! Подожди, я сейчас узнаю. Только но кричи так, от тебя свет зажигается!

Она позвонила в бюро обслуживания и спросила — есть ли такой предмет, живой или мертвый или еще какой, кото-

рый называется пук-пук. Оттуда ответили: есть; любые продолговатые предметы, сложенные вместе, составят пук или букет — пук травы, пук колосьев, пук палок, чего хотите пук.

— Нам нужен пук два раза, — сказала мать. — Тима, тебе дать пук цветов, колосьев или палок?

— Не... Пук-пук дай! — закричал Тима.

— Ну ладно, — решила мать. — Давай быстро оденемся, покушаем и пойдем на улицу. Там мы спросим у людей, что такое пук-пук, и купим его в магазине. Хорошо?

Мальчик затряс боковую загородку кровати; он стоял там босой, в одной рубашонке и воевал оттуда.

— Гли, гли, стрыкчик! — закричал Тима.

— Что? — спросила мать. — Ах, электричество! Ты говоришь, — гляди, гляди, электричество! Я сейчас потушу его. Ишь ты какой заботливый!.. Ах ты, милый мой!.. Знаешь что, давай забудем про пук-пук, пусть его нету!

— Дай пук-пук!

Мать думала, что на улице Тима забудет про свой пук-пук. А он посмотрел на милиционера и сказал: пук-пук! Милиционер сейчас же приветствовал Тиму:

— Я вас слушаю, гражданин!

Мать объяснила:

— Нам пук-пук нужен. А что это — мы не знаем!

— Вам пук-пук нужен? — задумчиво произнес милиционер. — Вам пук-пук... Сейчас, сейчас... Сейчас мы его отыщем и подарим.

Милиционер отошел с гражданином и гражданкой на тротуар, вынул толстую книгу и стал искать в ней, что нужно было.

— Вам пук-пук, стало быть... Ага! Вот он! Вот он! Пук — промартель утилизации кизяков, трамваи туда четвертый, семьдесят третий...

— Благодарю вас, — сказала мама. — Это не то. Ведь промартель кизяков ребенку не подаришь.

— Так точно: никак нет, ребенку такую вещь не подаришь! — согласился милиционер. — А другого пука пока не имеется, всего один.

По дороге мать зашла с Тимой к Анастасии Макаровне, своей старой подруге.

— Здравствуй, Настя, — сказала мать подруге, — здравствуй, дорогая! А мы пук-пук ходим ищем. У тебя нету его?

— Есть, как же! — ответила Анастасия. Макаровна.

— Дай-дай! — протянул руку Тима.

— А какой тебе пук-пук? У меня их много. Какой ему пук?

— А мы сами не знаем, какой! — объяснила мать.

— А такой! — сказал Тима и закричал так, что кошки замяукали от страха.

— Нашлепать тебя надо и в угол поставить — ишь орало какой! Я бы тебе дала пук-пук!

Мать огорчилась:

— Ну зачем, Настя, ты так говоришь? С детьми так нельзя. Ведь у тебя только кошки были, ты детей совсем не знаешь!

— Ты, я вижу, много знаешь! Ходишь по городу, ищешь, сама не знаешь чего. Ишь педагог какой!

— Я не педагог, Настя, это правда, зато у меня есть коечто, чего у тебя нету.

— А что у тебя есть?

— У меня материнское сердце есть.

— Подумаешь! Сердце у нее! К твоему сердцу нужно еще голову добавить...

Анастасия Макаровна достала из буфета две большие конфеты и подала их Тиме:

— Ешь, тиран!

— Не, — сказал Тима и уткнулся лицом в материнское пальто.

— Глядите-ка, люди добрые, сам мать мучает, а сам за нее стоит.

— А за кого же! — сказала мать. — Не за тебя, кошатницу.

И они ушли. На улице Тима тихо позвал:

— Мама!

— Чего тебе, сынок?

— Дай пук-пук!

Мать остановилась и с испугом посмотрела на своего сына:

— Тима, а ты ведь и вправду тиран! Ты тиран, да?

— Да, — ответил Тима. — Дай пук-пук!

Они вышли к берегу реки, спустились на пляж и пошли по песку возле воды. На пляже никого не было: наступила осень, текла одна холодная река. Мать взяла сына на руки и понесла его, а то он устал.

Тима поглядел на воду, как она течет, и вдруг закричал:

— Пук-пук! Вон пук-пук! Дай пук-пук!

Мать посмотрела на поверхность реки; действительно, поодаль от берега плыли какие-то мелкие красные пятнышки.

— Ну как же я тебе достану это пук-пук! — сказала мать.

— Дай пук-пук! — воскликнул Тима, и так пронзительно, что галка, летевшая над ними, сразу метнулась в сторону.

Тогда мать опустила Тиму вниз, села сама на песок, быстро разулась и вошла в холодную воду. Пока она дошла до плывшего пук-пука, вода достала ей почти до пояса; здесь было не мелкое место.

Она собрала пук-пук в горсть и принесла его сыну. Это были маленькие красные бумажные кружочки, конфетти; наверно их побросали с лодок гуляющие люди, или они плыли из парка культуры и отдыха.

— На тебе пук-пук! Нашли наконец!

Тима рассмотрел красные кружочки и отвел руку матери.

— Не, — сказал он.

— Как не? — рассердилась мать. — Зачем же я в реку ходила, я вымокла вся!..

— Дай пук-пук!

Вечером за чаем отец подвинул к себе железную коробочку, открыл ее и достал оттуда ножом крупинки красной икры.

— Пук-пук! — показал Тима пальцем на икру. — Дай пук-пук!

Отец намазал икру на хлеб и дал его сыну.

— Вон что пук-пук-то!

Мать улыбнулась:

— А мы его по всему городу искали и в реку за ним лазали! Я так озябла, никак не согреюсь!

Тима поглядел-поглядел на икру и не стал ее есть, а попросил у матери пустого хлеба безо всего. А наутро он потребовал:

— Мама, дай чегошку!

Мать лежала в кровати. Она дышала часто и молчала.

— Мама, дай чегошку!

Мать поднялась было и опять легла.

— Сейчас, Тима... Подожди, мне худо что-то. Я потом дам тебе чегошку.

Они были одни, отец давно ушел на работу.

Тима попросил еще несколько раз чегошку; мать вначале отвечала ему, затем умолкла. Тима вылез из своей кроватки и подошел к матери.

— Ничего, ничего, — прошептала она. — Я скоро встану. Надень тапочки, не ходи босой. Что это со мною такое?

И мать опять забылась. А Тиме не захотелось более чегошки, ничего ему стало не нужно. Он хотел, чтобы мать снова открыла глаза и посмотрела на него, а мать лежала как чужая и не говорила с ним.

Тима обошел комнаты, пошел на кухню, потрогал там вещи — ножи, мясорубку, краны газовой плиты, — которые нельзя было трогать, и не заинтересовался ими. Он посмотрел в окно; на дворе светило солнце и гавкала знакомая собака Кузька. Но только солнце светило не так ясно, как вчера, а тускло, и Кузька гавкал тихо, как во сне.

Никто не нужен был Тиме; никто не глядел на него таинственным ярким глазом из темного угла, ничто не пугало его и ничто не радовало, будто все предметы вокруг него из живых и знакомых обратились в незнакомых и мертвых. Тима встал на стул, открыл шкаф, где находились отцовские часы, где лежала бритва, где стояли разноцветные коробочки матери, где висело мелкокалиберное охотничье ружье, — куда прежде Тима протягивал руки и кричал: дай-дай-дай-дай... Теперь Тима ничего там не тронул и закрыл шкаф.

— Мама, вставай! — позвал Тима. — Вставай, мама!

Мать не ответила. Тима оглянулся; сумрачно и страшно стало везде; он поскорее забрался к матери в постель, прижался к ее горячему телу и уснул.

Мать заболела воспалением легких, и на другой день ее увезли в больницу, а подруга матери Анастасия Макаровна пришла жить в их дом, где Тима.

— Пока мать больна, я тебе мамой буду! — сказала Анастасия Макаровна. — Давай мирно с тобой жить!

— Не, — произнес Тима. — Ты не мама!

— А кто же я?

— Кошатница.

— Кошатница! — воскликнула Анастасия Макаровна. — Я кошатница!.. Ну хорошо! Попроси только у меня что-нибудь, попроси у меня пук-пук, я из тебя, из тирана, живо пролетария сделаю!.. Я тебе не мама!

Тима влез на кровать, где раньше спала мама, уткнулся в ее подушку и тихо заплакал.

— Мама, — шептал он, — мама! Я не буду соль и пук-пук, и чегошку не буду! Мне не надо!

И Тима стал жить одиноко; он ничего не просил у Анастасии Макаровны и был равнодушен к ней, словно ее не было.

— Без матери-то и не капризничает, — удивлялась Анастасия Макаровна, — неинтересно со мной... Тима! — звала она. — Ты бы потребовал, приказал чего-нибудь, как прежде бывало: дай-дай-дай-дай...

— Дай маму, кошатница! — попросил Тима.

Отец заметил, как томится по матери Тима, и поместил его в детский сад; там ему лучше будет, среди своих ровесников.

Тима сперва оробел было, оставшись в детском саду, в чужой комнате, без отца, без матери. Но его взяла на руки воспитательница Ирина Павловна, мягко прижала к себе и понесла знакомить с ребятами, в группу.

Потом Ирина Павловна сказала Тиме:

— Ты у нас будешь заботиться об одном мальчике, он меньше тебя. Гляди за ним, береги и люби его. Он там вон стоит, его Тишечкой зовут. Будешь дружить с ним?

— Буду, — тихо ответил Тима.

Ирина Павловна подвела к нему конопатого мальчика Тишку, он был меньше Тимы, ему было года три.

— Возьми его за ручку, — сказала Ирина Павловна.

Тима взял Тишку за руку и пошел с ним. На полу в игрушечной комнате Тима поднял сосновую веточку, но Тишка сейчас же выхватил ее у него.

— Мое! — сказал Тишка.

Тогда Тима нашел себе деревянное колечко.

— Мое! — сказал Тишка и отобрал кольцо себе.

Тима лег животом на спину деревянной лошади.

— Мое! — закричал Тишка и кричал, пока Тима не встал с лошади, тогда Тишка обхватил рукою лошадиную шею и стал доволен.

— Дай! — потребовал Тима.

— Мое! — ответил Тишка.

— Дай!

— Мое!

Тима схватил Тишку за плечи, а Тишка тоже схватил Тиму, и они закричали-завопили-запищали оба, чтобы напугать друг друга, да только не испугались, а лишь вспотели от злости.

Ирина Павловна подошла к ним.

— Э нет, э нет! — сказала она. — Так не годится. Тима, ведь ты же главный! Зачем ты схватил маленького Тишечку?

Тима молча дышал, потом отдышался и ответил:

— Он мое-мое, а мне тоже мое!

— Добро не поделили! Так ведь на всех хватит! Ну, возьмитесь опять за ручки, гуляйте, скоро обедать будем. Привыкайте друг к другу. Ну, что я вам говорю!

Тима без охоты взял Тишку за руку и пошел с ним во дворик. А во дворике Тишка убежал от Тимы и упал лицом в песчаную горку. Он встал с земли, ему было не больно, а обидно, но никто не знал — больно ему или нет, и он заплакал, как будто ему было больно, — пусть знают. Тима увидел, что это расшибся Тишка-музовер, но так ему и надо, а то он мое-мое говорит, а если всё его, то у Тимы ничего не будет.

Тишка поглядел на Тиму — смотрит ли тот на него, нужно ли ему еще плакать? Тима отвернулся было, а потом снова поглядел на Тишку. Тишка размазал по лицу песок и землю, заморгал плачущими глазами и бросил зажатый в кулаке камешек, ему уже он был не нужен. Тима увидел его грустное, жалобное лицо; Тишке, должно быть, так же было больно, как матери Тимы, когда она заболела. Тима

сказал: «Мама!» — и подбежал к Тишке. Он утер ладонью Тишкино лицо, как мать утирала когда-то и его лицо, поднял под мышки Тишку с земли, взял за руку и повел. Пусть он не падает, а то ему больно. До самого обеда Тима водил Тишку за руку, а сам заранее отдавал ему все нужные предметы, чтобы Тишка не кричал: мое!

На другое утро Тиму в детский сад привела Анастасия Макаровна. Она сказала Ирине Павловне, что Тима — это очень упрямый мальчик, но она знает, что нервность и упрямство детей происходят от глистов, поэтому у Тимы следует вывести этих глистов, и он исправится.

— Если бы дело было так просто! — ответила Ирина Павловна. — Скажите, а у Тимы в квартире много кошек и собак?

— Совсем нет, — сказала Анастасия Макаровна, — кошки живут у меня.

— Исследуйте свой организм, дорогая, — посоветовала Ирина Павловна и сняла с Тимы пальто и шапочку.

— А Тишка? — спросил Тима.

— Тишка!.. Пришел, пришел твой Тишка, тебя дожидается.

Тима нашел Тишку, взял его сразу за руку и повел к столу — чтобы завтракать.

А когда Тимина мать приехала домой из больницы, она не пустила Тиму в детский сад. Она обняла Тиму, посадила его к себе на колени и весь день просидела с ним. Тима смотрел на бледное, счастливое материнское лицо и вновь согревался теплом матери. А мать ожидала, когда Тима у нее попросит, потребует что-нибудь или выдумает, чего нельзя понять: это бы ее обрадовало сейчас; но Тима теперь ничего не хотел, ему довольно было одной матери, и он, не отпуская, держался за пуговицу на ее кофте.

Вечером, когда пришел отец, мать сказала Тиме:

— Пойдем завтра опять искать пук-пук или еще что-нибудь! Хочешь?

— Не, — ответил Тима.

— Почему нет? Пойдем!

— Там Тишка, — сказал Тима.

— Ах, тебя Тишка ждет в детском саду! Что это за Тишка?

— Неужели ты опять полезла бы в холодную воду за этим пук-пуком? — спросил отец у матери.

— А полезла бы! — засмеялась мать.

— М-да, — проговорил отец. — Любить детей ты умеешь, а вот воспитывать едва ли...

— Кто ее знает! Может быть, с любви и начинается всякое воспитание.

Наутро мать не хотела отпускать Тиму в детский сад; она хотела еще побыть с ним денек. А Тима оставил материнскую руку и сказал, как вчера:

— Там Тишка!

Он пошел в переднюю и стал снимать с гвоздика свое пальто.

Тогда мать отвела его в детский сад. И грустно ей стало, что Тима не закричал ни разу ни вчера, ни сегодня, ничего не потребовал от нее, чего дать нельзя, что в сердце его теперь лежит забота о конопатом Тишке. Значит, сын ее растет, воспитывается и как бы уходит от нее. Трудно это для матери. Однако так нужно.

«Прощайте, дети, помните о нас, — подумала мать. — А мы будем жить всегда наготове, чтобы погибнуть за вас или помочь вам».

ДВЕ КРОШКИ

Жили две Крошки. Обе они были маленькие, обе черные, а отцы у них были разные: одна Крошка родилась от Хлеба, а другая — от Пороха. Жили они в бороде, а борода росла на лице у охотника, а охотник спал в лесу на траве, а возле него дремала собака.

Дело началось с того, что поел охотник хлебной мякоти, потом ружье зарядил, а потом рукою бороду оправил; две Крошки сошли тогда с его ладони и остались жить в бороде.

Вот живут две Крошки одна около другой; дела у них не было, заботы нету, стали они гордиться.

— Я, — говорит Крошка, что родилась от Пороха, — сильная, я страшная, я огонь, я всю землю спалю! А ты? — спрашивает она.

Отвечает ей Хлебная Крошка:

— А я, — говорит, — человека накормлю!

— Корми, — говорит Пороховая Крошка, — да от меня, гляди-ко, и человек сгорит!

Хлебная Крошка ей:

— Ан нет! — говорит. — Человек-то ум из Хлеба берет, а умом он и огонь одолеет! А я хлебная дочь: стало быть, я сильнее тебя!

Осерчала в ответ Крошка от Пороха.

— А что же, — говорит, — что ты сильнее, да зато я злее.

— А если ты злее меня, — сказала тут Хлебная Крошка, — так я лучше тебя.

— А давай нашу силу пытать, — сказала Пороховая Крошка. — Как вспыхну я сейчас, так и сожгу и тебя, и человека! Кто тогда сильное будет?

— Меня ты одолеешь, — ответила Хлебная Крошка, — а человека не осилишь!

— А человек-то спит теперь, — сказала другая Крошка, — я его и одолею. Глядк-ко, я вспыхну сейчас!

— Обожди гореть, — попросила Хлебная Крошка. — Сперва моя очередь силу пытать.

— Нет, я первая буду! — закричала Крошка от Пороха.

— Нет, я! — сказала Хлебная Крошка.

— Сейчас я тебя огнем спаяю!

— А я человека разбужу!

— А я и его сожгу!

— Ан нет! Он-то сильнее тебя!

Поползла тут Пороховая Крошка к Хлебной, чтобы поближе к ней быть да получше ее спалить. А Хлебная Крошка уползла от нее подальше и добралась до глаза спящего охотника: видит она веко, которым глаз был закрыт, влезла Крошка на это веко и сидит на виду. «Чего, — думает, — делать буду?» Увидела она воробья. Сидит тот воробей на ветке и смотрит на Хлебную Крошку, хочет он склевать ее, да человека боится.

— Съешь меня, — попросила Хлебная Крошка, — я мягкая. «Чего, — думает, — я в огне-то буду гореть, лучше я воробья накормлю».

Осмелел воробей, слетел с ветки и сел охотнику на лоб. Тут охотник пробудился от воробья, открыл глаз, снял с века Хлебную Крошку, поглядел на нее, в рот ее бросил и сжевал: пусть добро не пропадает. А воробей склевал поскорее Пороховую Крошку, думал, что она хлебная, — и взлетел к небу от страха.

В то время Хлебная Крошка вошла в человека, обратилась в его кровь и сама стала человеком. А Пороховая Крошка тотчас же вспыхнула внутри воробья; воробей испекся в огне и пал на землю.

Охотник увидел, что возле него упал на траву печеный воробей, отдал его своей собаке. Собака съела воробья и поглядела кверху: не упадет ли еще оттуда такая же печеная птица.

А Хлебная Крошка, что жила теперь заодно с Человеком, улыбнулась и промолвила: «Всю землю хотела спалить, да только воробья испекла!»

Тем и кончилась ссора двух Крошек в бороде уснувшего человека.

ЕЩЕ МАМА

— А я, когда вырасту, я в школу ходить не буду! — сказал Артем своей матери, Евдокии Алексеевне. — Правда, мама?

— Правда, правда, — ответила мать. — Чего тебе ходить!

— Чего мне ходить? Нечего! А то я пойду, а ты заскучаешь по мне. Не надо лучше!

— Не надо, — сказала мать, — не надо!

А когда прошло лето и стало Артему семь лет от роду, Евдокия Алексеевна взяла сына за руку и повела его в школу. Артем хотел было уйти от матери, да не мог вынуть свою руку из ее руки; рука у матери теперь была твердая, а прежде была мягкая.

— Ну что ж! — сказал Артем. — Зато я домой скоро приду! Правда, скоро?

— Скоро, скоро, — ответила мать. — Поучишься чуть-чуть и домой пойдешь.

— Я чуть-чуть, — соглашался Артем. — А ты по мне дома не скучай!

— Не буду, сынок, я не буду скучать.

— Нет, ты немножко скучай, — сказал Артем. — Так лучше тебе будет, — а то что! А игрушки из угла убирать не надо: я приду и сразу буду играть, я бегом домой прибегу.

— А я тебя ждать буду, — сказала мать, — я тебе оладьев нынче испеку.

— Ты будешь ждать меня? — обрадовался Артем. — Тебе ждать не дождаться! Эх, горе тебе! А ты не плачь по мне, ты не бойся и не умри смотри, а меня дожидайся!

— Да уж ладно! — засмеялась мать Артема. — Уж дождусь тебя, милый мой, авось не помру!

— Ты дыши и терпи, тогда не помрешь, — сказал Артем. — Гляди, как я дышу, так и ты.

Мать вздохнула, остановилась и показала сыну вдаль. Там, в конце улицы, стояла новая большая рубленая школа, ее целое лето строили, а за школой начинался темный лиственный лес. До школы отсюда еще было далеко, до нее протянулся долгий порядок домов, дворов десять или одиннадцать.

— А теперь ступай один, — сказала мать. — Привыкай один ходить. Школу-то видишь?

— А то будто! Вон она!

— Ну иди, иди, Артемушка, иди один. Учительницу там слушайся, она тебе вместо меня будет.

Артем задумался.

— Нету, она за тебя не будет, — тихо произнес Артем, — она чужая.

— Привыкнешь, Аполлинария Николаевна тебе как родная будет. Ну, иди!

Мать поцеловала Артема в лоб, и он пошел далее один.

Отошедши далеко, он оглянулся на мать. Мать стояла на месте и смотрела на него. Артему хотелось заплакать по матери и вернуться к ней, но он опять пошел вперед, чтобы мать не обиделась на него. А матери тоже хотелось догнать

Артема, взять его за руку и вернуться с ним домой, но она только вздохнула и пошла домой одна.

Вскоре Артем снова обернулся, чтобы поглядеть на мать, однако ее уже не было видно.

И пошел он опять один и заплакал. Тут гусак вытянул шею из-за изгороди, крякнул и защемил клювом штанину у Артема, а заодно захватил и живую кожу на его ноге. Артем рванулся прочь и спасся от гусака. «Это страшные дикие птицы, — решил Артем, — они живут вместе с орлами!»

На другом дворе были открыты ворота. Артем увидел лохматое животное с приставшими к нему репьями; животное стояло к Артему хвостом, но все равно оно было сердитое и видело его.

«Ктой-то это? — подумал Артем. — Волк, что ли?» Артем оглянулся в ту сторону, куда ушла его мать, — не видать ли ее там, а то этот волк побежит туда. Матери не было видно, она уже дома, должно быть, — это хорошо, волк ее не съест. Вдруг лохматое животное повернуло голову и молча оскалило на Артема пасть с зубами.

Артем узнал собаку Жучку.

— Жучка, это ты?

— Р-р-р! — ответила собака-волк.

— Тронь только! — сказал Артем. — Ты только тронь! Ты знаешь, что тебе тогда будет? Я в школу иду. Вон она — виднеется!

— Ммм, — смирно произнесла Жучка и шевельнула хвостом.

— Эх, далече еще до школы! — вздохнул Артем и пошел дальше.

Кто-то враз и больно ударил Артема по щеке, словно вонзился в нее, и тут же вышел вон обратно.

— Это ктой-то еще? — напугался было Артем. — Ты чего дерешься, а то я тебе тоже... Мне в школу надо. Я ученик — ты видишь!

Он поглядел вокруг, а никого не было, один ветер шумел павшими листьями.

— Спрятался? — сказал Артем. — Покажись только!

На земле лежал толстый жук. Артем поднял его, потом положил на лопух.

— Это ты на меня из ветра упал. Живи теперь, живи скорее, а то зима настанет!

Сказавши так, Артем побежал в школу, чтобы не опоздать. Сначала он бежал по тропинке возле плетня, да оттуда какой-то зверь дыхнул на него горячим духом и сказал: «Ффурфурчи!»

— Не трожь меня: мне некогда! — ответил Артем и выбежал на середину улицы.

На дворе школы сидели ребята. Их Артем не знал, они пришли из другой деревни, должно быть, они учились давно и были все умные, потому что Артем не понимал, что они говорили.

— А ты знаешь жирный шрифт? Ого! — сказал мальчик из другой деревни.

А еще двое говорили:

— Нам хоботковых насекомых Афанасий Петрович показывал!

— А мы их прошли уже. Мы птиц учили до кишок!

— Вы до кишок только, а мы всех птиц до перелета проходили.

«А я ничего не знаю, — подумал Артем, — я только маму люблю! Убегу я домой!»

Зазвенел звонок. На крыльцо школы вышла учительница Аполлинария Николаевна и сказала, когда отзвенел звонок:

— Здравствуйте, дети! Идите сюда, идите ко мне.

Все ребята пошли в школу, один Артем остался во дворе. Аполлинария Николаевна подошла к нему:

— А ты чего? Оробел, что ли?

— Я к маме хочу, — сказал Артем и закрыл лицо рукавом. — Отведи меня скорее ко двору.

— Нет уж, нет! — ответила учительница. — В школе я тебе мама!

Она взяла Артема под мышки, подняла к себе на руки и понесла.

Артем исподволь поглядел на учительницу: ишь ты, какая она была, — она была лицом белая, добрая, глаза ее весело смотрели на него, будто она играть с ним хотела в игру, как маленькая. И пахло от нее так же, как от матери, теплым хлебом и сухою травой.

В классе Аполлинария Николаевна хотела было посадить Артема за парту, но он в страхе прижался к ней и не сошел с рук. Аполлинария Николаевна села за стол и стала учить детей, а Артема оставила у себя на коленях.

— Эк ты, селезень толстый какой на коленях сидит! — сказал один мальчик.

— Я не толстый! — ответил Артем. — Это меня орел укусил, я раненый.

Он сошел с коленей учительницы и сел за парту.

— Где? — спросила учительница. — Где твоя рана? Покажи-ка ее, покажи!

— А вот тута! — Артем показал ногу, где гусак его защемил.

Учительница оглядела ногу.

— До конца урока доживешь?

— Доживу, — обещал Артем.

Артем не слушал, что говорила учительница на уроке. Он смотрел в окно на далекое белое облако; оно плыло по небу туда, где жила его мама в родной их избушке. А жива ли она? Не померла ли от чего-нибудь, — вот бабушка Дарья весною враз померла — не чаяли не гадали. А может быть, изба их без него загорелась, ведь Артем давно из дома ушел, мало ли что бывает.

Учительница видела тревогу мальчика и спросила у него:

— А ты чего, Федотов Артем, — ты чего думаешь сейчас? Почему ты меня не слушаешь?

— Я пожара боюсь, наш дом сгорит.

— Не сгорит. В колхозе народ смотрит, он потушит огонь.

— Без меня потушат? — спросил Артем.

— Без тебя управятся.

После урока Артем первым побежал домой.

— Подожди, подожди, — сказала Аполлинария Николаевна. — Вернись назад, ты ведь раненый.

А ребята сказали:

— Эк, какой, — инвалид, а бегает!

Артем остановился в дверях, учительница подошла к нему, взяла его за руку и повела с собою. Она жила в комнатах при школе, только с другого крыльца. В комнатах у Аполлинарии

Николаевны пахло цветами, тихо звенела посуда в шкафу, и всюду было убрано чисто — хорошо.

Аполлинария Николаевна посадила Артема на стул, обмыла его ногу теплой водой из таза и перевязала красное пятнышко — щипок гусака — белою марлей.

— А мама твоя будет горевать! — сказала Аполлинария Николаевна. — Вот горевать будет!

— Не будет! — ответил Артем. — Она оладьи печет!

— Нет, будет. Эх, скажет, зачем Артем в школу нынче ходил? Ничего он там не узнал, а пошел учиться — значит, он маму обманул, значит, он меня не любит, скажет она и сама заплачет.

— И правда! — испугался Артем.

— Правда. Давай сейчас учиться.

— Чуть-чуть только, — сказал Артем.

— Ладно уж: чуть-чуть, — согласилась учительница. — Ну, иди сюда, раненый.

Она подняла его к себе на руки и понесла в класс. Артем боялся упасть и прильнул к учительнице. Снова он почувствовал тот же тихий и добрый запах, который он чувствовал возле матери, а незнакомые глаза, близко глядевшие на него, были несердитые, точно давно знакомые. «Не страшно», — подумал Артем.

В классе Аполлинария Николаевна написала на доске одно слово и сказала:

— Так пишется слово «мама». — И велела писать эти буквы в тетрадь.

— А это про мою маму? — спросил Артем.

— Про твою.

Тогда Артем старательно начал рисовать такие же буквы в своей тетради, что и на доске. Он старался, а рука его не слушалась; он ей подговаривал, как надо писать, а рука гуляла сама по себе и писала каракули, не похожие на маму. Осерчавши, Артем писал снова и снова четыре буквы, изображающие «маму», а учительница не сводила с него своих радующихся глаз.

— Ты молодец! — сказала Аполлинария Николаевна.

Она увидела, что теперь Артем сумел написать буквы хорошо и ровно.

— Еще учи! — попросил Артем. — Какая это буква: вот такая — ручки в бочки?

— Это Ф, — сказала Аполлинария Николаевна.

— А жирный шрифт — что?

— А это такие вот толстые буквы.

— Кормлёные? — спросил Артем. — Больше не будешь учить — нечему?

— Как так — «нечему»? Ишь ты какой! — сказала учительница. — Пиши еще!

Она написала на доске: «Родина».

Артем стал было переписывать слово в тетрадь, да вдруг замер и прислушался.

На улице кто-то сказал страшным заунывным голосом: «У-у!», — а потом еще раздалось откуда-то, как из-под земли: «Н-н-н!».

И Артем увидел в окне черную голову быка. Бык глянул на Артема одним кровавым глазом и пошел к школе.

— Мама! — закричал Артем.

Учительница схватила мальчика и прижала его к своей груди.

— Не бойся! — сказала она. — Не бойся, маленький мой. Я тебя не дам ему, он тебя не тронет.

— У-у-у! — прогудел бык.

Артем обхватил руками шею Аполлинарии Николаевны, а она положила ему свою руку на голову.

— Я прогоню быка.

Артем не поверил.

— Да. А ты не мама!

— Мама... Сейчас я тебе мама!

— Ты еще мама? Там мама, а ты еще, ты тут.

— Я еще. Я тебе еще мама!

В классную комнату вошел старик с кнутом, запыленный землей; он поклонился и сказал:

— Здравствуйте, хозяева! А что, нету ли кваску испить либо воды? Дорога сухая была...

— А вы кто, вы чьи? — спросила Аполлинария Николаевна.

— Мы дальние, — ответил старик. — Мы скрозь идем вперед, мы племенных быков по плану гоним. Слышите, как они нутром гудят? Звери лютые!

— Они вот детей могут изувечить, ваши быки! — сказала Аполлинария Николаевна.

— Еще чего! — обиделся старик. — А я-то где? Детей я уберегу!

Старик пастух напился из бака кипяченой воды — он полбака выпил, — вынул из своей сумки красное яблочко, дал его Артему. «Ешь, — сказал, — точи зубы» — и ушел.

— А еще у меня есть еще мамы? — спросил Артем. — Далеко-далеко где-нибудь?

— Есть, — ответила учительница. — Их много у тебя.

— А зачем много?

— А затем, чтоб тебя бык не забодал. Вся наша Родина — еще мама тебе.

Вскоре Артем пошел домой, а на другое утро он спозаранку собрался в школу.

— Куда ты? Рано еще, — сказала мать.

— Да, а там учительница Аполлинария Николаевна! — ответил Артем.

— Ну что ж, что учительница. Она добрая.

— Она, должно, уже соскучилась, — сказал Артем. — Мне пора.

Мать наклонилась к сыну и поцеловала его на дорогу.

— Ну иди, иди помаленьку. Учись там и расти большой.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ЦВЕТОК

Сказка-быль

Жил на свете маленький цветок. Никто и не знал, что он есть на земле. Он рос один на пустыре; коровы и козы не ходили туда, и дети из пионерского лагеря там никогда не играли. На пустыре трава не росла, а лежали одни старые серые камни, и меж ними была сухая мертвая глина. Лишь один ветер гулял по пустырю; как дедушка-сеятель, ветер носил семена и сеял их всюду — и в черную влажную землю, и на голый каменный пустырь. В черной доброй земле из семян рождались цветы и травы, а в камне и глине семена умирали.

А однажды упало из ветра одно семечко, и приютилось оно в ямке меж камнем и глиной. Долго томилось это семечко, а потом напиталось росой, распалось, выпустило из себя тонкие волоски корешка, впилось ими в камень и в глину и стало расти.

Так начал жить на свете тот маленький цветок. Нечем было ему питаться в камне и в глине; капли дождя, упавшие с неба, сходили по верху земли и не проникали до его корня, а цветок все жил и жил и рос помаленьку выше. Он поднимал листья против ветра, и ветер утихал возле цветка; из ветра упадали на глину пылинки, что принес ветер с черной тучной земли; и в тех пылинках находилась пища цветку, но пылинки были сухие. Чтобы смочить их, цветок всю ночь сторожил росу и собирал ее по каплям на свои листья. А когда листья тяжелели от росы, цветок опускал их, и роса падала вниз; она увлажняла черные земляные пылинки, что принес ветер, и разъедала мертвую глину.

Днем цветок сторожил ветер, а ночью росу. Он трудился день и ночь, чтобы жить и не умереть. Он вырастил свои листья большими, чтобы они могли останавливать ветер и собирать росу. Однако трудно было цветку питаться из одних пылинок, что выпали из ветра, и еще собирать для них росу. Но он нуждался в жизни и превозмогал терпеньем свою боль от голода и усталости. Лишь один раз в сутки цветок радовался: когда первый луч утреннего солнца касался его утомленных листьев.

Если же ветер подолгу не приходил на пустырь, плохо тогда становилось маленькому цветку, и уже не хватало у него силы жить и расти.

Цветок, однако, не хотел жить печально; поэтому, когда ему бывало совсем горестно, он дремал. Все же он постоянно старался расти, если даже корни его глодали голый камень и сухую глину. В такое время листья его не могли напитаться полной силой и стать зелеными: одна жилка у них была синяя, другая красная, третья голубая или золотого цвета. Это случалось оттого, что цветку недоставало еды и мученье его обозначалось в листьях разными цветами. Сам цветок, однако, этого не знал: он ведь был слепой и не видел себя, какой он есть.

В середине лета цветок распустил венчик вверху. До этого он был похож на травку, а теперь стал настоящим цветком. Венчик у него был составлен из лепестков простого светлого цвета, ясного и сильного, как у звезды. И, как звезда, он светился живым мерцающим огнем, и его видно было даже в темную ночь. А когда ветер приходил на пустырь, он всегда касался цветка и уносил его запах с собою.

И вот шла однажды поутру девочка Даша мимо того пустыря. Она жила с подругами в пионерском лагере, а нынче утром проснулась и заскучала по матери. Она написала матери письмо и понесла письмо на станцию, чтобы оно скорее дошло. По дороге Даша целовала конверт с письмом и завидовала ему, что он увидит мать скорее, чем она.

На краю пустыря Даша почувствовала благоухание. Она поглядела вокруг. Вблизи никаких цветов не было, по тропинке росла одна маленькая травка, а пустырь был вовсе голый; но ветер шел с пустыря и приносил оттуда тихий запах, как зовущий голос маленькой неизвестной жизни. Даша вспомнила одну сказку, ее давно рассказывала ей мать. Мать говорила о цветке, который все грустил по своей матери — розе, но плакать он не мог, и только в благоухании проходила его грусть.

«Может, это цветок скучает там по своей матери, как я!» — подумала Даша.

Она пошла в пустырь и увидела около камня тот маленький цветок. Даша никогда еще не видела такого цветка — ни в поле, ни в лесу, ни в книге на картинке, ни в ботаническом саду, нигде. Она села на землю возле цветка и спросила его:

— Отчего ты такой?

— Не знаю, — ответил цветок.

— А отчего ты на других непохожий?

Цветок опять не знал, что сказать. Но он впервые так близко слышал голос человека, впервые кто-то смотрел на него, и он не хотел обидеть Дашу молчанием.

— Оттого, что мне трудно, — ответил цветок.

— А как тебя зовут? — спросила Даша.

— Меня никто не зовет, — сказал маленький цветок, — я один живу.

Даша осмотрелась в пустыре.

— Тут камень, тут глина! — сказала она. — Как же ты один живешь, как же ты из глины вырос и не умер, маленький такой?

— Не знаю, — ответил цветок.

Даша склонилась к нему и поцеловала его в светящуюся головку.

На другой день в гости к маленькому цветку пришли все пионеры. Даша привела их, но еще задолго, не доходя до пустыря, она велела всем вздохнуть и сказала:

— Слышите, как хорошо пахнет. Это он так дышит.

Пионеры долго стояли вокруг маленького цветка и любовались им, как героем. Потом они обошли весь пустырь, измерили его шагами и сосчитали, сколько нужно привезти тачек с навозом и золою, чтобы удобрить мертвую глину.

Они хотели, чтобы и на пустыре земля стала доброй. Тогда и маленький цветок, неизвестный по имени, отдохнет, а из семян его вырастут и не погибнут прекрасные дети, самые лучшие, сияющие светом цветы, которых нету нигде.

Четыре дня работали пионеры, удобряя землю на пустыре. А после того они ходили путешествовать в другие поля и леса и больше на пустырь не приходили. Только Даша пришла однажды, чтобы проститься с маленьким цветком. Лето уже кончалось, пионерам нужно было уезжать домой, и они уехали.

А на другое лето Даша опять приехала в тот же пионерский лагерь. Всю долгую зиму она помнила о маленьком неизвестном по имени цветке. И она тотчас пошла на пустырь, чтобы проведать его.

Даша увидела, что пустырь теперь стал другой, он зарос теперь травами и цветами, и над ним летали птицы и бабочки. От цветов шло благоухание, такое же, как от того маленького цветка-труженика.

Однако прошлогоднего цветка, жившего меж камнем и глиной, уже не было. Должно быть, он умер в минувшую осень. Новые цветы были тоже хорошие; они были только немного хуже, чем тот первый цветок. И Даше стало груст-

но, что нету прежнего цветка. Она пошла обратно и вдруг остановилась. Меж двумя тесными камнями вырос новый цветок — такой же точно, как тот старый цветок, только немного лучше его и еще прекраснее. Цветок этот рос из середины стеснившихся камней; он был живой и терпеливый, как его отец, и еще сильнее отца, потому что он жил в камне.

Даше показалось, что цветок тянется к ней, что он зовет ее к себе безмолвным голосом своего благоухания.

НЕОКОНЧЕННОЕ

ЗЕМЛЯ

Раз родился на свете маленький мальчик. Он был так мал, что его мать могла держать его на ладони.

На другой же день он выучился смеяться. И мать его смеялась вместе с ним. Ей и самой было очень мало лет, рожала она в первый раз, и ее тело измучилось и обессилело. Но она обрадовалась ребенку, и ей стало весело и хорошо. Она не могла понять, как он мог родиться из нее, такой маленький, а живой. Весь свет будто переменился. Это окно и ветка за ним были вчера, когда его не было, не такими. Теперь ветка дрожит там от ветра и заводит хворостинку за хворостинку.

Мать была очень красива и добра, а ребенок был лучше ее. Это она знала, и от этого чуда ей было так хорошо, как никогда, даже любовь была хуже. Она не понимала того, но все равно так было. Из плохого само собой делается хорошее. Не противиться этому — лучшая радость, великое и родное счастье всех.

Мать держала маленького мальчика на руках и с тихим восторгом целовала его. От него пахло ее же телом. Она сжимала его, боялась уронить и плакала одна, когда он спал. Ночью она не спала и сторожила его, как бы кто не украл или не подменил. Глаза у мальчика были такие же, как у нее, как пламя двух свеч. Она была добра и родила его нечаянно от одного сторожа, который плакал, когда видел ее. Она над ним сжалилась и приласкала его. От своей светящейся, ликующей красоты ей самой трудно жилось. Всем она была нужна, каждый гнался за ней, жался и шептал тоскующие слова. Она всем улыбалась и отвечала и ничего сама не понимала. Какие бедные, несчастные, будто голые, — думала она и любила не одного, а всех.

Мальчик выучился смеяться, и мать оправилась.

И пошли тихие годы, когда тело растет и так понятен мир и все люди похожи на траву, на дома и деревья.

Мать назвала его Иваном, и чем больше он рос, тем больше она отставала от него и уходила в свои дела. Красота ее потухала, от тяжелой, нудной работы сохла кровь и изнутри вырастали болезни.

В детстве нет счету времени. Утро от вечера в двух шагах. Год от году, как от ворот до плетня. В эти годы Ваня все понимал и для него не было невозможного. Ему было все лучше и лучше. Раньше он не верил, что за заставой есть что-то такое другое. Там канава, лопухи и небо.

Когда он выучился ходить, он увидел там поле и рожь, дорогу и телеги. Он не удивился, он знал это и, когда увидел, только вспомнил.

Пели птицы, Ваня слушал и знал, что и он умеет, только не хочет. Пугливая бабочка с красными крыльями низко трепетала над цветами. Ваня глядел и в эту минуту летал вместе с ней.

Нигде ничего ему не было чужого. Он мог делать, что делали все. Во сне он звонил в большой колокол и к нему бежали из поля люди. Он просыпался от страха и прижимался к уморенной, не чуявшей ничего матери. В окне сидели две звезды, и по улице кто-то шел. Ване думалось, что он не видел, но что знал. Поля, поля и дороги. Все города и все люди живут в полях. Есть одни поля.

Ваня рос, и ему хотелось сделать, чего сделать нельзя. Было тесно и глухо кругом. С ребятами он водился, потом перестал. Он их понимал, а что раз понял, то ненужно. Ему захотелось того, чего не было.

Звезды идут от земли все выше, почему не ниже, — думал он. Ваня начал думать и выдумал две звезды, устроенные не так, как эта.

Ваня стал большой и прекрасный, как мать, и лучше ее. А мать умерла, чему он не поверил, и по-прежнему видел ее, говорил с ней и ночью чуял ее рядом с собой, как прежде. В окне светили две звезды, все было такое же, часы тикали, и мать никуда не могла деться. И Ваня успокоился.

Сосед столяр взял его к себе. И Ваня стал столяром. Потом поступил на постройку трубопрокатного завода. Когда его выстроили, он остался там и перешел в слесаря. На новой работе он был ближе к машинам, которые полюбил еще давно, когда в первый раз увидел паровоз. И у него была своя тайная любимая мысль о другой земле, которую можно сделать из этой.

ЧЕРНОНОГАЯ ДЕВЧОНКА

> — Если вспомните, кучер Селифан счел нужным отчитать Пелагею за смешение правого с левым, сказав ей: «Эх ты, черноногая... не знаешь, где право, где лево».
>
> *Доклад И. В. Сталина*
> *на Чрезвычайном VIII*
> *Всесоюзном Съезде Советов*
> *о проекте Конституции СССР*

Слепая мать Пелагеи не помнила белого света; она ослепла в полтора года от рождения после болезни кори. До полутора лет она видела свет, до ее нежного слуха доносился лай собак или стук бадьи о колодезный сруб из деревни Всячины, находившейся в нескольких километрах от жилища путевого сторожа, ее отца.

— Пелагея-то давно ушла? — спросил старик у дочери.

— Затемно еще, — ответила слепая. — Ты бы хоть керосин с вечера в фонарь добавлял, за ночь выгорает, у девочки сигнал потухнет...

Слепая умолкла и привстала со своего ложа на руках. Она расслышала далекое биение напряженной, мчащейся машины и слабое, но все более вздымающееся стенание рельсов навстречу бегущему паровозу.

— Отец, курьерский! — громко сказала дочь. — Пойди, проводи его, флаг у тебя под подушкой... Большой паровоз идет, сейчас мороз, ночью товарные, тяжелые поезда шли, рельсы могли лопнуть...

— Эва, пусть проходит, чума с ним, — произнес старик. — У внучки глаза поострей моих, а она ведь давишь в обход пошла. — Да теперь какие морозы, они жидкие стали — февраль месяц, рельсы целы останутся, не треснут.

Старик поджег солому в печи и задвинул туда чугун с картошкой, предполагая сначала картошку сварить, а потом запечь, чтоб была вкусней и питательней. <...>

Ночи касались синих сосновых лесов, шевелящихся в беспокойстве непогоды, мешающей им спать до весны. Девочка показала слепой женщине свет в избе и сказала:

— Мама, пойдем домой, к отцу, а то будет темно и кошка озябнет.

— Нет, — ответила ей мать, — отец больше не велел к нему ходить. Я теперь справку получила на инвалида категории, мы с тобой одни будем жить на мою слепую пенсию.

— А в нашем доме огонь горит — он смотрит на нас! — сказала дочь слепой. — Я есть хочу.

Слепая женщина была в недоумении; она слушала ветер и ночь своим нежным, точным слухом и размышляла о своем горе. Лицо ее было открыто, оно привыкло к холоду и терпению, глаза, прикрытые наполовину веками, казались не слепыми, но лишь опечаленными, — эта женщина была еще молода и красива, добро жизни и надежды не истощилось в ней.

Она велела дочери вести ее в семибратовский колхоз — там жил ее старый, теперь женившийся поводырь, вместе с которым она побиралась когда-то, еще будучи девушкой. Поводырь теперь женился и жил ничего: при хлебе, при семействе и денежную часть трудодней берег на сберкнижке.

— Ты помирись с отцом, — попросила девочка. — Он будет ругаться, а ты потом привыкнешь...

Но слепая отказалась возвращаться к мужу, и дочь повела ее ночевать к старому поводырю. Мать пообещала дочери купить юбчонку, когда ей дадут пенсию — через пятнадцать дней, тогда девочка согласилась вести свою мать более охотно. Слепая время от времени пробовала свою новую пенсионную книжку, спрятанную в тряпицу под правую грудь, — она боялась ее потерять, потому что ей нечем будет жить и все люди тогда сразу станут немилыми и чужими. Но книжка была цела, слепая женщина беспрерывно ее чувствовала, по книжке ведь ей полагается хлеб и покой на всю жизнь.

Девочка провела слепую мать лесом и вышла на двойную железнодорожную линию. До Семибратова оставалось еще километра два. При железной дороге стоял небольшой дом сторожа, чтобы беречь дорогу в здешних лесах; в доме горел сейчас свет, наверно, человек там не спал и дежурил.

— Постучи в окно, попроси хлеба пожевать! — сказала девочка матери.

— Я теперь пенсионерка, мне нельзя, это стыдно, — произнесла мать.

Однако дочь ее не ела почти целый день. Из города Креста они вышли в обед, а до обеда мать была на комиссии и получала пенсионную книжку. Денег ей бывший муж ничего не дал, только велел жить на слепую пенсию и дал справку о разводе и ее беспомощности. Еще он ей сказал, что его сердце умерло для нее и когда он видит жену, слепую и неопрятную от ее темной души, то вся его кровь ожесточается; он давно уже живет в ласковых отношениях со счетоводом-барышней, и той барышне теперь настала пора войти в избу как хозяйке, а девочка-дочка пусть живет где хочет, если для нее ее новая мать будет непривычна. «Я привыкла, чтоб мать была слепая, а новая мать видеть будет!» — сказала отцу девочка и собралась с матерью в город Крест — становиться на пенсию. «Прощай, Дуся! — сказал муж слепой жене. — Ты ведь меня и не видала никогда: ты света белого не помнишь!»

Слепая обняла мужа на разлуку: «Прощай, бедный мой... Мое сердце не умерло к тебе, но в нем стало теперь темно, как в моих глазах. Дочка Пелагея останется со мной, ты не требуй ее к себе, я ее сама прокормлю, — кто же меня, слепую, на дороге оборонит и за руку подержит!» Пелагея тогда взяла кошку, а мать справку о потере иждивения — и они вышли на дорогу в Крест.

Слепая чувствовала сейчас темную ночь, ветер зимы и озябшую руку Пелагеи. Женщина уже хотела вернуться в избу к прежнему мужу, но там наверно живет на ее месте барышня-счетовод, а на чужое счастье стыдно смотреть. И слепая постучала в окно железнодорожного дома, чтобы покормить и согреть дочь. Оттуда вышел старый человек с сигнальным фонарем.

— Вы что тут? — спросил он.

— Мы слепые, — сказала мать Пелагеи. — Пусти, батюшка, погреться, нам хлеба не надо...

— Можно и хлеба с картошкой покушать, — произнес железнодорожный сторож, — мне добра не жалко. Ступайте в квартиру, а я путь пойду погляжу, я скоро ворочусь.

Слепая женщина и Пелагея вошли в жилище сторожа.

Там в горнице было чисто и аккуратно, печь была натоплена и пахло печеным хлебом. Пелагея вынула кошку из-за пазухи и пустила ее пожить на полу, а сама легла на лавку, головой к матери в колени, и уснула, потому что она истомилась за целый день жизни, который в детстве идет долго.

Сторож скоро вернулся с обхода; он был хотя и старый, но еще румяный и довольный. В молодости и в средние годы своего возраста он работал коридорным в московских гостиницах и провел жизнь не в тягости, а в суете, поэтому здоровье его не ушло. Он переложил спящую девочку в свою кровать под пологом и собрал на стол ужин — картошку, огурцы, миску гороха и два ломтя черного хлеба своей выпечки, Старик накормил слепую гостью и сам поел с нею, а потом постелил ей на лавке и сказал, чтоб она спала до утра, потому что ее дочка уже спит, на дворе ночь, — некуда и не время теперь идти слепому человеку. Слепая легла в чужом, теплом доме, и сердце ее, нежно и остро чувствующее жизнь, как свет, если бы она видела его, сердце ее смирилось, потемнело в покое, и она уснула.

Ночью путевой сторож проводил два скорых поезда и еще один курьерский и лег спать — лишь после полуночи. Наутро, проснувшись, он увидел девочку Пелагею; она завертывала свою кошку в тряпку, обряжая ее в дорогу. Слепая женщина стояла у окна, думая о солнце, которого она не помнила, потому что ослепла в полтора года от рождения, а теперь ей стало уже тридцать пять лет. Но она не скучала о белом свете, ей достаточно было бы жить со счастливою душою даже в вечной тьме; однако душа ее была сейчас несчастна.

Путевой сторож оглядел своих гостей и сказал им:

— Куда вам ходить? Оставайтесь еще на сутки, я хлеб сейчас новый ставить буду, лепешек из теста спеку...

— Нам не надо, — ответила слепая. — Я пенсионерка, от государства хлебом кормлюсь.

— Нам не надо, — сказала Пелагея заодно с матерью. — Мы не бедные: мы книжку вчера получили, мы задаром будем жить.

— Вам видней, — произнес старик.

Слепая сказала «спасибо» и ушла со своей дочерью и кошкой, а сторож начал готовить тесто на хлеб, измазал себе руки и вытер их о бороду. И ему стало вдруг скучно, что ушла миловидная слепая женщина и больше он ее не увидит вовек, а ему необходим человек в избе: хоть за жалованье его бери к себе. Ходят к нему гости из ближних колхозов <...>

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НА СВЕТЕ

Я забыл, как я начал жить на свете, как прожил первые дни и привык потом быть живым. Позже я долго жил, стал стариком и всю жизнь вспоминал, как же я родился и впервые почувствовал белый свет на земле и прижался к матери. Но никогда я не мог вспомнить этого своего первого, главного чувства жизни; у многих людей я спрашивал — помнят ли они, как родились и начали жить, помнят ли, что они почувствовали и увидели; никто не мог мне ответить — ни старые, ни молодые, ни дети, — все забыли, как впервые начали они дышать отдельно от матери.

Но я хотел вспомнить. Я понимал, что у меня при рождении почти не было сознания, я не знал ни одного слова, у меня было лишь чувство.

ДАР ЖИЗНИ

Дар случайный, дар напрасный,
Жизнь, зачем ты мне дана?

Пушкин

1

Иван помнил свою жизнь с одного давно минувшего раннего утра; было еще темно, когда маленький Иван открыл глаза, но, увидев тьму, он в страхе перед нею опять закрыл их. И тогда он услышал голос матери, сказавшей отцу: «Кузьма, вставай на работу, зажги свет!»

Отец поднялся с деревянной кровати, пошел из комнаты на кухню и там зажег керосиновую лампу на деревянном столе. Утро еще не наступило, а в доме уже стало светло и тьмы не было. Маленький Иван улыбнулся и позвал: «Мама!»

Мать ему ответила: «Ты что?» Но Иван не знал, что ему сказать, и молчал.

— Рано еще, ты спи, Ваня, — сказала мать, — а нам пора подыматься.

— А я не хочу, — сказал Иван. — Мне тоже надо жить.

— Ну вставай жить, — соглашалась его добрая мать.

Иван поднялся, подошел к окну и поглядел во двор: есть ли там еще тьма. Во дворе было еще сумрачно и непроглядно, но на небе уже видны стали серые облака, и на соломенную крышу сарая сели две вороны. Иван вскоре разглядел и землю у заваленка, и низкие деревья в саду за плетнем. Земля была пуста без травы, и голые деревья озябли без листьев.

Мать затопила печку и сказала Ивану:

— Чего глядишь в окно? Там бабочки теперь не летают, трава умерла, — это осень настала... Одень штаны, простынешь.

Отец уходил на работу, на фабрику мельничных жерновов, а Иван с матерью оставались одни в доме на целый день. И так было с тех пор, как начал себя помнить Иван Кузьмич Гвоздарев.

Мать, бывало, прибирает комнату и кухню, потом принесет дров и воды, потом готовит обед — щи и кашу с молоком, — а Иван все сидит и ожидает мать, когда она отделается, сядет на лавку, возьмет его к себе на колени и расскажет ему длинную долгую сказку.

Ивану было скучно одному без матери. Не привыкши жить, он не знал, что ему надо думать, что делать и что происходит кругом на свете. Сам по себе он не умел еще существовать, ему было страшно видеть то, чему он не знал имени и смысла чего не понимал, и он томился, если не чувствовал материнской любви.

И лишь сидя у матери на коленях, прильнув к ее теплому телу, он сознавал, что ему хорошо и он нужен матери.

В долгих рассказах матери, с полудня и до самого вечера, Ивану открывалось значение жизни, он слышал имена

людей и предметов, узнавал счастье честной смелой души, видел всю разноцветную прелесть земли и неба, грусть и радость человеческих сердец, любящих или мучающих друг друга. Только вечером, когда приходил с работы отец, мать умолкала и укладывала Ивана спать, спев ему на сон грядущий маленькую песню.

Каждый день Иван слышал рано поутру, еще во тьме, голос матери, говорившей отцу: «Зажигай свет, Кузьма, пора вставать!»

И до полудня ожидал Иван, пока мать сделает всю работу по дому, а потом посадит его к себе и начнет говорить долгую сказку, сладкую, как забываемое воспоминание о материнском молоке.

Мать всегда, каждый день, брала к себе на колени Ивана и рассказывала ему все, что лежало у нее на сердце, что приходило ей на ум, что она испытала, что видела и знала, что воображала и чего желала своему сыну, и то, чего не знала, чего не было, нет и никогда не будет. Иван слушал мать и смотрел в ее любимое лицо, в ее глаза, глядевшие на него с тоскующей любовью, и сам он тоже всегда тосковал по матери, и как он ни прижимался к ней близко, как ни ласкала она его, Ивану все было словно мало матери и он постоянно и тихо горевал по ней. Глядя на мать, Иван видел ее и видел то, что она говорила ему: землю, освещенную солнцем и звездами, на которой хотелось жить со всеми людьми, и людей, что проходили через самое его сердце, сопровождаемые словами матери, людей добрых и кротких или грозных и страшных, разных и непохожих друг на друга, но одинаково влекущих к себе. Из слов матери рождались люди, растения, реки, животные, птицы, всё, что есть, что было или быть должно на свете, — и они входили в слушающего, внимательного Ивана, питали его сердце и уходили вон, а вместо них появлялись в нем другие жители земли, о которых рассказывала далее мать, но и они, просуществовав недолго в воображении маленького Ивана, исчезали затем в голубом тумане великого мира, уступая место новым незнакомым существам. И так продолжалось все время, пока длился рассказ матери. А когда она к вечеру умолкала, Иван не мог вспомнить ничего, что говорила мать: он помнил

и чувствовал живыми все существа и предметы, о которых ему рассказывала далее мать, лишь пока она говорила, а затем забывал всех; только в сердце его долго оставалось еще радостное чувство, словно все те, кто посетили его и уже оставили, надышали в него свое доброе тепло, — и вот их уже нет никого, а тепло их жизни медленно остывает в Иване и все еще питает мальчика счастьем участия в чужой судьбе. Однако и эта радость соединения своей жизни с другими существами постепенно утрачивалась и рассеивалась, так же точно, как утрачивается хлеб, который мы едим, чтобы жить, — и маленькому Ивану снова становилось скучно и мучительно быть с одним самим собой, со своим опустевшим сердцем, когда умолкшая мать уже не говорила слов, оживающих в ее сыне.

Поэтому Иван хотел бы, чтобы мать говорила ему свой рассказ непрерывно, тогда он постоянно сидел бы у нее на коленях и слушал ее, позабыв о самом себе, и ему было бы всегда хорошо. Но матери некогда было целый день держать сына на коленях и выдумывать слова без конца.

Наутро Иван выходил играть во двор и на улицу: он вглядывался там в старую траву, в деревья и в лица прохожих людей, желая вспомнить, нет ли среди них тех, о которых ему рассказывала мать. Но никого не было похожих; и он забывал ясные слова матери; ему лишь казалось сейчас, что все на свете было другое, не такое живое, как в рассказе матери, не такое счастливое, не такое веселое и не такое грустное и страшное. Здесь было скучнее, чем на той земле, о которой говорила мать, и неподвижное солнце светило уныло, а нее шло по небу, играя разноцветным как радуга светом и вызывая из земли себе навстречу смеющиеся цветы, и птицы на деревьях не пели так чисто, как пели они в нем от слов матери.

Тогда Иван спрашивал: «Мама, отчего этого не бывает?» — «Чего не бывает?» — Иван сначала не знал, как сказать, а потом говорил: «А так не бывает... Ты говоришь — они такие, а их нет, они живут другие!» Мать понимала и отвечала ему: «А я тебе не просто рассказывала, что ты видишь. Ты видишь не то, ты видишь одну видимость, а я тебе рассказывала про их душу, а ее глазами не видно, видно

другое». — «А я хочу, чтоб ее тоже видно было, а видимости не надо», — просил Иван.

Мать молчала. «Тут уже я не знаю, как быть», — говорила она. «А ты узнай!» — попросил у нее сын.

Однажды отец долго не приходил с работы. Уже миновал вечер и наступила ночь, а отца все не было. Мать встревожилась, она велела Ивану спать, а сама стала собираться, чтобы идти за отцом на фабрику каменных жерновов. Мать ушла, Иван остался один, но спать он не хотел и не мог; он стал думать, что отец его умер, и заплакал. В комнате было сумрачно, маленький теплый огонь горел на столе; мать притушила лампу, чтобы керосин не выгорел напрасно, и оставила лишь немного света, чтобы Иван не боялся быть один. Иван не боялся; он глядел на слабый огонь в лампе и видел, что огонек живет один и не боится, отца у него нет и он не плачет. Тогда Иван тоже перестал плакать, он встал с мягкой постилки на сундуке, на которую каждый вечер мать укладывала его спать, и подошел к окну. Прижавшись лицом к стеклу, Иван стал глядеть в ночь — что там есть. На земле ничего не было видно, а на небе были звезды. Иван засмотрелся на них; звезды на небе были похожи на буквы в книге, которую отец читал по воскресеньям, а Иван листовал после него эту книгу, стараясь увидеть, где в буквах живут слова, а в словах люди, но не мог их там рассмотреть. Сейчас ему казалось, что из звезд на небе составлены важные слова, это должно быть тоже целая книга — один лист из нее, открытый для чтения всем вслух, но понять, что там написано, Иван не умел; он не умел еще читать и простой бумажной книги и помнил твердо всего одну букву «а», а другие же буквы то помнил, то опять забывал. Потом глаза его устали глядеть на далекие звезды и сами собой закрылись; Иван положил голову на подоконник и заснул, не узнав, когда возвратилась мать и когда она перенесла его на кровать, чтобы он спал рядом с нею.

Утром Иван увидел, что он спит на месте отца, а отца нету, и мать сама зажгла свет в лампе.

— Мама, а где папа?

— Папа. Папу твоего в тюрьму вчера увели.

— А какая тюрьма?.. Пойдем и мы в тюрьму, — сказал Иван. — Мы будем там жить.

Мать ответила, что при отце везде хорошо, при нем и в тюрьме можно жить; но только в тюрьму всех не пускают.

— Отец всех рабочих на фабрике подговорил, чтоб никому не работать. Пускай сначала хозяин прибавку дает, а то дети молока не видят.

— А я не хочу молока, — сказал Иван. — Нам его не надо, я воду пью, — и ты тоже... Мама, пойдем в тюрьму!

— Нам нельзя, тебе говорят, — ответила мать. — Нужно сначала забастовку сделать или чужого человека убить, тогда тебя в тюрьму на замок запрут.

Иван посмотрел на мать и улыбнулся ей; он догадался, что нужно делать.

— Мама, давай пойдем убивать! — сказал он.

Мать рассерчала на него.

— Ты мал еще и говоришь чего не надо... Отец твой никого не хотел убивать, он молоком тебя хотел кормить...

Мать сидела на скамье; она положила голову на стол и неслышно заплакала об отце.

— Боже мой, Боже мой, что мы теперь делать будем с тобой! — шептала она. — Как нам жить!

Иван подошел к матери, он прижался лицом к ее животу и обхватил ее руками.

— Не плачь, мама!.. Я тебе сказку буду говорить, а ты слушай.

От матери шло тихое тепло: Иван приник еще ближе к ней и вспомнил, как летом он ходил в поле с отцом в светлый день, и там в поле так же пахло от земли и от неба смирным теплом, как сейчас от матери.

Иван стал говорить матери сказку, потому что хотел, чтобы она не плакала.

— Жили-были... Вот они жили-были... Мама, они жили-были на свете...

Иван умолк, не зная, что нужно рассказывать дальше; все материны сказки он забыл, а для той сказки, которую он хотел рассказать матери, чтобы утешить ее, он не знал слов; он думал, что как только он начнет говорить, так не остановится, потому что слова сами собой идут из сердца,

когда сердце тоскует и любит, — об этом давно говорила ему мать, — а он сейчас весь прижался к матери и любил ее всем сердцем, всем телом, согревающимся от ее дыхания, и даже закрытые глаза его любили мать и они видели ее, а говорить он больше не умел и не знал, как складывать слова, чтобы из них получился живой смысл, как в рассказах матери.

— Жили-были, — опять сказал Иван и спрятал свое лицо в коленях матери от застенчивости.

— Они жили-были, а потом что? — спросила его мать.

— Мама, они жили-были, а потом они померли, — сказал Иван. — И все, больше их нету...

— Нету? — спросила мать.

— Нету, — обрадовано сказал Иван, что окончил рассказывать сказку. — Они померли, их больше нету, а сначала они тоже жили-были...

Мать погладила голову сына.

— А кто же они были?

— Мама, они были мы с тобой, ты и я.

Мать подумала и улыбнулась; Иван почувствовал, что мать больше не плачет, и решил, что сказка его хорошая. И мать ему тоже сказала об этом.

— Сказка твоя хорошая, только короткая.

— Она вся, — произнес Иван.

— Она не вся, — сказала мать. — Ты не сказал, а как жизнь их прошла. Ты забыл, что они сначала целую жизнь прожили, а потом уже умерли. Ты про жизнь ничего не говорил, как мы с тобой жили: долго-долго, а ты еще дольше меня будешь жить. Ты про жизнь забыл...

— А раз они померли, то и забыли, — ответил Иван. — Папа говорил, бабушка все забыла, когда померла, и меня она тоже забыла. Я на нее в гробу глядел, а она лежит-молчит, она забыла...

— Бабушка была мертвая, а я нет, я тоже ведь ни тебя, ничего не забыла, — сказала мать. — Давай я сейчас печь затоплю, щи разогрею и кашу сварю, мне кормить тебя надо.

— Надо, — согласился Иван, — и ты со мной будешь есть... А потом расскажи мне сказку до вечера, и я засну.

— А отец! Ты забыл про отца?

— Про отца?.. Мама, я засну и во сне его увижу! И он нас тоже с тобой увидит во сне, когда в тюрьме ночь... Ему нас видно будет, ему там нескучно...

— Какой ты у меня! — проговорила мать. — И во сне, ты думаешь, правда бывает...

Однако более уже никогда Иван отца не увидел. В ту ночь он ему не приснился, а спустя недолгое время, через полгода, отец умер в тюрьме от чахотки. Матери выдали его тело в готовом некрашеном гробу, — гроб вывезли на подводе и сразу повезли на кладбище, а там опустили в вырытую арестантами глиняную могилу. Открывать гроб не велели, и мать с Иваном стали на колени, и они долго целовали верхние гробовые доски, пока им не сказал один старый арестант: «Хватит вам, не надолго расстались, нам в тюрьму обедать пора, а то опоздаем — там наши порции съедят!» — и, опустивши со своим помощником отца в могилу, начал скоро, поспешно сваливать обратно в могилу отрытую наверх глиняную землю.

После смерти отца мать поступила на работу. Каждое утро она уходила в длинный дощатый сарай, стоявший возле железнодорожного вокзала, и там дробила молотком крупные самородные камни в мелкий щебень. Она работала до самого позднего вечера, дотемна, чтобы больше зарабатывать денег, а потом приходила домой и уже усталая, сонная варила похлебку и кашу на ужин и на завтрашний день. Сказок она теперь Ивану не рассказывала и после еды сразу ложилась спать, изнемогшая в работе. Сын сидел около нее на постели, глядел, как она спит, а потом прикладывался к ней головой и тоже засыпал.

С утра начинался новый день — и долог он был без матери... Под вечер, как наставало время матери возвращаться, Иван уже плакал от тоски по ней. Так прожил он четыре дня, а на пятый сама мать, видя, как скучает без нее дома Иван, взяла его за руку и повела с собой на работу в сарай.

В сарае работали семь человек женщин и четверо мальчиков. Они сидели на земле и кололи камни молотками. Около каждого человека постепенно собиралась горка мелкого щебня, и около матери тоже была такая горка. Этот мелкий камень нужен был на железную дорогу — там его

укладывали под рельсы на станции. Иван, как привела его мать с собою, сел у двери лицом к матери, так и просидел до вечера; только в обед и еще один раз мать кормила его хлебом с холодной вареной картошкой и давала пить молоко из бутылки, и сама ела. Весь день Иван смотрел на мать и был доволен и рад, что видел ее неразлучно. Каменная пыль стояла над работающими людьми, а они спешили скорее разбивать тяжелые камни на маленькие, чтобы их много было. Мать сказала Ивану, что за каждый маленький камешек ей дают крошку хлеба или каплю молока, а ей с Иваном нужно много хлебных крошек, чтобы жить.

На другой день Иван также пошел с матерью на работу. Он опять не отрываясь глядел в материнское лицо и время от времени собирал осколки камня, отлетавшие далеко из-под рук матери, и рассматривал их; они ему теперь казались живыми, после того как их коснулась мать.

Став более взрослым, Иван не запомнил, сколько времени он ходил с матерью в сарай на каменную работу. Но ему казалось, что он ходил с матерью недолго, потому что мать вскоре заболела и осталась дома лежать на кровати. Она прожила так много дней; мать лежала больная, а сын сидел при ней и смотрел на нее, боясь, что она умрет, — и у них осталась дома одна вода и картофельная кожура. Тогда Иван сам пошел в сарай долбить камень в щебенку, чтобы заработать деньги на хлеб, и стал туда ходить каждый день. Тоскуя по матери и будучи еще мал, он зарабатывал немного денег, однако, как мог, он кормил мать и кормился сам, покупая хлеб и пшено. Весь день он томился на работе, считая время до вечера по биению своего сердца, а вечером бежал домой и сначала проведывал ее, что она жива, а потом шел в лавку за хлебом… Иногда еще, по старой привычке, мать тихим голосом рассказывала сыну сказку на сон грядущий и, слушая, он засыпал возле нее счастливым.

Когда наступила зима, работать в дощатом сарае стало холодно, а дома у Ивана не было дров. Он собирал щепки и палки по дворам и на улице, но их хватало лишь для того, чтобы сварить или разогреть на них похлебку или кашу, а истопить печь для тепла нельзя. Мать стала болеть труднее и хуже, она лежала теперь вся горячая и Иван, прижавшись

к ней, согревался в ее тепле и спал по ночам, и мать обнимала его одной рукой; она придерживала его близ себя, чтобы он не откинулся от нее во сне и не продрог один в холоде.

В последнюю ночь жизни матери Иван проснулся от холода; мать уже не согревала его и прижимала сына к себе, чтобы самой от него согреться.

— Ты что, мама? — спросил Иван. — Ты не спишь и на меня смотришь.

— Я не сплю, — сказала мать, — я на тебя хочу наглядеться.

— А чего? Ты днем смотри, а ночью ты спи.

— Днем я тебя не увижу, — прошептала мать, — я умру.

— А я? — спросил Иван. — Я тоже умру.

— Ты нет, — ответила мать. — Ты будешь жить за меня.

— А я не буду.

— Будешь… Ты будешь без меня!

— А я не умею быть без тебя. Без тебя не надо.

— А ты помни, что я была, и ты живи за меня… Ты думай, что это я живу в тебе, — говорила мать.

— А где?.. Ты где тогда будешь жить во мне? — спросил Иван.

— Ты не помнишь, как ты дышать начал от меня, а я помню, — произнесла мать. — Твое сердце от меня началось, и в нем я останусь.

— А тебя видно будет, я увижу? — спросил Иван.

— Нет, — ответила мать. — Ты во сне меня увидишь.

— Я долго спать буду, — сказал сын. — А кто сказку расскажет?

— Ты скоро вырастешь, зачем тебе сказка, — тихо произнесла мать. — Ты правду узнаешь.

— Ты озябла, мама?

— Я остыла, сынок. Я слабая стала.

— Давай я дышать буду на тебя, ты согреешься…

Иван начал дышать матери в грудь, и ему казалось, что он долго дышал. А мать знала, что он дышал в нее мало и скоро уснул до утра, до вечной разлуки с нею.

Мать поднялась с кровати. Ей было плохо от слабости и от печали. Однако она хотела прибраться в комнате и на кухне и еще сварить на утро кулеш, чтобы Ивану было чего покушать. Она зажгла свет в лампе и, припогасив его, вы-

терла пыль с вещей, а потом стала мыть полы. Вымывши полы, она приготовила пшено и картошку, положила их в железное ведерко и начала щепать полено на лучинки для растопки. Она хотела жить, и она занималась делом, чтобы видно было, как она нужна на свете, и чтобы болезнь и слабость отошли от нее. Посредством своей заботливой работы она желала опять привыкнуть к обычной жизни, выздороветь и отстранить от себя смерть.

Она уже зажгла огонь в печи и здесь почувствовала, что сердце ее не дышит и время ее прошло. Она дунула на пламя в печи, но огонь не погас. Тогда она хотела вскрикнуть, чтобы проснулся Иван и побыл с нею, но вспомнила, что ему завтра с утра надо идти на работу толочь камень, и промолчала. Разрушающее горе, обращающее всех людей в святых в их последний час, прошло через ее существо и миновало. Мать стала спокойной, словно равнодушная; она скоро и разумно отомкнула замок сундука с семейной одеждой, вынула из сундука чистую рубашку и переоделась в нее, потом опять замкнула сундук на замок, а ключ положила поверх сундука, чтобы Иван увидел — где он есть, и оглянулась по комнате: что еще надо сделать? — Лампу надо было потушить, от огня может быть пожар: Иван спит, а она умрет. Мать прикрутила фитиль, и свет погас. Затем мать легла на кровать рядом со своим сыном и обратилась лицом к стене, чтобы Иван утром при свете не увидел ее лица. «Что еще надо сделать? — подумала мать. — Огонь в печке остался гореть, он сам потухнет. Иван один будет жить, а с ним добрые люди будут. А мало добрых, так Иван сам вырастет добрым, не напрасно я его жить родила».

Наутро Иван, проснувшись, потрогал мать, лежавшую к нему спиной, чтобы и она проснулась. Мать не повернулась к нему.

— Ты меня не любишь! — сказал Иван.

Он перелез через тело матери к стене и посмотрел в ее лицо.

— Ты меня не любишь: ты умерла.

Подумав, он решил тоже умереть с матерью, потому что любил ее сейчас больше, чем живую, и хотел быть вместе с нею, как она.

— Мама! — позвал Иван.

Она лежала грустная, с добрым спящим лицом и полуоткрытыми глазами. «Живи за меня!» — вспомнил Иван слова матери, а ему хотелось лечь возле нее, прильнуть к ней и также быть холодным, уснувшим и бледным, как она.

Но Иван побоялся ослушаться матери, раз она велела ему жить вместо себя; он сошел с кровати, посмотрел в окно на белый день и съел кусок хлеба, посыпав его солью. Увидев вымытые полы и порядок в доме, Иван понял, что делала ночью покойная мать: «Она тогда прибиралась, чтоб чисто было, мама тогда жива была».

И он нечаянно вскрикнул от боли в сердце, зашедшегося в груди и переставшего дышать.

— Мама, вставай ко мне!.. Вставай, мама!

Мать не встала, она не могла.

Иван остался жить один.

* * *

После смерти матери Иван остался девяти лет от роду. С тех пор ему всюду стал видеться образ матери. Смотрел ли он на облако в небе — ему казалось, что оно похоже на лицо матери, вглядывался ли он в тьму ночи за окном — он видел, что оттуда на него смотрит мать, и она близко от него, но совсем приблизиться не может и сказать ничего не умеет от слабости; тогда Иван выбегал наружу в ночь и бежал туда, где видел мать, а ее уже не было нигде... Всходила луна и освещала землю. Иван останавливался и следил за луной: «Там мама живет, — думал он, — а где же она?»

Дома, в комнате и кухне, все предметы и вещи помнили мать и хранили еще след и теплоту ее рук. Поэтому Иван подолгу всматривался в доски кухонного стола, где готовила мать обед и ужин, гладил черенок ножа, которым она резала хлеб, нюхал подушку, на которой мать спала и умерла, и сам никогда не спал на ней, чтобы подушка была в целости... Если шевелилось листьями дерево на ветру, то Иван видел, что и листья складывались так, что они походили на лицо его матери, а затем это ее лицо вдруг исчезало, прежде, чем Иван

успевал всмотреться в него. И в жилах древесины, что были в досках забора, равно и в лице далекой женщины, идущей навстречу, Ивану чудился родной, исчезнувший и вновь приближающийся к нему облик матери. Однако, как только Иван вглядывался в древесный рисунок на заборе, ничто в нем не оказывалось похожим на образ матери, и встречная женщина также была чужой и незнакомой. И всегда, лишь только сердце Ивана начинало радоваться, как видение матери затемнялось перед ним, и другие, неизвестные образы и лица глядели на него. Тогда он переводил свой взор в землю, или на подорожную былинку, или еще куда-либо; слабый ветер шевелил земляные крошки, и былинка кивала головкой, а Ивану казалось, что он понимает их неслышные голоса: «Мы тоже сироты, мы тоже живем без отца и матери...»

После похорон матери к Ивану переселилась жить старшая сестра отца тетка Лукерья, чтобы мальчик не погиб один без призрения. Лукерью Иван видел давно, она жила в дальней деревне, и забыл ее. Когда она приехала и поставила в горнице свой сундучок с вещами, Иван внимательно оглядел Лукерью.

— Ты не мама! — сказал он.

Иван думал, что мать еще когда-нибудь придет домой и он увидит ее. Может быть, постучит ночью в окно незнакомая женщина, Иван откроет ей дверь, она войдет, снимет платок с головы, и Иван узнает ее — это пришла мать; и снова она расскажет ему сказку, самую интересную, ту, которую не успела или забыла рассказать...

Днем Иван по-прежнему ходил работать на камни, а тетка Лукерья оставалась дома; она готовила обед себе и племяннику Ивану и кроме того вязала из шерсти на продажу чулки и варежки; она привезла с собой из деревни шерсть и теперь работала ее, добывая себе хлеб и коротая в труде затянувшееся время своей жизни: Лукерье без малого было уже восемьдесят лет.

Ночью Лукерья спала на кровати, а Иван лежал на постилке на полу. Иван просыпался ночью или под утро и слушал — не постучит ли мать в окно. Но тихо шли темные ночи, и никто не стучался; Ивану казалось тогда, что мать удаляется от него по пустой дороге все дальше и не вернется.

В зимние холода Иван из-за плохой одежды не ходил на работу; у него не было валенок, обувался он в материнские башмаки и в старый отцовский пиджак, истертый и заношенный, в котором уже не грела вата. В эти дни Иван сидел против Лукерьи и глядел в ее лицо и на руки, как она вязала варежки и шепотом вела счет петлям. Иван видел, что Лукерья на мать совсем не похожа, но если он долго глядел на старуху, то ему начало казаться, что откуда-то издали, из глубины глаз старой Лукерьи, словно скрываясь за ее лицом, на него глядит сама мать, — и тогда старуха становилась похожей на нее; та же доброта и задумчивость были в это время во взоре Лукерьи и та же терпеливая сила в ее больших руках, что и у матери.

— Тетя, ты за кого живешь? — спросил Иван однажды Лукерью; в тот зимний ледяной день окна их жилища были завьюжены морозным снегом и в полдень было сумрачно, как вечером. — Ты за кого живешь?

Лукерья не поняла его, что он спросил.

— Я за себя живу, за кого же надо! — ответила она. — И тебя вот еще я берегу, пока вырастешь, — ты еще малолеток.

— А я за маму, я за маму живу. Я не сам! — с важной гордостью сказал Иван. — А за тебя можно жить?

— За меня не надо, за меня нельзя, — проговорила старуха. — А я то что ж буду делать?

— А ты что будешь? — спросил Иван и задумался. — Ты тоже будешь, а то тебе плохо…

Лукерья поглядела на мальчика, стараясь понять его разум.

— А чего мне плохо?.. Мне не плохо, я еще и глазами без очков вижу, и руки у меня живые, ишь — работают, что можно… Ноги только у меня болят, и харчи дорогие стали, война идет…

— Давай у меня будут ноги болеть, а у тебя нет, у тебя не будут! — сказал Иван. — Я за тебя буду на них ходить…

— К чему ж это такое нужно тебе? — осерчала немного Лукерья, удивляясь глупости мальчика. — Еще управишься быть и калекой, и старым, всего узнаешь…

— Давай я старым буду! — попросил Иван.

— Да к чему тебе такое?.. Я-то молодой оттого не стану, что ты старым будешь!

— Ты не умеешь? — спросил Иван.

— Не умею, нету, — вздохнула старуха. — А если бы сумела я быть молодой, так разве я так бы жила!..

— А как же, тетя Лукерья, а как же?

Лукерья отложила моток шерсти и вязальные крючки, встала со скамьи, улыбнулась повеселевшим лицом и притопнула больными ногами.

— Я бы тогда кругом света плясать пошла!

Старуха опять села на скамью и взяла шерсть.

— А теперь я, что же, теперь я не своей жизнью живу… Да жаловаться-то, Ваня, некому, и другие люди, получше нас, и те живут не по-своему…

— А пусть они живут по-своему, — сказал Иван.

— По-своему они, стало быть, жить не могут, — ответила Лукерья, — они слабосильные…

— А надо им по-своему жить, а так не надо! — произнес Иван. — Пусть они хорошо живут, а если плохо, то помрут. А отчего они слабосильные? Я сильный!

— Чего ты говоришь, чего не понимаешь! — осудила Лукерья. — Кто мы такие с тобой? Ты сам-то за себя жизнь проживи, а то уж и за меня хочешь и за других думаешь!

— А как за себя надо, я не знаю, — сказал Иван. — Тетя, расскажи мне сказку, как мама, тогда я буду думать о тех, кто в сказке, и жить за них, как они…

— Сказки я, Ваня, прежде знала, а теперь давно их забыла, — ответила старуха. А ты живи по правде, ты уж сам себе хлеб зарабатываешь, чего тебе сказка нужна!

— Я буду по правде! — согласно сказал Иван.

Он огляделся в сумрачном холодном жилище и почувствовал озноб. Но он вспомнил, что здесь жила его мать, она дышала здесь, он грелся возле нее, когда спал; он вспомнил тепло ее и то, что она лежит теперь в могиле, в мерзлой земле, и не жалуется никому, что ей плохо, он стал согреваться, думая о матери.

— Тетя, а у нас сейчас теплее стало…

— Отчего теплее? Мы печь-то нынче не топили! А со вчерашнего дня все уже повыстудило…

— Нет, у нас тепло, — говорил Иван. — Я чувствую.

— Это неправда, холод кругом, — сказала Лукерья. — Щепай лучину, картошку пора варить.

Щепая лучину, Иван услышал далекие выстрелы и крики многих людей. Эти звуки происходили где-то в середине города, и что там было — неизвестно. Сам этот город был небольшой: если в летнее время смотреть от крайнего, последнего дома в городе, в котором жил Иван и его родители, то можно увидеть поле на другой окраине города. Люди здесь существовали огородничеством, ремеслом и работой на железной дороге; однако и этот малоизвестный город был необходим, потому что в нем жили люди.

Услышав выстрелы, Лукерья пошла к соседям. Вернувшись, она сказала, что в городе началась другая революция — первая была в феврале месяце и та, первая, была тихая и незаметная, а теперь в городе действуют и стреляют какие-то большевисты, и что будет — неизвестно; может быть, будет хлеб, а может быть, его не будет; однако же, соседи говорят, что пшено теперь подешевеет, проса родилось много, а большевисты говорят — народ надо кормить.

— Большевисты! — сказал Иван. — Это люди?

— Ну а кто же! — ответила старая Лукерья. — Все люди, да люди разные. Ни то правда про них говорят, ни то нет, — хоть бы на старости лет пожить. Говорят, они добрые.

— А кто добрые?

— А большевисты же эти... Я к портному сейчас ходила, к Ефстафию Тимофеевичу, он говорит: пускай будут большевисты, сыты будем, просто жить будем, у них сердце вместе с умом живет, я их знаю, говорит, я сам политик, и от радости нитку в иголку без очков вдел. Теперь я, говорит, видеть начинаю насквозь, в свое время живу, я люблю политику, портной говорит...

— А что политика? — задумался Иван. — Ты видала ее?

— Нету, я не видала ее... Должно быть, еда, что ль...

Они поужинали и легли спать, а когда ночь прошла и стало светло, Иван пошел в середину города — посмотреть, что там есть.

На базарной площади находилось много людей; они стояли и слушали, что говорил им один человек, который под-

нялся надо всеми, потому что стал в водонапойный желоб у колодца. Рассказав, что нужно, этот человек ушел, и на его место поднялся другой. Он был одет в изношенную солдатскую шинель и шапку. Иван пробрался близко к деревянному желобу и теперь слышал и видел говорящего человека хорошо. Человек говорил то злобно, то по-доброму, то грозил рукой вперед, то прижимал руку к себе, будто привлекая к своему сердцу всех молчащих и слушающих его. Однако и в гневе, и во время доброго чувства в глазах говорящего сохранялось тихое спокойное счастье, а худое усталое тело его в старой шинели делало его близким и знакомым для слушающих его бедняков города и приезжих крестьян.

— Не вечно, не навсегда будут у нас голод, холод и тоска жизни, а свобода будет у нас отныне и навеки! — сказал этот человек-солдат и улыбнулся народу своим измученным лицом, в котором открылось в эту минуту все его сердце.

Иван увидел, что так же улыбалась когда-то его умершая мать, и она тоже была худа от бедности и добра душою, как этот неизвестный человек.

— Фабрики и заводы были чужие, земля была чужая, и солнце светило не на нас, а мимо, — говорил далее человек, — а теперь власть наша и все наше. А поскольку так, постольку, товарищи, пускай каждый живет и существует нормально всей жизнью и по своему желанию. А то было так, что человек родился и чувствует себя — ему надо делать одно, а он делает другое: у него желание лежит, может, картины рисовать, дома складывать или шорником быть, а его черная сила капитализма неволит, чтоб он всю жизнь песок в пещере копал или камень долбил для мостовой, и нет ему более дороги никуда…

— А почем хлеб при свободе будет? — спросил чей-то старый голос.

Говорящий солдат умолк, а потом сказал сердито:

— Как так — почем хлеб при свободе будет? А ты почем хочешь, чтоб он был?

— Я-то? — сказал прежний старый голос. — Да нам бы лучше, чтоб хлеб даром был, пускай каждому ломоть получается!

— Будет и даром. Все в наших руках! — ответил солдат. — Руки поработают, сознательность появится — и даром будет

хлеб… Свобода и хлеб одно и то же, как жизнь в теле, так мы полагаем…

— Правда, правда твоя! — воскликнул издали громкий голос женщины. — В неволе человек сыт не бывает!

Разговор пошел далее-далее, но Иван уже более не понимал и не слушал слов; он все глядел на говорящего солдата и думал о том, где он живет, есть ли у него отец с матерью и что он будет делать теперь, когда народ уйдет домой, а он останется один.

Потом говорили другие люди, они говорили по очереди весь день, пока не стало смеркаться и время не пошло к ночи. Тогда народ, задумчивый, но обрадованный надеждой на лучшую жизнь, начал расходиться по дворам. Бедные люди говорили меж собой, что теперь должно статься легче жить, потому что нельзя постоянно существовать в нужде и недостатке, как при смерти, и время пришло светлой жизни, давно уж ей пора быть.

Говоривший солдат поднял бадью с водой из колодца, напился с краю и вытер рыжие усы, чтоб на них не замерзла вода. Увидев Ивана, все глядевшего на него, он спросил:

— А ты что стоишь, мальчуган? По тебе отец с матерью дома давно соскучились!

— Их нету, — сказал Иван.

— Нету? — спросил солдат. — Это плохо, но ничего, живи теперь один, живи с нами, человечество большое, не соскучишься… А где у вас тут постоялый двор, либо трактир, что ль, с ночлегом?

— Не знаю, мы дома ночуем, — ответил Иван.

— Ты-то дома ночуешь, а мне негде, — сказал солдат, — дома нету… Ну прощай пока, ступай ужинать и спать…

— А ты? — спросил Иван.

— Да я найду место, куда-нибудь денусь, кругом же своя Россия…

— А ты к нам иди! — попросил Иван. — У нас комната и кухня есть, ты на кровати под одеялом будешь спать…

Солдат посмотрел на Ивана долгим радующимся взглядом, словно постепенно узнавая в Иване того, кого давно искал и уже забыл в лицо, а встретив, не сразу понял…

2

Как вечное время, неподвижно стоит детство в воспоминании человека. Более позднее время, время юности и зрелости, течет, проходит и тратится в забвении, но детство лежит подобно озеру в безветреной стране нашей памяти, и образ его хранится внутри человека неизменным до самой кончины...

В тот день, когда Иван встретил говорящего солдата, окончилось его детство. Солдата звали Антоном Александровичем Аркиным. Он остался работать в городе и стал жить вместе с Иваном в комнате и кухне, а самого Ивана и его тетку Лукерью Антон Аркин взял на свое попечение, то есть стал их кормить хлебом из своего жалованья.

— Я один остался на свете, я с детства живу сиротой. А одному не естся, не пьется, одному не живется, — говорил Аркин.

— Спасибо вам, — благодарила за хлеб Лукерья.

— А чего спасибо! — отвергал Аркин. — Хлеб от солнца идет, от земли, от народа. Вам спасибо за приют, за родство...

Как только Аркин поселился вместе с Иваном и старой Лукерьей, так жизнь для Ивана переменилась; их стало теперь трое людей, хозяйства прибавилось, и дома теперь было жить нескучно. Просыпаясь по утрам, Иван подымался первым и зажигал свет в лампе, как делала когда-то мать.

Аркин служил в городе в должности военного комиссара. Он уходил на работу с утра и находился на службе до самого позднего вечера. Ивану он не велел больше ходить работать на камни, и нигде не велел ему работать, а отдал его в школу.

Стал Иван учиться, но учился он вначале плохо. Он каждую букву в книге рассматривал как отдельную живую фигурку или картинку. Поэтому ему трудно было научиться читать. Он видел в книге разнообразие непохожих одушевленных фигурок, живущих по своей самостоятельности, а не повторяющееся однообразие тридцати шести знаков.

Учительница прилежно учила Ивана Гвоздарева, она писала мелом на доске булку «о» или другую и говорила:

— Вот, Иван, ты видишь кружок, это буква «о» и всегда, когда кружок, значит, здесь буква «о».

— А они не ровня! — говорил Иван. — Одна буква «о» вон пожирней, она побогаче, а другая худая, она бедная…

— А читаются они одинаково! — говорила учительница. — Ты это запомни!

— Я упомнил уже! — без охоты соглашался Иван и думал втайне, что, сколько букв в книге, столько и звуков, и нет между ними одинаковых.

— Ты слушай меня, Иван Гвоздарев! — говорила учительница. — А если ты по-своему будешь думать, ты ни читать, ни писать, ни считать никогда не научишься…

— Я буду слушаться, — отвечал Иван, потому что учительница была добрая к нему, она говорила с ним как с важным старым человеком, и он полюбил ее и согласен был делать для нее все, что она считает нужным и правильным.

АФОНЯ

Афоня был маленький человек, ему было от роду шесть лет. Но сам Афоня думал, что он живет давно, что он жил всегда и без него ничего не было — ни бабушки Марфы*, ни ихнего дома, ни солнца, ни травы, ни воробьев и мошек, и ветер без него не дул. Все они тоже давно живут — и тетка, и дом, и старый плетень. Но Афоня знал, что они без него не жили. Им было скучно без него, потому что Афоня был на свете самый главный, и они живут оттого, что он есть и находится с ними.

Проснувшись поутру, Афоня оглядел комнату — все ли предметы в ней живут на своих местах и ожидают его? Потом огляделся вокруг — все ли цело, как было? Все было на месте, ничто не ушло от него. Тощая сухая скамья дремала на полу, и на ней сидел дед; он, видно, пришел с ближнего поля и ел тюрю с маслом. Низкий стол, сделанный дедом когда-то в старинные годы, стоял на толстых ножках и ухмылял-

* Первый вариант — «тетки». — *Примеч. Н. К.*

ся добрым деревянным лицом, которое было ящиком, где лежали ложки; солнце за окном светило на небе, а в окно снаружи бился и пищал комарик, прося, чтобы его пустили в избу к Афоне. «Обождешь пока, я к тебе скоро сам во двор выйду», — сказал [Афоня]*.

— Вставай, Афоня! — будил поутру дедушка Иван Емельянович своего внука. — Гляди-ко, солнце-то уж куда взошло и трава от росы давно обсохла. Вставай скорее, а то будешь долго спать, гляди, во сне-то так и состаришься!..

Афоня, однако, не проснулся. От голоса дедушки он только потянулся и еще крепче заснул, чтобы не слышать его. Он видел во сне голубую траву, говорящую слова, и синюю реку, поющую тихую песнь, как мать ему пела, когда она жила на свете.

— Афоня, Афонька! — звал дед Иван. — Вставай, сиротка моя, а то мне скучно одному!

Но Афоня опять не проснулся. Он спал на соломе в погребе, куда дед Иван собрал на сохранность свои последние пожитки. А вся деревня, где они жили, погорела от немцев, от нее остались одни уголья, и поверх углей выросла трава. Афоне было сейчас пять лет от роду, и уже шестой пошел. Однако он не помнил, когда родился. Он думал, что живет давно, вечное время и был всегда на свете.

А дед все смотрел на спящего внука, на его милое белое лицо, выражавшее кроткую душевную жизнь, и в его чуть приоткрытые голубые глаза, озаренные, как дневное небо. Дед Иван более всего жалел, что внук не смотрит сейчас на него и не видит света, что сияет на земле.

— Афоня! — тихо сказал дед. — Пойдем мать проведаем и покличем ее!

Афоня открыл глаза и ответил:

— Пойдем, дедушка!

— Аль проснулся? — обрадовался дед. — Ну давай мы сперва картох пожуем.

— Не надо жевать, — недовольно произнес Афоня. — Пойдем к маме. Мама ничего не жует, а ты всегда есть хочешь.

---

* Окончание предложения — на утраченном листе. — *Примеч. Н. К.*

— Ну не надо, я не буду, — постыдился дед Иван. — Ты-то не привык сызмальства есть, тебе немец не давал, а я сызмальства кушать привык…

Дед Иван и внук Афоня пошли к матери Афони, что была дочерью деда. Мать Афони лежала в земле на опушке леса. Там лежали в одной могиле и все другие жители деревни, сорок четыре души. Весь народ деревни Подклетное, живший в семи дворах, был уведен немцами из деревни в лес и там побит насмерть. Деда Ивана немцы не стали убивать, потому что ему все равно мало осталось жить, он уже был очень стар. Зато немцы велели деду выкопать большую могилу на опушке леса и сложить туда всех мертвых. А маленькому Афоне немцы тоже велели жить и не тронули его. Они поставили его в лесу рядом с дедом Иваном отдельно от всего народа и от матери Афони. И Афоня видел, как на него одного смотрела его мать. А когда уже все упали убитыми, то мать Афони еще стояла немного, чтобы дольше видеть своего сына, так она любила его и хотела быть с ним. Потом у нее глаза стали белые, как слепые, и она тоже упала на землю и умерла.

Немцы сказали тогда деду Ивану, что теперь все партизаны, которые вышли из Подклетного, сразу осиротели без отцов и матерей, а у кого были дети — те стали бездетными. А ты, сказали немцы деду, и сам скоро умрешь — от старости и от тоски. А этот, показали они на Афоню, пусть один живет, пусть он весь век нас помнит и другим рассказывает о нас предание, чтоб нас боялись еще тысячу лет.

— А ты их, Афоня, не бойся, — сказал тогда дед. — Ты их забудь!

Афоня грустно посмотрел на деда.

— От них мама умерла. Они ее огнем убили. Я их упомню.

— И то, Афоня, ты упомни их, — согласился дед. — Стар уж я стал и на сердце глупый.

— А ты опомнись, дедушка, — сказал тогда Афоня.

Они прошли на опушку леса. Березы росли возле крестьянской могилы, и ветер шевелил листья деревьев, как будто через лес тихо шли высокие невидимые люди и касались ветвей.

— Мама! — сказал Афоня в землю. — Иди домой, давай опять будем жить. Дедушка избу новую будет рубить из леса*

В 2000 ГОДУ

Седой, но еще бодрый и упитанный старик, с розовыми щеками, с ясными свежими глазами, с усами, в начале опущенными, а затем концами поднятыми кверху в знак жизненной силы, и с бородой, растущей надвое, потому что в одном пучке весь густой волос не вмещался, — этот старик резво подвинул свое кресло к нагретой изразцовой печи, отпил из стакана глоток минеральной воды, чтобы превозмочь изжогу, которой он страдал еще со времен Отечественной войны, в результате, как он заявил, контузии фугасом, затем он велел потушить большую люстру под потолком и оставить лишь настольный нежно-матовый свет, дабы иметь лучшее настроение по поводу далеких задушевных воспоминаний, сделал посредством глубокого грудного покашливания осадку голоса, потрогал медали на груди, оглядел взором, уже отрешенным от нынешнего дня и постепенно погружающимся в сумрак ушедших героических времен, молодое поколение, безмолвно и почтительно окружающее его в ожидании рассказа о славных деяниях, вздохнул в мысленной грусти, тронутый памятью о собственном подвиге, погладил светлую головку близстоящего правнука, хотел начать рассказ, но еще обождал некоторое время, поскольку почувствовал в этот момент особое внимание от самоуважения, выявившееся наружу посредством двух слез, и медленно начал так:

— Да, был и я солдатом… Приходим мы в Берлин…

— Прадедушка! — сказал близстоящий правнук. — А прабабушка говорила бабашке, а бабушка говорила маме, а мама мне говорила — это прабабушка ходила в Берлин, а ты нет, ты заведующий был.

---

* Предложение не окончено. — *Примеч. Н. К.*

— Как так — она, а я нет! — провозгласил прадед и, словно в свидетельство, тронул свои седые усы. — А когда же ты говорить научился, ведь ты не умел!

— А я давно живу, прадедушка, мне семь лет восьмой, я вырос уже!

— Ишь ты поколение скорое какое, а я и не заметил, я и не помнил тебя, я думал, ты глупый еще!

— Нет, я умный уже, прадедушка. Я все знаю.

Молодое поколение, которое без дыхания слушало старого ветерана*

<ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК>

1

На суд Божий явились два человека: один еле живой, умирающий, другой цветущий и радостный.

— Что ты делал? — спросил Бог первого.

— Всю жизнь умирал во имя Твое, — отвечал тот.

— Для чего?

— Чтобы не умереть.

— А ты? — спросил Бог второго.

— Всю жизнь боялся смерти и заботился только о теле своем, источнике жизни.

— Для чего?

— Чтобы не погасла в нем жизнь.

Тогда сказал Бог обоим:

— Оба вы хотели одного — жизни и ушли от нея, один — в неживой дух, ибо умертвил тело, другой — в мертвое тело, ибо забыл все, кроме тела. И оба вы мертвы. Но вот, если бы вы постигли, что плоть и дух одно, — оба были бы вечно живы и радостны радостью Моей. Не много дорог в мире, а одна, не многие идут по ней.

— Что же теперь делать нам? — спросили согрешившие.

— Понять себя и жить сначала.

---

* Предложение не окончено. — *Примеч. Н. К.*

2
Вера, Знание и Сомнение
(Сказка)

Тысячу лет тому назад жила на свете царица Вера, вечная невеста Бога. И пламенем любви и силы своей она светила над людьми и давала им радость в жизни. Искры огня ее были душами всех людей и давали им радость в жизни. Искры огня ее были душами всех живых тварей на земле, и счастье никогда не уходило со света, никогда во все время, как жила Царица Вера — пламенная Невеста Небесного Жениха.

И вот Вера была так богата сама собою, что никогда не мотала богатства своего. Она отдавала людям любовь и силу свою без счета и возврата и наконец совсем отдалась миру и перестала жить. Но зато в каждом дыхании жизни светил ея свет, и вся земля наполнялась Верою, и росла к небу Любовь, как свет из пламени.

Но прежде чем сойти в мир, каждой душе Вера дала свет свой и рассеялась оттого, как Бог рассеивается ночью в звездах небес.

Везде была Вера — и нигде ее не было. Это было оттого, что она променяла свой могучий единый Свет на миллионы искр. Искр-душ в мире стало миллион, но это были искры, а не Солнце, как тысячи медных копеек хоть и стоят золота, но не золото.

Вера раньше знала только одна про самое себя, теперь ее узнало все живое, ибо она разменялась ради этого Знания из-за любви своей, у великого хитреца менялы — Сомнения.

Сомнение променял все золото Веры на медяки и пустил их в оборот по миру.

Исчезла со Света Вера, ибо Она разменяла у Сомнения свое золото уверенности и надежды на медяки Знания, а золото оставила у менялы Сомнения.

3

Мужик рыбу ловил. Поймал щуку. Щука говорит:

— Пусти, мужичок, я тебя за то научу голоса всех животных, их чувствие и сознание понимать.

Мужик подумал: щуку я один раз съем, а эта наука мне на всю жизнь годится, и пустил щуку.

Едет он раз с женой. У них кобыла, а на площади чужой жеребец стоит. Увидел кобылу и заржал голосом. Мужик тут взял и улыбнулся один раз: он вспомнил щуку и понял, отчего ржет жеребец. А жена ему:

— Ты чего смеешься?

— Да так, мнительность одна.

— Нет, ты чего смеешься, говори!

— Да ничему, так показалось что-то...

— Нет, ты скажи...

— Чему. А неизвестно.

И пошло между ними страшное настроение. Мужик потом уж объяснял — по правде объяснял, а жена не верила: дюже просто, этому не смеются.

И начала жена его грызть, пригнетать, а мужик заскорбел, в тоску вдался, не мог жить. А щука ему говорила — если ты кому скажешь, чему я тебя научила, то сразу помрешь. Мужик уж собрался сказать жене про щуку, чтоб умереть и не жить с такой женой.

Вот раз на дворе собака брешет, корова мычит, гусак гогочет. Мужик все это понимает: корову поить пора, гусак глотать захотел. Вышел он, видит куры-квочки на все голоса разошлись, а петух сначала молчал среди них, а потом как заорет:

— Да вы что такое, что такое, куры-суки такие! Что я вам — наш хозяин, что ли: он с одной бабой справиться не может. Я вас вот сейчас расставлю, усмирю! — И как пошел их рвать и от проса гнать — одни перья летят.

— Я вас, дуры-старухи, квочки-молодухи! Я вам не хозяин, старый петух!

Тут мужик взял хворостину и пошел лупить жену.

Потом он всю жизнь смеялся без допроса, без ревности.

4

Дьячок деньги в церкви поворовывал да водочку помаленьку попивал. А деньги на чердаке иль на потолке прятал.

Жена дознаться не может. Пристала, томить начала. Измучился дьячок — сознался: в церкви беру.

Потом, как обыкновенно, не поладили они из-за лучинки. Жена разъярилась от драки с дьячком, выбежала на улицу, орет:

— Муж церкву обокрал, муж церкву обокрал, муж...

Мужа взяли. Дело было в старину, везут его на срамоту среди народа, а далее палач стоит. Дьячок не боится казни, не думает, а знай кричит народу, то направо, то налево, — то направо, то налево:

— Не говори правду жене, не говори правду жене...

— Ты о смерти думай! — отвечают ему.

— Умру, жены не будет! — (дважды) дьячок кричит.

5

Бог жил в раю, при нем для услуженья кухарка и собака. Кухарка не управлялась, бог мужика сделал. А мужику нигде не нравится, и в раю тоже, начал скулить, жаловаться. Бог подумал: дай я ему бабу сделаю, я-то ведь с кухаркой живу, мне ничего, а мужику скучно.

Но мужик сам тоже сошелся с кухаркой, наравне с богом.

Спрашивает бог у кухарки:

— Кухарка!

— Что тебе, бог?

— Из чего ж мы ему бабу сделаем?

— У, да из чего хочешь. Жир у него с задницы оторви да сделай. Либо ребро отломи.

— Лучше ребро. Пойди, кухарка, разложи его да отломи его.

Пошла кухарка делать. А мужик узнал, мечется: на что ему жена, ему с кухаркой хорошо.

— Да как же будем-то? — кухарка говорит.

— А никак. Пойди у сучки вон хвост оторви, пускай бог из него делает. Общипи хвост, скажи, что это мое ребро.

— Ну ладно.

Погналась кухарка, схватила собаку, оторвала живьем ей хвост, общипала от шерсти и дала богу, сказав: вот мужицкое ребро. Бог не понимает, и сделал женщину из сучьего хвоста — оттого все бабы так злы на свете, а кухарки много добрее.

6
Забытая сказка
Самая старая сказка

О чем была рассказана сказка.

Отец мне рассказывал сказку, а отцу рассказывал его отец, мой дедушка, а мой дедушка слышал эту сказку от своей бабушки — etc., etc., etc.

— О чем же была сказка?

— Вот я и забыл. А сказка была самая интересная. Ее рассказывал самый старый дедушка…

— Какой самый старый дедушка?

— Его все забыли. Не знаю какой…

БАШКИРСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

СКАЗКА О КУРАЕ

В давние времена жил один хан. Хан этот был очень жадный и злой.

Каждую неделю хан брил себе голову: для этого он всякий раз призывал из аула молодого егета, а потом домой его не отпускал. Так пропадали лучшие егеты аула. Люди жили в постоянном страхе и так были запуганы, что не знали, как спастись от хана, ослушаться которого никто не смел.

Жили в ауле бедные старики. Было у них три сына. И вот дошла очередь до сыновей старика.

Пошел к хану старший сын и не вернулся. Через неделю хан позвал другого сына — пошел к хану средний сын и тоже не вернулся домой. А через неделю пришли от хана звать и последнего сына.

Жили старики очень бедно. Все, что у них было съестного, мать уже отдала на дорогу старшему и среднему сыновьям, а младшему нечего было и дать. Но мать все же придумала, что дать на дорогу сыну. Она замесила на своем молоке тесто из лебеды и напекла сыну лепешек. Взял егет эти лепешки, распростился с родителями и отправился в путь.

Вышел он на пригорок, оглянулся в последний раз на родные места, где он родился и вырос. С глубокой тоской запел он, прощаясь с родным Ирандеком, с журчащими ручьями, с душистыми лужками, с тенистым лесом и родными горами.

Через несколько дней дошел егет до ханского дворца. Как только его привели к хану, хан дал ему свой остро отточенный нож и приказал обрить голову.

Хан снял корону, и егет замер от удивления: на голове у хана торчал рог.

Но удивляться было некогда.

Когда егет обрил хану голову, хан сказал: «Посиди тут» — и вышел.

А егет очень проголодался. Он вынул последнюю лепешку и начал есть ее. В это время вернулся хан. Он увидел, что егет жадно ест что-то такое, чего он сам еще никогда не видел и не пробовал.

Сказал хан егету:

— Что ты ешь? Отломи-ка и дай мне попробовать.

Егет отломил хану кусочек лепешки.

Хан съел и говорит:

— Как вкусно! Из чего это испечено?

— Моя мать замесила на своем молоке тесто из лебеды и испекла эти лепешки, — ответил егет.

Хан удивился и не знал, что делать.

«Я съел лепешки, испеченные на молоке его матери. Теперь, выходит, я стал его молочным братом, и его кровь мне проливать нельзя. Если же я не убью его, он расскажет всем, что на голове у меня рог, — думал хан. — Чтобы избавиться от этого егета, пожалуй лучше будет отвезти его туда, где не ступала нога человеческая, и оставить там».

Позвал хан своих слуг и приказал им отвезти егета в дремучий лес.

Ханские палачи связали егета по рукам и ногам, завязали ему глаза и повезли.

Они сбросили его с коня в непроходимом лесу, где бродят одни дикие звери.

Долго жил там егет, кормился кореньями и ягодами. Он смастерил лук и стрелы и охотился на зверей, а из шкур сшил себе одежду, потому что старая одежда на нем вся износилась. Все время тосковал он по отцу и матери и всем сердцем стремился к родному Ирандеку, да не знал, как туда дойти.

Однажды скитался он по лесу, устал и прилег под деревом отдохнуть.

Вдруг егет услышал какие-то приятные звуки. Он вскочил на ноги и пошел в ту сторону.

Шел он долго, сам не зная куда; наконец поднялся на вершину горы. Тут он увидел высокую высохшую траву с полым стеблем и мохнатой головкой. Трава покачивалась на ветру и издавала приятный звук. Егет сорвал сухую траву, сделал длинную дудку — курай, подул в нее и опять услышал приятные звуки.

Егет обрадовался своей находке. Каждый день он подолгу учился играть на этой дудке. Научился он наигрывать разные песни, какие знал еще дома и какие приходили ему в голову. На сердце у него стало легче.

Как-то шел он через леса и горы многие дни и дошел до родных мест. Устал егет с дороги, сел на пригорок и увидел родной аул. Взял он свой курай и начал играть.

Услышали люди из ближайшего яйлау звуки курая и пришли к егету.

Егет рассказал народу обо всем, что с ним было: о том, почему хан убивает молодых егетов, о том, как он спасся от гибели.

Тогда весь народ поднялся на хана и расправился с ним за его жестокость.

И с той поры в башкирском народе курай переходит из поколения в поколение и играют на нем хорошие, задушевные песни.

АМИНБЕК

Когда-то, давным-давно, жили старик со старухой. У них был сын Аминбек. Родители хотели сделать Аминбека богатым торговцем. Однажды они дали мальчику сто рублей и велели идти учиться торговать. А Аминбек хотел получить знания в науках и искусстве.

Пришел Аминбек в один город, переночевал там, а наутро вышел на улицу.

Тут он услышал, как проходивший мимо глашатай возвещает:

— Кто хочет научиться хорошо писать, пусть идет к учителю письма!

Аминбек тут же отправился к этому человеку и условился за сто рублей обучаться у него письму.

Он научился писать так искусно, что мог прочитать любое письмо и писать почерком, похожим на почерк любого человека. Когда прошел год, Аминбек возвратился к родителям. Мать с отцом были очень огорчены, что их сын не научился торговать.

Старик со старухой дали ему еще сто рублей и опять отправили его: они велели ему на эти деньги научиться торговать. Поехал Аминбек в один город, переночевал там, а наутро вышел на улицу. Тут он встретил глашатая, который кричал:

— Кто хочет научиться играть в сарташ, пусть идет к мастеру игры!

Аминбек обратился к этому человеку, уплатил сто рублей и стал учиться у него игре в сарташ. И он научился играть так хорошо, что стал побеждать самых лучших игроков.

Прошел год, и Аминбек отправился домой.

Родители побранили его за то, что он зря переводит деньги и обучается пустякам. Затем они дали ему еще сто рублей и опять велели, чтобы на эти деньги он научился торговать.

Как и прежде, Аминбек приехал под вечер в один город, переночевал, а поутру вышел на улицу и встретил глашатая, который кричал:

— Кто хочет научиться играть на скрипке, пусть идет к искусному скрипачу!

Аминбек пошел к этому человеку, уплатил сто рублей и стал учиться играть на скрипке. Прошел год, и он так хорошо научился играть, что, пожалуй, во всем свете не было другого такого скрипача. После ученья Аминбек отправился домой.

Старик со старухой жестоко выбранили его за то, что он опять занимался пустяками. Им стало стыдно перед людьми, что у них такой непослушный сын; они продали дом, все свое добро и решили переселиться в другое место.

Они добрались до одного города и сильно проголодались в пути. Но денег у них не было даже на хлеб.

Рассердились они на Аминбека.

— Из-за тебя оставили мы свой аул, из-за тебя без денег сидим, — ворчали старики на Аминбека и отдали его в услужение богатому владельцу каравана.

Однажды этот караван проходил по безводным местам. Всех стала мучить жажда. Люди спустили ведро в колодец, но оно никак не могло достать до воды. Тогда владелец каравана объявил:

— Кому-то из нас надо спуститься в колодец и во что бы то ни стало достать воды, иначе мы погибнем от жажды. — Он посмотрел на Аминбека и сказал: — Ну-ка, мальчик, спустись ты!

Аминбека обвязали веревкой и спустили в колодец. Там он осмотрелся кругом: воды в колодце не оказалось. Зато

в одном углу лежала целая куча золота. Аминбек наполнил спущенное ведро золотом и крикнул, чтобы тянули. Люди наверху увидели золото, очень обрадовались и сейчас же спустили ведро обратно. Аминбек опять наполнил его золотом. И так он отправил наверх сорок ведер золота. После этого он крикнул, чтобы вытащили его самого. Люди начали его поднимать, а потом остановились и стали рассуждать: «А ведь если он выйдет из колодца, он может завладеть всем золотом».

Рассудив так, жадные торговцы обрезали веревку и отправились дальше своей дорогой.

Аминбек с грохотом свалился на дно колодца и сильно ушибся. Когда он поднялся на ноги и увидел, что веревка обрезана, то горько заплакал. Но потом решил, что слезами горю не поможешь. Он стал смотреть вокруг, нашел конец какой-то другой веревки, потянул ее — открылась дверь, и Аминбек вошел в просторную, богато убранную комнату. Посреди комнаты на ковре лежал дею; он еле дышал и, увидев Аминбека, поманил его к себе. Дею показал на скрипку, висящую на стене, и знаками стал просить его поиграть на скрипке.

Аминбек обрадовался скрипке, взял ее, настроил и заиграл. Дею оживился и стал подниматься с места. Потом он сел и, не сводя глаз с Аминбека, слушал его игру. Когда егет кончил играть, дею встал и начал кланяться и благодарить его. Он сказал:

— Своей игрой ты излечил меня от страшной болезни. Скажи мне, чего ты хочешь, и я исполню твое желание.

Аминбек рассказал, как все случилось, и попросил дею вынести его на землю.

Дею кивнул головой, подхватил Аминбека и полетел с ним. В один миг они оказались около того колодца, где останавливался караван. У колодца стоял ишак, на котором ехал Аминбек. Дею подхватил и ишака и опять полетел, как ветер. Спустил он Аминбека с ишаком на месте привала каравана, а сам куда-то исчез.

Когда владелец каравана увидел Аминбека целым и невредимым, он тут же написал два письма и передал их Аминбеку. Он велел ему отправиться с письмами вперед и сказал,

что хочет порадовать жену и знакомого купца вестью о своем скором возвращении.

Аминбек тронулся в путь и дорогой решил посмотреть, целы ли письма. В кармане оказалось только письмо к знакомому купцу, а письмо к жене потерялось. Как ни искал Аминбек, но второго письма не нашел и таким же почерком, как у владельца каравана, написал другое письмо:

«Скоро возвращусь. Мальчика, который доставит это письмо, приюти в нашем доме, корми и одевай».

С этим письмом он приехал к жене владельца каравана.

Жена владельца каравана прочитала письмо и ласково приняла мальчика.

Ночью, когда все жители города легли спать, в одном большом доме горел свет.

— Почему, когда все люди спят, вон там светится огонь? — спросил Аминбек хозяйку.

— Там живет правитель города. Он очень любит играть в сарташ и, наверно, занят этой игрой. Тому, кто его обыграет, он обещает уступить свое место.

Аминбек отправился к правителю города, и правитель спросил его:

— Эй, егет, зачем ты сюда явился?

Аминбек ему ответил:

— Хочу играть с вами в сарташ.

— Ладно, — сказал правитель города. — Если ты, мальчишка, осмелился играть со мной в сарташ, то у меня есть условие: выиграешь — будешь вместо меня править городом; проиграешь — казню тебя!

И вот правитель города сел играть с Аминбеком. Он подвигал свои шашки туда-сюда и запер шашку Аминбека.

— Будем играть до тех пор, пока кто-нибудь из нас не выиграет три раза подряд, — сказал правитель города.

Начали играть второй раз, и снова выиграл правитель города. Он сказал Аминбеку.

— Эй, мальчик, не губи свою голову, уйди, пока не поздно!

Аминбек не захотел уйти, и они опять расставили шашки. Аминбек стал двигать шашки туда-сюда и выиграл. Стали еще играть — опять Аминбек выиграл. Тут правитель го-

рода за голову схватился, но опять они расставили шашки, и Аминбек выиграл в третий раз.

После этого правитель города сказал:

— Я искал вместо себя человека со знанием и умом. Вот он и нашелся. Я стар стал, не могу больше править городом.

Тем временем в город вернулся прежний хозяин Аминбека — владелец каравана.

— Ну, жена, как ты поступила с моим посланцем?

Жена ответила:

— Как ты мне велел — приняла его в наш дом, накормила, одела.

— Ах ты глупая женщина! Разве это велел я тебе делать? Ну-ка, дай мне письмо, я покажу тебе, что я там написал! — закричал муж.

Когда жена подала ему письмо, он увидел, что там его почерком было написано:

«Скоро возвращусь. Мальчика, который доставит это письмо, приюти в нашем доме, корми и одевай».

Владелец каравана был удивлен и спросил:

— А где же он сейчас?

Жена ему ответила:

— Он теперь стал правителем нашего города.

Услышал это владелец каравана и еще больше удивился.

Вскоре разыскал Аминбек своих бедных родителей.

Увидели они сына, обрадовались. Сын их хотел получить знания и добился этого.

Мало того: когда стал он правителем города, то открыл школы для всех детей. Там обучали их мудрейшие, ученые и искусные мастера.

Пока был Аминбек главой города, много юношей обучились разным наукам и ремеслу. И пошла слава о них по всей земле.

МУДРЫЙ СТАРИК И ГЛУПЫЙ ЦАРЬ

Во времена давно прошедшие был в одном городе молодой царь. Невзлюбил он стариков и повелел всех их убить. Лишь один егет спас своего отца-старика, спрятав его в подземелье. Вскоре молодому царю объявил войну царь соседнего государства. Молодой царь стал собирать войско. Егет, укрывший отца, перед выступлением в поход спустился к отцу в подземелье, чтобы проститься. Отец напутствовал его такими словами:

— Сын мой, вы отправляетесь в очень далекие места. Вы там будете терпеть лишения и голод. Дело дойдет до того, что вы порежете всех коней и поедите их. Даже коня военачальника, и того зарежете. После этого волей-неволей вы повернете обратно. На обратном пути все воины побросают снятые с коней седла и уздечки. А ты не бросай, хоть и тяжело будет нести. Вам встретится невиданной красоты конь. Тому, у кого не будет седла и уздечки, он в руки не дастся, а подбежит к тебе, остановится перед тобой и наклонит голову. Ты надень на него узду и отведи к военачальнику. За это военачальник приблизит тебя к себе и будет почитать своим другом. Ну, прощай, иди.

Все случилось так, как предсказал старик. В походе у войска вышел весь запас пищи, и воины стали питаться мясом своих коней. Под конец зарезали коня военачальника, съели его и двинулись обратно. Чтобы освободиться от тяжести, воины побросали снятые с зарезанных коней седла и уздечки. Лишь один егет — тот, который помнил слова своего отца, — не бросил ни седла, ни уздечки.

На обратном пути навстречу войску выбежал невиданной красоты конь. Все бросились ловить его, но он никому в руки не давался. Наконец конь сам подбежал к егету, у которого были седло и узда, остановился перед ним и склонил голову. Егет накинул на него узду и отвел к военачальнику. С этих пор егет стал другом военачальника.

Однажды царь отправился со своим войском на прогулку к берегу моря. С берега царь увидел, что на дне моря что-то

сияет. Он приказал своим воинам достать со дна моря то, что сияет. Многие воины нырнули в море и не выплыли.

Приближалась очередь нырять молодому егету, другу военачальника.

Егет быстро вскочил на коня и поехал домой. Он вошел к отцу в подземелье и рассказал ему о том, что происходит на берегу моря. Старик выслушал сына и сказал:

— Сын мой, на берегу моря растет высокое дерево. На вершине того дерева птичье гнездо, а в том гнезде лежит большой алмаз. Сияние от этого камня отражается на морской глади и освещает ее. Когда очередь нырять дойдет до тебя, ты скажи царю: «Государь, мне все равно придется умереть, а потому дозволь мне забраться на это дерево и посмотреть в последний раз в сторону родного аула». Он тебе разрешит, а ты достань из гнезда тот камень и отдай его царю.

Егет вернулся к берегу моря, и когда очередь нырять дошла до него, он сказал царю:

— Государь, мне все равно придется умереть, а потому дозволь мне забраться на это дерево и посмотреть в последний раз в сторону родного аула.

Царь разрешил ему. Егет полез на дерево. Как только он добрался до гнезда и схватил оттуда камень, сияние на море погасло. Егет спустился и поднес царю алмаз.

— Как ты дознался до этого? Когда была война, ты поймал и подарил военачальнику коня, а теперь достал и подарил мне алмаз, — удивился царь.

— О государь, — ответил егет, — и скажешь — страшно, и не скажешь — тяжело. Ну уж ладно, положусь на твою милость и скажу: я укрыл своего отца-старика, когда ты приказал убивать всех стариков, и всему, что я сделал, я научился у него. О государь мой, если бы ты не повелел убить всех стариков, много бы хороших советов они дали!

После этого царь повелел выпустить старика из подземелья, пригласил его к себе и оказывал ему большой почет.

С этого дня царь отменил свой жестокий приказ и не стал убивать стариков. Без их мудрого совета он сам ничего не умел делать.

АБЗАЛИЛ

Жили в старину в одном ауле старик со старухой, и у них был единственный сын Абзалил. Старик со старухой были очень бедными. У них не было ни скота, ни другого богатства. Вскоре старики умерли. Маленький Абзалил остался один. От отца ему досталась только охапка лыка.

Однажды Абзалил взял лыко и пошел к большому озеру. Погрузил охапку лыка в озеро, намочил, сделал мочало и стал его вить: он хотел свить длинную веревку. Пока он ее вил, из воды вышел хозяин озера и спрашивает:

— Что ты делаешь, егет?

Абзалил ответил:

— А вот кончу вить веревку и подвешу озеро к самому небу.

Испугался хозяин озера и говорит:

— Оставь, егет! Не трогай озеро. Дам тебе все, чего ты захочешь.

Задумался Абзалил. Чего же просить ему у страшного хозяина воды? И решил попросить то, чего ему давно хотелось. А хотелось ему добыть хорошего коня. А это место славилось хорошими конями.

— Дай мне самого лучшего коня, тогда я озеро оставлю на месте, — сказал Абзалил.

— Нет, егет! Не могу дать коня. Конь уйдет — славы не будет у меня, — сказал хозяин озера.

— Как хочешь, дело твое. А озеро я утащу, — сказал Абзалил и продолжал вить веревку.

Хозяин озера призадумался. Подумал немного и говорит Абзалилу:

— Эх, егет, если уж ты такой батыр и можешь утащить мое озеро, давай будем состязаться! Если ты победишь, я исполню твое желание. Будем бегать наперегонки вокруг озера. Перегонишь меня — твоя и победа!

— Хорошо, — сказал Абзалил. — Только у меня есть младший брат; если ты обгонишь его, тогда я буду состязаться с тобой.

— Где же твой младший брат? — спросил хозяин озера.

— Мой младший брат спит в кустах. Пойди туда, пошурши хворостом — он сразу и побежит, — сказал Абзалил.

Хозяин озера пошел в кустарник, пошуршал хворостом, и оттуда выбежал заяц. Хозяин озера бросился бежать за ним, но никак не мог догнать его.

Подошел хозяин озера к Абзалилу и сказал:

— Ну, егет, давай состязаться до трех раз! Теперь будем бороться.

Абзалил согласился. Он сказал:

— У меня есть дедушка восьмидесяти лет. Если ты собьешь его с ног, то озеро останется за тобой. Мой дедушка лежит в тальнике. Пойди ударь его палкой, тогда он будет бороться с тобой.

Пошел хозяин озера в тальник и ударил палкой спящего медведя. Вскочил разъяренный медведь, схватил могучими лапами хозяина озера и тут же повалил его.

Хозяин озера еле вырвался из медвежьих лап. Он прибежал к Абзалилу и говорит:

— Силен же твой дедушка! А с тобой и бороться не стану! — После этого хозяин озера сказал Абзалилу: — У меня есть шестидесятиаршинная пегая кобыла. Обнесем-ка ее вокруг озера на своих плечах.

— Обноси ты первый, а потом и я попробую, — сказал Абзалил.

Хозяин озера поднял на плечи шестидесятиаршинную пегую кобылу и обнес ее вокруг озера. Потом он сказал Абзалилу:

— Ну, егет, обнеси теперь ты.

Абзалил бросил вить веревку, подошел к огромной кобыле и сказал хозяину озера:

— Я вижу, ты не так силен. Ты ее на плечи поднимаешь, а я вот протащу ее, обхватив ногами.

Сел Абзалил на лошадь и поскакал вокруг озера.

Хозяин озера видит, что теперь ему придется исполнить свое обещание.

Он привел самого лучшего коня и отдал его Абзалилу.

Хорош был конь: саврасый, резвый, норовистый, с твердыми копытами, мохнатой челкой и короткой гривой. Бабки у него были высокие, ляжки — как у зайца, грудь — как у коршуна, круп узкий, холка высокая, хребет — как у щуки, уши острые, глаза медные, щеки впалые, подбородок заостренный.

Сел Абзалил на саврасого коня-красавца и поскакал домой.

С тех пор, говорят, в ауле Абзалил водятся хорошие кони, а все егеты там храбрые молодцы.

КТО СИЛЬНЕЕ?

Был когда-то старик со старухой, и была у них дочь. Когда дочь выросла, старик со старухой стали задумываться, какого бы ей найти жениха.

— Выдам ее замуж за самого сильного на свете, — сказал старик.

И вот, чтобы найти самого сильного, старик отправился в путь.

Пришлось ему как-то идти по льду. Лед был скользкий, старик поскользнулся и упал.

Встал старик и говорит:

— Эх, лед, ты, кажется, очень силен! Ты свалил меня с ног. Будь женихом моей дочери!

Лед и говорит в ответ:

— Если бы я был силен, я не таял бы от солнца.

Тогда старик отправился к солнцу и говорит:

— О солнце! От тебя тает лед — стало быть, ты сильнее его. Будь женихом моей дочери!

Солнце отвечает:

— Если бы я было сильным, туча не могла бы закрыть меня.

Тогда старик отправился к туче:

— Туча, туча! Ты закрываешь даже солнце, будь женихом моей дочери!

Туча отвечает:

— Если бы я была сильна, не падала бы на землю дождем.

Старик отправился к дождю и говорит:

— О дождь, ты, видно, очень силен! Будь женихом моей дочери!

Дождь и говорит в ответ:

— Если бы я был силен, земля не выпивала бы меня до капли.

Тогда старик опустился на землю и обратился к ней:

— О земля, ты сильнее всех — ты даже дождь выпиваешь до капли. Будь женихом моей дочери!

А земля и отвечает:

— Если бы я была сильна, трава не пробивалась бы сквозь меня.

Тогда старик обратился к траве и говорит ей:

— Травка, ты пробиваешься даже сквозь землю — стало быть, ты очень сильна. Будь женихом моей дочери!

А трава и отвечает:

— Человек сильнее меня! Острой косой он косит меня под самый корень.

Тогда старик пошел к человеку и сказал:

— Эй, человек, ты сильнее всех! Будь женихом моей дочери! Она красивая, умная и работящая, а на коне обгоняет любого егета.

И выдал старик свою дочь за молодого егета.

ПАДЧЕРИЦА

Во времена давно прошедшие была одна злая-презлая женщина. У нее были две дочери: одна — родная дочь, другая — падчерица. Падчерицу звали Гульбика. Мачеха заставляла Гульбику работать день и ночь: прясть нитки, теребить шерсть, стирать белье. Сколько бы Гульбика ни работала, она не могла угодить мачехе. Однажды мачехе не понравились нитки, которые спряла Гульбика, мачеха рассердилась и выбросила клубок в окно. Гульбика горько заплакала и стала искать клубок. Долго она искала, но нигде его не было, и она пошла искать его на дороге.

У встречных людей она спрашивала:

— Укатился мой клубочек. Не видали ли вы его?

— Вон в ту сторону какой-то клубок катился — твой, наверно, и был, — отвечали ей люди.

Девушка пошла дальше. И вот она повстречалась с пастухом, который пас коров.

— Укатился мой кругленький клубочек. Не видал ли ты его? — спросила она у пастуха.

— Видал, дочка. Недавно покатился вон туда — наверно, твой и был, — ответил пастух.

Гульбика пошла еще дальше и повстречалась с пастухом, который пас коней.

Расспросила она и его. Дал он такой же ответ, как и прежний пастух.

Горько плача и причитая, шла дальше Гульбика:

— Кругленький мой клубочек, куда же ты делся? Скоро ли я найду тебя? Если не найду, как же я вернусь домой? Мачеха моя будет ругать и бить меня.

Шла и шла Гульбика, а клубочка все не было. Она шла по степи, затем по берегу реки. Прошла через страшные овраги и леса.

Наконец настал вечер, стало темно. Никого не было кругом — только страшный вой зверей был слышен в лесу.

Вдруг Гульбика увидела впереди огонек. Он чуть мерцал вдали. Девушке, пока шла она на этот огонек, пришлось пройти через глубокие овраги и густые заросли. Приблизилась она к огоньку и увидела маленькую избушку. Заглянула в окошко, а там сидит старуха и прядет шерсть. Девушка робко вошла в избу.

— Здравствуйте, бабушка! — поздоровалась она со старухой.

— Здравствуй, дочка! Зачем ты сюда пришла? — спросила старуха.

— У меня, бабушка, укатился кругленький клубочек. Пошла я его искать и вот забрела сюда. Если я не найду клубка, то мачеха не впустит меня в дом, — ответила девушка.

— Ладно, доченька, не тужи понапрасну, — утешила ее старуха. — Поживи у меня несколько дней, а там и домой.

— А что я у тебя буду делать? — спросила девушка.

— Поухаживаешь за мной, за старым человеком, — ответила старуха, а сама решила испытать девушку, что она умеет делать.

— Ладно, бабушка, — согласилась девушка и осталась жить у старухи.

Наутро старуха ей сказала:

— Доченька, в амбаре есть пшено. Ты потолки его в муку и поставь блины.

— А как ставить, бабушка? — спросила девушка.

— Как поставишь, так и ладно. Налей воды, всыпь муки и взболтай, — сказала старуха.

Гульбика догадалась, что старуха хочет ее испытать. А она все умела делать; истолкла она пшено мелко-мелко, поставила тесто, но спросила:

— Бабушка, а как испечь блины?

— Как испечешь, так и ладно: пусть подгорают да коробятся, пусть коробятся да подгорают, — ответила старуха.

Гульбика испекла пышные блины, намазала их маслом и стала кормить старуху.

На другой день старуха сказала девушке:

— Доченька, я хочу помыться, надо бы баню истопить.

— А как ее истопить, бабушка? — спросила девушка.

— Как истопишь, так и ладно: наложи в печку дров да подожги, — ответила старуха.

Девушка истопила баню и вовремя закрыла трубу.

— Бабушка, баня готова. Как тебя довести туда? — спросила девушка.

— Держи за волосы да толкай в шею, — ответила старуха.

Девушка подняла старуху с места, взяла под руку, тихо и осторожно довела до бани.

— А как тебя попарить, бабушка? — спросила Гульбика.

— Колоти да колоти меня ручкой веника, — ответила старуха.

Гульбика попарила ее не ручкой веника, а его душистыми листьями, хорошенько вымыла ее и отвела в избу.

— Ну, доченька, уж как-нибудь напои меня чаем, а потом пойдешь домой, — сказала старуха.

Гульбика накормила ее досыта и напоила чаем.

— Ну, бабушка, я теперь пойду домой, — сказала девушка после этого.

— Ладно, доченька, вот тебе твой клубочек. Иди, только прежде поднимись на чердак. Там есть один зеленый сундучок. Ты возьми его себе и не открывай, пока не войдешь в свой дом, — сказала старуха.

Девушка распрощалась с нею, взяла сундучок и, радуясь подарку, пошла домой. Когда она стала подходить ко двору, из подворотни выбежала их маленькая собачонка и затявкала:

— Тяв-тяв-тяв, тетенька шла умирать, а назад идет живой и богатой!

Гульбика удивилась этому и крикнула:

— Перестань! Уходи прочь.

Собачонка не послушалась и продолжала тявкать:

— Тяв-тяв-тяв, тетенька шла умирать, а назад идет живой и богатой.

Мачеха услышала тявканье собаки и увидела, что падчерица вернулась домой. Со злости она чуть не лопнула.

Гульбика вошла в дом, открыла сундучок и глазам своим не поверила: весь он был полон золота и серебра.

Увидела это мачеха и решила: «Пусть и моя дочь разбогатеет так же, как Гульбика».

Мачеха стала расспрашивать падчерицу, откуда она достала сундук. Гульбика рассказала, как она пошла искать свой клубок и пришла к старухе.

Мать взяла клубок своей родной дочери и выбросила его за дверь. Клубок укатился. Ее дочь стала искать свой клубок, но не нашла. Тогда она, хоть и боязно ей было, вышла в поле и пошла по дороге.

Шла девушка, шла, дошла до той же старухи и так же осталась у нее.

Старуха решила и ее испытать и сказала:

— Доченька, ты бы мне блинов испекла.

— А как их, бабушка, испечь? — спросила девушка.

— Как испечешь, так и ладно: пусть подгорают и коробятся, пусть коробятся да подгорают, — сказала старуха.

Девушка ничего не умела делать: блины все подгорели и покоробились.

На другой день старуха попросила:

— Доченька, я хочу помыться, надо бы баню истопить.

— А как ее истопить? — спросила девушка.

— Как истопишь, так и ладно: наложи в печку дров да подожги, а как они сгорят, подбавь еще, — сказала старуха.

Девушке лень было пойти за дровами, и затопила она баню соломой. Не дождавшись того, когда уйдет дым и угар, она закрыла трубу. Затем она вошла в избу, чтобы повести старуху в баню, и сказала.

— Бабушка, баня готова. Как тебя туда довести?

— Да уж ладно, держи за волосы да толкай в шею, — сказала старуха.

Девушка так и сделала.

— Бабушка, как тебя попарить? — спросила она в бане.

— Как попаришь, так и ладно. Возьми да поколоти мне спину ручкой веника, — сказала старуха.

Девушка так и сделала. Потом она как вела в баню, так и домой повела старуху: держала ее за волосы и толкала в шею.

Когда они вернулись домой, старуха сказала:

— Я, доченька, после бани пить захотела. Ты уж напои меня чаем, а потом пойдешь домой.

Девушка кое-как напоила старуху чаем. После этого она сказала:

— Бабушка, не пора ли уж мне домой пойти?

— Иди, доченька, только не с пустыми руками. Возьми вот свой клубок, и еще на чердаке есть один желтый сундучок — его возьми себе. Только не открывай его, пока не войдешь в свой дом, — сказала старуха.

Девушка взяла желтый сундучок и пошла домой. Когда она стала подходить ко двору, собачонка увидела ее, выбежала из подворотни и затявкала:

— Тяв-тяв-тяв, тетенька ушла за богатством, а идет со змеями да лягушками!

Мачеха услышала тявканье собаки, очень рассердилась, выбежала во двор и стала колотить ее.

Девушка вошла в дом, сломала замок на своем сундучке и открыла его.

Весь сундук был полон змеями да лягушками. Змеи с шипеньем выползли из сундучка и стали жалить мачеху и ее дочь. А падчерицу не тронули.

БЛАГОДАРНЫЙ ЗАЯЦ

В праздничный день родители послали маленького сына звать гостей: «Зови такого-то дядю, такого-то дедушку, такого-то зятя...» — и назвали ему так много разных имен, что сразу и не упомнить.

Мальчик выбежал на улицу и тут же забыл, кого ему велели звать в гости. Вернуться домой и переспросить он не посмел. И придумал: «Позову-ка я всех своих деревенских со всех улиц, авось среди них окажутся и те, кого мне велели позвать». И он обегал с приглашением в гости все дома по обеим сторонам улиц и переулков деревни. Все благодарили за приглашение и обещали прийти. Мальчик вернулся домой.

В полдень начали собираться гости. Все жители деревни один за другим пришли и ожидают угощенья.

Отец и мать увидели людей, испугались:

— Что это такое? Где же взять угощенья для стольких людей?

А мальчик сознался, что он забыл, кого велели позвать, и потому позвал всю деревню.

Ждут гости угощенья. Собрали им все запасы, сколько было, еды в доме, но этого было мало.

— Сам испортил дело — сам и поправляй! — сказали с досады родители своему сыну.

Со слезами вышел мальчик из дому и побежал за околицу, а потом в лес. Сел там на старый пенек и горько заплакал.

Вдруг видит он, бежит к нему старый дружок — зайка. Этого зайчика мальчик нашел маленьким, вырастил дома, а когда он вырос, выпустил его в лес. Подскакал зайчик к мальчику и уселся у его ног.

Рассказал мальчик ему о своем горе. Выслушал зайчик, пошевелил длинными ушами, встал на задние лапки. Потом взял он мальчика за руку своими передними лапками и сказал:

— Ладно, не горюй, дружок! Иди домой — все будет, — прыгнул в сторону от мальчика и поскакал в лес. Только его и видели!

Послушался мальчик зайчика и ушел из леса. Вернулся домой, а там уж гости съели и выпили все поданное угощенье. Ждут еще и не уходят. Некоторые начали попрекать хозяев. Среди гостей были сердитые люди, они и говорят:

— Нечего было и звать всех, коли угощать нечем!

Выглянул в это время кто-то в окно, испугался и позвал всех посмотреть. Сначала все тоже испугались, а потом уди-

вились: что же это такое? Полна улица всяких зверей, все идут к дому, и каждый зверь что-то тащит.

Медведи катят кадки с медом. Волки тащат целые туши мяса. Олени на рогах бережно несут ведра с молоком. Лисицы в зубах несут кур и гусей. Белки и зайцы — полные корзинки разных ягод и орехов. Это своих лесных друзей зайчик попросил помочь горю мальчика. Зайчик рассказал им, как мальчик вырастил его и выпустил на волю.

Тесно стало во дворе, когда звери сложили там угощенье. Так же, толпой, звери ушли обратно из деревни в лес. От изумления гости не могли и слова вымолвить.

Отец с матерью не знали, что и делать от радости. Но больше всех радовался мальчик.

Три дня и три ночи хозяева угощали гостей. И все были сыты и довольны.

Долго потом рассказывали в народе об этом случае, и, говорят, такого веселого пира не бывало даже у самых знаменитых баев.

ОХОТНИК ЮЛДЫБАЙ

«Того, кто отделится от людей, растерзает медведь; того, кто отстанет, съест волк», — говорит старинная башкирская пословица.

«Когда на дикого зверя идете, нужно идти в согласии между собой, быть дружными и выручать товарища», — так говорят старые охотники на Урале.

Не такими были товарищи Юлдыбая, поэтому-то чуть и не погиб молодой охотник Юлдыбай.

Юлдыбай был сыном старого, опытного уральского охотника Янхары.

Много всякого зверя побил старый Янхары: и косолапых медведей, и толстохвостых волков, и хитрых лисиц, и длинноухих зайцев.

Янхары жил на краю небольшого аула со своей женой; у них был единственный сын.

С малых лет Юлдыбай вместе с отцом ходил на охоту. Сколько бы они ни охотились, никогда не уставал молодой

батыр. Какой бы зверь им ни повстречался, не трусил Юлдыбай, а смело помогал отцу.

— Ты — верный и надежный товарищ, — говорил своему сыну старый Янхары, и это очень радовало молодого охотника Юлдыбая.

Но недолго пришлось Юлдыбаю охотиться вместе с отцом. Умер старый охотник. Юлдыбай остался один со своей матерью. Жили они бедно.

Молодой Юлдыбай взял лук и стрелы отца и стал один ходить на охоту. Этим он кормил себя и свою мать.

Однажды двое сверстников Юлдыбая попросились с ним на охоту. Юлдыбай согласился, и они втроем пошли в лес.

Дело было летом. Охотники попали в малинник и стали есть малину. Недалеко от охотников, возле старого вяза, кто-то ломал кусты. Это был медведь. Страшно зарычал медведь при виде охотников.

— Вынимайте кинжалы, все как один нападем на косолапого! — сказал Юлдыбай своим товарищам.

Он выхватил кинжал и, как пущенная из лука стрела, бросился на медведя.

А спутники Юлдыбая услышали рев медведя, струсили и побежали назад без оглядки. Они прибежали домой и сказали матери Юлдыбая, что сына ее растерзал медведь.

— Так не поступают друзья в беде! Сына моего оставили на растерзание медведю, а сами убежали, как зайцы! — закричала мать Юлдыбая.

Взяла она старый меч своего мужа и сказала:

— Где тело моего сына? Идемте вместе, покажите мне! Если и при мне будете трусить, то я брошусь не на медведя, а на вас!

Пошли они туда, где остался Юлдыбай с медведем. Прошли через малинник. Тихо подошли к огромному одинокому вязу.

Под большим деревом лежал издыхающий медведь. В груди у него торчал глубоко всаженный кинжал. Около медведя лежал окровавленный Юлдыбай. Он был без памяти.

Втроем содрали они шкуру с медведя, смазали раны Юлдыбая медвежьим салом, завернули его в шкуру и на руках понесли домой.

Вскоре Юлдыбай выздоровел. С тех пор в ауле его стали звать батыром, а двух его товарищей — трусами.

ЖАДНЫЙ БОГАЧ И ЗИННЯТ-АГАЙ

В давние времена был один богач. Звали его Саранбай, и был Саранбай жадным и скупым.

Вот как-то собрался он ехать на ярмарку. Встал спозаранку и раздумывает, чего бы взять в дорогу поесть.

А чего только не было у него: и овец, и коз, и гусей, и кур — всего было ровно по тысяче голов. Муки у него тоже было ровно тысяча пудов.

И вот думает жадный богач Саранбай: «Если заколю одного гуся на дорогу, то останется только девятьсот девяносто девять гусей; если заколю одну курицу, то тоже останется только девятьсот девяносто девять кур; если напеку хлеба из одного пуда муки, то останется тоже только девятьсот девяносто девять пудов; если зарежу одну овцу, то останется тоже только девятьсот девяносто девять овец. Этак ведь потеряется ровный счет добру!»

И не знает жадный богач, как ему быть. Пошел он за советом к соседу Давлетбаю, такому же богатому и жадному, как он сам. Сосед тоже собирался ехать на ярмарку. Саранбай спросил:

— Что делать, сосед? Что взять на дорогу?

— Нашел над чем ломать голову! Вели Зинняту зарезать своего гуся — он просился ехать со мной на ярмарку.

Обрадовался совету жадный богач и спешит к бедному Зинняту:

— Соседушка, Зиннят! Отвези-ка нас с Давлетбаем на ярмарку и зарежь своего гуся на дорогу.

Не хотелось Зиннят-агаю резать последнего гуся, но у него не было своей лошади ехать на ярмарку, и он согласился. Повез он жадного Саранбая с его соседом Давлетбаем на ярмарку, а на дорогу зарезал своего гуся.

Вот они остановились на ночлег в одном ауле.

Жадный богач и его жадный сосед думали об одном: как бы ухитриться съесть целого гуся и не делиться со своими спутниками.

Жадный богач Саранбай придумал такую хитрость: кто увидит ночью хороший сон, тот и съест целого гуся.

Легли спать. Всю ночь жадный богач Саранбай и жадный сосед его Давлетбай думали, как бы лучше обмануть других и самим съесть целого гуся, и заснули только под утро.

Утром жадный Саранбай начал рассказывать:

— Ну, спутники мои, вот какой хороший сон я видел: сижу я у себя дома, вдруг подкатывает к моему крыльцу один человек на паре рысаков и спрашивает: «Дома ли хозяин?» Я выхожу к нему навстречу. «Пойдем, Саранбай-агай, — говорит этот человек, — я приехал за тобой!» Я сел и поехал. Привез он меня прямо на небо, в такое место, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Кругом цветы, фруктовые деревья, всюду поют птички. И говорит мне этот человек: «Ты, Саранбай-агай, будешь жить здесь». Вот какой сон я видел!

Затем начал рассказывать его сосед Давлетбай:

— А мне снилось, что я на красивом белом коне вознесся на небо. Вижу, собрались там все богатые и знатные люди. Они ласково приняли меня и угостили хорошо.

Настала очередь Зинняту рассказать свой сон.

— Что говорить, оба вы видели очень хорошие сны, — начал Зиннят спокойным голосом. — Вы поднялись на небо, а меня оставили одного. А я не знал, что вы скоро вернетесь, ведь гусь мог испортиться. Захотел я есть да и съел один всего гуся, а вам ничего не оставил.

Жадный богач Саранбай и жадный сосед его Давлетбай только рты раскрыли от удивления. Они не нашлись что сказать, и пришлось им вернуться домой голодными.

ЛЕНИВАЯ ВНУЧКА

Жили когда-то очень давно бабушка и внучка. Бабушка так состарилась, что работать уже не могла. А внучка была очень ленива. Бабушка с каждым годом все старела и сла-

бела. Вот дожила она до весны и думает: «Пить-есть надо, люди вон сеют, и нам надо что-нибудь посеять». И говорит она об этом внучке.

— Не надо, бабушка, — ответила ей внучка. — Ты уже стара стала, к осени умрешь, а там, глядишь, найдется добрый человек и возьмет меня в свою семью. К чему нам хлеб?

Так они и не посеяли ничего.

Настала осень.

Народ убирает хлеб с полей. Старуха не умерла, и внучку никто не взял на воспитание.

Как-то зашла соседка, увидела, что бабушке с внучкой совсем нечего есть, и сказала:

— Хоть бы пришли и взяли у меня немного проса!

Соседка ушла. Бабушка говорит внучке:

— Сходи, внучка, принеси проса.

А внучка отвечает:

— Надо ли, бабушка? Может, просо у нее нехорошее…

Всю зиму голодали бабушка с внучкой и чуть не умерли. Но как только пришла весна, внучка вышла в поле, на работу.

— Зачем трудиться? — смеялись над ней соседи. — Бабушка твоя уже стара, недолго ей жить, а тебя кто-нибудь возьмет на воспитание. К чему вам хлеб?

Ничего внучка не ответила, а только вспомнила старую поговорку, которая гласит: «Если собираешься на летнюю кочевку, прежде засей поле».

МОЛОДОЙ ОХОТНИК

Жил-был один егет. Вот однажды пошел он на охоту. Повстречался ему волк. Егет хотел убить его, но волк взмолился человечьим голосом:

— Не убивай меня, егет! Когда-нибудь сослужу я тебе службу.

Егет не стал убивать волка и пошел дальше. Увидел охотник-егет беркута и хотел было его застрелить, но беркут тоже заговорил человечьим голосом:

— Не убивай меня, я тебе пригожусь.

Охотник-егет не стал стрелять в беркута и пошел дальше.

Вот увидел он в воде золотую рыбку и хотел было поймать ее, но золотая рыбка также взмолилась человечьим голосом:

— О егет, оставь меня! Везде, где бы ты ни был, я поспешу тебе на помощь.

Егет не тронул рыбку и пошел дальше.

Шел, шел егет по лесу — увидел он вдали избушку. Егет пошел к этой избушке. Там жила злая старуха-мэсекай. Старуха встретила егета на крыльце и стала расспрашивать, откуда и куда он идет.

— Я дам тебе одну работу. В лесу кормятся три мои лошади. Ты поймай их и приведи сюда. Приведешь — выдам за тебя любую из трех дочерей, которую полюбишь, а не приведешь — плохо тебе будет, — сказала старуха.

Охотник-егет пошел в лес, но лошади не давались ему в руки. Устал охотник, сел на камень и пригорюнился. Подошел к нему волк и спросил:

— О чем горюешь, егет?

— Как мне не горевать! — отвечал егет. — Старуха велела поймать трех ее лошадей, но я не могу поймать их. Теперь старуха убьет меня.

— Не печалься, — сказал волк и мигом пригнал трех лошадей старухи к егету (а лошади эти как раз и были дочерьми старухи).

Егет привел лошадей к старухе.

— Зачем дались ему в руки? — закричала старуха на дочерей, разбранила их и опять пустила в лес. — Если опять он начнет вас ловить, вы обернитесь птицами и поднимитесь в воздух, — сказала она им.

Так оно и случилось: егет хотел было поймать лошадей, но они обернулись птицами и поднялись в воздух. Но вот появился беркут и помог егету поймать птиц.

Старуха еще пуще рассердилась и сказала дочерям:

— Если он будет опять ловить вас, обернитесь рыбами и уплывите в глубь моря.

Старуха опять приказала егету поймать лошадей. Егет погнался за лошадьми и уже поймал было их на берегу моря,

но они обернулись рыбами и уплыли в глубь моря. Егет сел на берег и задумался.

Вот подплывает к берегу золотая рыбка и говорит:

— Не печалься, егет, я помогу тебе.

Она приказала рыбам разыскать трех дочерей старухи, которые превратились в рыб и уплыли в глубь моря. Рыбы тут же отыскали их и пригнали к егету. Нечего делать старухе, говорит она егету:

— Вот три дочери, выбирай любую!

Егет выбрал младшую дочь.

Когда они остались вдвоем, младшая дочь и говорит егету:

— Мать превратит меня в рябую, горбатую девку, среднюю сестру сделает пожилой, а самую старшую представит красивой. Не ошибись в выборе.

Охотник-егет сказал старухе:

— Ладно, мне вот эту, рябую, горбатую!

Еще больше рассердилась старуха и сказала дочерям:

— О, горе мне, не могли вы уйти от него! Попробую сама расправиться с ним... Иди сейчас в сарай, — сказала она егету. — Там стоит моя лошадь, выведи ее оттуда и объезди.

Младшая дочь говорит охотнику:

— Она сама обернется лошадью. Ты прежде всего возьми железный сукмар. Как только войдешь в сарай, ударь им лошадь. Затем она захочет поднять тебя в воздух, а ты ударь ее сукмаром по голове — тогда лошадь пойдет по земле.

Пошел охотник-егет в сарай, взял в руки железный сукмар.

Лошадь хотела лягнуть его ногой, но егет ударил ее сукмаром, вывел из сарая и сел верхом. Лошадь прыгнула почти до крыши избушки и все хотела сбросить седока, а егет ударил ее сукмаром по голове. И тогда лошадь спустилась на землю. Она и по земле скакала как ветер, кружилась, вертелась. Но егет удержался на ней, объездил ее и привел в сарай.

Когда егет ушел, лошадь обернулась старухой и, незаметно пробравшись в избу, улеглась на печке, жалуясь, что у нее болит голова.

Никак не могла старуха одолеть егета, и пришлось ей отпустить младшую дочь с ним в аул. Говорят, и сейчас они живут-поживают и добро наживают.

САРБАЙ

Были когда-то старик со старухой. За всю долгую жизнь детей у них не было. Одна собака, по кличке Сарбай, жила у стариков и усердно стерегла их хозяйство. Старики очень любили собаку, ухаживали за ней и кормили ее хорошо.

Но вот у старика со старухой родился ребенок. Не было конца их радости. Думали они только о своем ребенке и забыли обо всем. После этого и жизнь Сарбая изменилась. О нем стали забывать, кормили хуже, и пес сильно похудел.

Однажды весной старик поехал в лес за дровами, с ним пошел и Сарбай. В лесу Сарбай встретил своего старого знакомого, волка.

— Друг Сарбай! Что с тобой? Отчего ты такой тощий? — спрашивает волк.

— Раньше у хозяев я был единственной радостью, а теперь родился ребенок, и я уже не в почете. Часто забывают меня покормить. Тяжело мне стало жить! — отвечает Сарбай.

— Не горюй, Сарбай! Вот придет лето, и жизнь у тебя опять пойдет по-прежнему, — сказал волк и убежал.

Задумался Сарбай. Не понял он слов волка, но стал ждать лета.

Вот и лето пришло. Стало жарко, поспели хлеба, началась жатва. Старик со старухой пошли в поле и взяли с собой ребенка. Не отставал от них и Сарбай. В поле ребенка уложили на арбе, а Сарбай устроился под арбой и задремал.

Вдруг к арбе подкрался волк, схватил ребенка и убежал. Ребенок жалобно заплакал, и Сарбай проснулся. Ему стало жалко ребенка, и он с громким лаем бросился в погоню за волком.

Старик со старухой работали далеко. Услышали они лай Сарбая и побежали к арбе, но там уже ребенка не было.

Старики стали громко плакать и побежали за Сарбаем.

Тем временем Сарбай догнал волка, отнял ребенка и побежал обратно.

Увидев Сарбая с ребенком, старики очень обрадовались. И стыдно им стало, что забыли своего верного пса и плохо кормили его.

КУРИЦА И ЯСТРЕБ

Дружила курица с ястребом. Ястреб часто прилетал к курице в гости и рассказывал ей о том, как приятно летать высоко в небе. И вот курице тоже захотелось летать, но выше плетня на своих крыльях она никак не могла подняться.

Ястреб начал ее учить летать. Не успел он научить курицу летать как следует, как между ними началась ссора, и дружба их окончилась. И до сих пор куры могут взлетать лишь на ограду или на плетень...

А дружба их пошла врозь вот почему. У ястреба было на шее красивое ожерелье, а на голове гребешок. На это ожерелье и гребешок очень зарился петух.

«Эх, мне бы их! Гребешок я взял бы себе, а ожерелье отдал бы курице», — думал петух.

Раз ястреб прилетел к петуху и курице в гости. Они угостили его беленой. На ястреба нашел такой дурман, что он долго не мог очнуться. В это время петух украл у ястреба ожерелье и гребешок. Ожерелье петух отдал курице, а гребешок взял себе. Известно, что петух любит поважничать: надел он гребешок на голову и пошел по соседям.

Когда ястреб очнулся от белены и пришел в себя, он увидел: нет у него гребешка на голове, нет и ожерелья на шее. Что делать?

— Отдай ожерелье! — потребовал у курицы ястреб.

Курица ожерелья не отдает, оно очень ей понравилось. Она и не знала, что нельзя брать чужого. Стали курица с ястребом спорить да браниться.

Ястреб рассердился и хотел когтями сорвать ожерелье с курицы, но тут ниточка порвалась и жемчужины рассыпались.

— Ладно же, — сказал ястреб. — Видно, пришел конец нашей дружбе. Но я не забуду этого. И ты еще вспомнишь меня, да будет поздно!

Сказал так ястреб и улетел.

Прошло много времени. Ястреб больше не показывался.

У курицы появились цыплята. Однажды в солнечный день вывела курица своих цыплят на двор и начала беспечно копаться в земле, выклевывать что попадется: червяков,

личинок, семечки. Вдруг заметила курица высоко в небе ястреба. Курица обрадовалась:

— Летит мой старый друг! Видно, он забыл про ожерелье.

А ястреб не забыл и летел он не затем, чтобы возобновить дружбу. Заметив курицу с цыплятами, ястреб камнем кинулся на землю, схватил когтями одного цыпленка и улетел с ним. Так он начал мстить курице и петуху за ожерелье и гребешок.

Курица горюет, а ястреб не дает ей покою и каждый год уносит ее цыплят.

Не зная, как избавиться от этой беды, курица захотела отыскать рассыпанные жемчужины ожерелья и стала с цыплятами и петухом копаться в навозе. Но она не могла найти ни одной жемчужины.

Как-то раз петух нашел одну жемчужину, но оставил ее без внимания. До жемчужины ли было петуху, когда такой гребешок красовался у него на голове!

А курица с тех пор разрывает навоз, все роется и ищет жемчужины от ожерелья. Ищет — и не находит...

ЛИСА-СИРОТА

Однажды весной встретились медведь, волк, собака и заяц. Они пожаловались друг другу на то, как плохо жилось им зимой: было холодно и трудно добывать пищу. И стали они держать совет.

— Давайте жить вместе, так будет лучше! — сказал медведь.

Все согласились с этим. Построили они избу на лесной поляне и начали жить вместе. Как-то раз медведь говорит:

— Друзья, пора готовиться к зиме: надо бы купить нам корову. Собака будет пасти ее. Глядишь, к зиме наберем батман масла.

Остальные охотно согласились с медведем. В тот же день они пошли на базар, продали шкурки убитых ими зверей и на вырученные деньги купили корову.

Собака каждый день выводила корову на поляну и пасла ее, а волк каждый вечер доил ее. Заяц выведывал, где луч-

ше трава для коровы, а медведь распоряжался всем хозяйством.

Так прошло все лето, и к осени друзья собрали целый батман топленого масла.

— Надо поставить батман с маслом на избу, под крышу, — сказал медведь. — Пусть никто пока не трогает масло. Когда наступит зима, будем брать его понемногу и жарить картошку.

Опять все согласились с медведем — батман с топленым маслом подняли и спрятали под крышей избы.

Однажды вечером они сидели за чаем; вдруг кто-то постучался. Послали зайца открывать дверь.

Видят — пришла лиса, в лапе кумган держит, а сама кроткая, тихая и низко кланяется.

— Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер!

Хозяева поздоровались с ней и пригласили пить чай. Села лиса за стол и начала говорить тихо и скромно:

— Я одинокая сирота. Возьмите и меня в свою семью.

— Ладно, сегодня будем держать совет, взять или не взять тебя в нашу семью. Завтра придешь за ответом, — сказал ей медведь.

Лиса поблагодарила хозяев за чай и ушла.

— Жаль ее. Такая она скромная и тихая, надо принять, — решили хозяева.

На другой день утром пришла лиса. Объявили звери о своем решении принять ее в свою семью. И стала лиса жить у них.

Вела она себя скромно, всех слушалась и всеми силами старалась угождать не только медведю, волку и собаке, но даже и зайцу.

Вскоре лиса узнала, что под крышей избы спрятан батман с топленым маслом. Любит лисонька масло! Решила она одна съесть масло и стала придумывать хитрость.

Наконец она придумала — на то она и лиса.

Как-то вечером лиса сказала, что идет проверить, крепко ли заперты ворота. Вышла она за дверь, подошла к окну, постучала в него и спросила не своим голосом:

— Дома ли лиса-сирота?

— Дома, дома, сейчас придет со двора, — ответили ей.

— Скажите ей, чтобы она сейчас же шла к нам — дать имя новорожденному барсуку.

— Хорошо, — ответили из дому.

Лиса вернулась в избу.

— Лисичка, сейчас только приходили звать тебя к новорожденному барсуку, — сказал медведь.

— Что ж, надо сходить, — ответила лиса.

Собралась она и вышла из избы. Обошла она избу кругом, вспрыгнула под крышу, нашла батман с маслом и стала его есть. Наелась лиса досыта, отдохнула и вернулась домой.

— Чем угощали? — спросили ее.

— Жареным гусем, вареной курицей и маслом, — ответила лиса и облизала жирные губы.

— Каким именем нарекла? — спросила собака.

— Початок, — ответила лиса.

На следующий день лиса сказала, что ей опять надо идти давать имя, а сама вышла, забралась под крышу и съела масло до середины батмана.

— Какое имя дала новорожденному? — спросил лису заяц, когда она вернулась.

— Середка, — ответила лиса.

На третий день лиса опять залезла под крышу избы и съела все масло. Она дочиста вылизала батман и вернулась домой.

— Каким именем нарекла? — спросил ее медведь.

— Последок, — ответила лиса.

А тут подошла и зима с морозом и вьюгой. Вот однажды медведь говорит:

— Ну, друзья, надо принести немного масла и нажарить картошки.

— Давайте, давайте! — радостно согласились остальные.

— Иди, лиса, принеси немного масла, — сказал медведь.

Все вышли в сени. Лиса полезла было по стене под крышу, да упала на землю и притворилась, что не может вскарабкаться по стене.

— Очень уж высоко, я не могу залезть, — жалуется лиса.

Собака взялась помочь лисе. Подсадила лису. Вот влезла она, и все внизу услышали из-под крыши пискливый голос лисы:

— Никакого масла тут нет! Есть только пустой батман.

Ей никто не поверил. Тогда лиса скатила вниз пустой батман. Глядят — и правда, батман пустой.

— К нам никто чужой не приходил. Кто это, бессовестный, сожрал масло? — зарычал медведь. — Сейчас же найти разбойника!

Долго они гадали, как найти вора. И вот что придумал медведь:

— Давайте разведем большой костер и рассядемся вокруг него. У того, кто съел масло, от жара масло растопится и потечет наружу.

Так они и сделали: развели костер.

Вскоре они пригрелись у костра и уснули. Так как были уже первые зимние морозы, то крепче всех спал медведь.

Лишь одна лиса не спала. Видит она: по всей шерсти ее течет масло. Испугалась лиса, что это может выдать ее и тогда ей не избежать наказания. Решила она свалить свою вину на медведя: стерла масло с себя и обмазала им спящего медведя.

Когда они проснулись, увидели: все, как были, сухие, а у медведя шерсть в масле.

— Вот кто съел масло! — закричали звери и хотели наказать медведя.

— Не торопитесь! Тут какая-то хитрость, — сказал медведь. — Надо развести костер еще жарче и испытать всех снова.

Все согласились. Одна только лиса сказала, что не надо разводить костра, а то жарко будет.

Опять развели костер, и все расселись вокруг него. Медведь, по своей зимней привычке, опять захрапел. А волк, собака и заяц притворились спящими. На лисе опять стало выступать масло.

Лисица дождалась, когда звери заснули, начала опять стирать с себя масло и натирать им медведя. Увидели это волк, заяц и собака, вскочили и с криком набросились на лису:

— Вот где настоящий вор! А еще прикинулась тихоней-сиротой!

Шум разбудил медведя. Ему рассказали, как было дело.

— Я не ела масла! Нет, нет! — отказывалась лиса.

Тогда все набросились на лису, связали ее, стали держать близко к огню за лапы и за хвост. Масло с нее так и потекло на костер.

После этого они сказали:

— Уходи сейчас же! Чтобы и духу твоего здесь не было. Нет тебе места в нашей дружной семье!

Лиса подхватила свой кумган и ушла скорее куда глаза глядят.

ЛИСА-ПЛОТНИК

Один медведь стал очень старым и не мог уже охотиться на коров и быков, не мог лазить за медом на высокие деревья. Развел он кур и стал кормиться ими. Но куры плохо разводились у него: не было у медведя курятника, и кур уносили хищные птицы. Чтобы избавиться от такой беды, медведь решил построить курятник.

Прослышала об этом лиса и пришла к медведю.

— Я хорошо плотничаю и могу построить тебе курятник, какой ты хочешь, — сказала лиса.

Обрадовался медведь лисе-плотнику и поручил ей построить курятник. Скоро лиса выстроила курятник. Медведь осмотрел курятник и остался доволен: стены крепкие, высокие, есть кормушки, поставлены насесты и даже устроены гнезда для яиц.

За хорошую работу медведь щедро наградил лису, и та ушла. Но у медведя опять каждый день пропадали куры, хоть и хорош был курятник.

Тогда медведь нанял волка, чтобы тот сторожил кур. В первую же ночь волк поймал у курятника ту самую лису, которая построила курятник. Видно, она-то и таскала кур.

Когда лиса строила курятник, то оставила тайную, незаметную лазейку. Потом забиралась через эту лазейку в курятник и уносила кур.

— Вот как ты, оказывается, плотничаешь! Какая ты неблагодарная! — сказал медведь лисе. — За это ты будешь наказана.

Приказал он волку привязать лису к большому дереву, а сам взял дубинку и одним ударом оглушил лису. Так состоялся суд медведя над лисой-плотником.

ДВА БАРСУКА

Давным-давно жил один барсук со своей женой. Кормились они тем, что ловили мышей. Однажды, когда они гонялись по полю за мышами, показался верблюд. Барсук сказал барсучихе:

— Давай, старуха, оставим мышей и пойдем ловить верблюда.

А барсучиха ответила:

— Сейчас мы оба устали, гоняясь за мышами, мыши тоже устали. Не годится бросать их и идти на верблюда, который не устал. Старики говорили: «Сегодняшнее яйцо дороже завтрашней курицы». Если это так, то стоит ли бросать мышей?

Барсук сказал ей на это:

— Когда верблюд сам идет к нам, я не стану гоняться за мышами.

Сказал так и пошел навстречу верблюду. Барсучиха осталась. Она поймала нескольких усталых мышей, поела и легла отдыхать. Барсук же, ничего не поймав, проголодался, пришел домой и упал возле барсучихи.

Барсучиха спросила:

— Поймал ты верблюда?

Барсук еле выговорил от усталости:

— Нет, не мог поймать.

— Разве я не говорила тебе — не бросай мышей! Надо бы тебе помнить слова стариков: сегодняшнее яйцо дороже завтрашней курицы.

ПОЧЕМУ ГУСИ СТАЛИ ПЕСТРЫМИ

Это случилось очень давно, когда деды наших дедов были маленькими мальчиками, а бабушки наших бабушек — маленькими девочками.

Прежде гуси были только белыми, и не было ни одного пестрого гуся.

Появились пестрые гуси после злодеяний одного человека по прозвищу Котхоз-Кутуй.

Котхоз-Кутуй похищал детей и относил их за тридевять земель, за море-океан, страшным людоедам. Однажды он унес девочку Халиму. Красивее Халимы никого не было в том крае.

Похитил Халиму Котхоз-Кутуй, запер ее в клеть, а сам ушел за другими детьми. Когда Котхоз-Кутуй уходил, он клал у клети белые волшебные камни, которые стерегли клеть. Котхоз-Кутуй спокойно уходил по своим делам.

Белые камни лежали спокойно. Если какому-либо ребенку и удавалось выйти из клети, то камни всё это видели. Они кидались к маленькому беглецу, приклеивались к его ногам и никуда не пускали своего пленника. Пленники не могли ни кричать, ни бежать, ни шагу шагнуть.

Котхоз-Кутуй уходил на недели, а иногда и на месяцы.

Дети, запертые в клети, питались только зернами, подбирая их с пола, и пили воду из поставленной тут же кадки.

В ту же клеть запер Котхоз-Кутуй и Халиму. Сидит Халима неделю, сидит другую. И никто не знает, где она. Плачет, бедняжка, горюет. Похудела Халима, стала как щепка. Пожелтели ее румяные щечки. Думает, думает и никак не может придумать, как убежать от Котхоз-Кутуя.

Нет, не убежать отсюда бедной Халиме! Стены клети толстые, потолок высокий. Только под дверью есть узенькая щель, но в эту щель может пролезть лишь маленький гусенок.

Плачет Халима и думает с тоской: «Эх, почему я не маленький гусенок — пролезла бы я в эту щель!» И вдруг стала она уменьшаться, становиться все меньше и меньше и наконец стала не больше вылупившегося из яйца желтенького гусенка: вместо ног у нее — лапки, а вместо рук — крылыш-

ки. Халима радостно помахала еще не окрепшими коротенькими крылышками, заглянула в щель под дверь и вылезла из клети наружу.

Белые камни увидели маленького гусенка, но ни один из них не знал, что это Халима. «Откуда этот гусенок?» — удивились камни и стали смотреть за ним.

Дальше и дальше уходил от клети гусенок. Белые камни обернулись гусятами и погнались за гусенком-Халимой.

Вот гусенок-Халима добралась до реки. На берегу паслись гуси со своими выводками. Халима-гусенок пристала к одной гусиной стае, но маленькие гусята из этой стаи начали клевать незнакомого гусенка-Халиму. Халима не стала с ними драться и клевать их, а только увертывалась от них и убежала. Наконец она добежала до реки, кинулась в воду и поплыла от берега, а злые гусята остались на берегу. Белые же камни-гусята потеряли Халиму из виду, вернулись к своему месту и обратились опять в камни.

Но Халима не могла уже принять свой прежний вид и навсегда осталась гусыней. Оперение на ней было не белое, а пестрое. Те места на теле, куда клевали ее злые гусята, остались темными. Когда она сама стала гусыней-матерью, то и гусята у нее выросли пестрыми. С тех пор и развелись на свете пестрые гуси.

ОЗОРНОЙ КОТ

Были когда-то старик со старухой, и был у них озорной черный кот. Старуха любила кота. Но вскоре она умерла. Старик и кот остались одни.

После смерти старухи некому было кормить кота: старик не любил его. И вот решил он сам добывать себе пищу.

Стал кот забираться в погреба и клети соседей и поедать у них масло, сметану и выпивать молоко.

Однажды соседка поймала кота, когда тот пил у нее молоко. Схватила она кота и понесла его к старику:

— Вот, дедушка, твой кот! Что хочешь, то и делай с ним, но чтобы я больше его не видела! Ишь, повадился воровать у меня…

Выслушал старик соседку. Что и говорить: кот был вор, но убивать его старик пожалел. Сунул он кота в мешок и понес в лес.

Долго шел старик. Шел один день, шел другой. Наконец дошел старик до горы и выпустил кота из мешка.

— Много бед наделал ты, озорник, оставайся здесь. Живи как хочешь, — сказал старик и пошел к себе домой.

Остался кот в лесу, оглянулся кругом и пошел вниз под гору. Днем скучно было коту в лесу, а когда настала ночь, он испугался. Шерсть у него поднялась дыбом. Замяукал он страшным голосом. Идет, озирается и мяучит, а у самого глаза так и горят зеленым светом. Повстречался коту заяц.

— Куда идешь, котик? — спрашивает заяц.

— Ммя-у, ммя-я-у! Иду, чтобы пожрать всех зверей в лесу! — ответил кот.

«Как бы меня не съел», — подумал в страхе заяц и поскакал от кота со всех ног.

Вскоре заяц повстречал лису.

— Что случилось, дружок? Чего ты так испугался? Куда бежишь, зайчик-красавчик? — спросила лиса.

— Вон там, в лесу, по горе ходит кот. Он говорит: «Сожру всех зверей в лесу». Я и убежал от него...

Услышала лиса такую страшную весть и тоже испугалась.

— Побежим вместе! — сказала лиса и побежала с зайцем.

Долго бежали они. Повстречался им серый волк.

— Куда бежите, друзья? — спросил их волк.

— Вон там, в лесу, по горе ходит страшный кот, хочет сожрать всех зверей в лесу, — ответили заяц и лиса.

Волк тоже сильно испугался и побежал с ними.

Долго бежали они втроем. Наконец повстречался им медведь.

— Куда идете, друзья, что случилось? Не охотник ли идет?

Те ответили, что идет страшный кот и пожирает в лесу всех зверей.

— А куда же вы бежите? — спросил медведь.

— А нам лишь бы от кота спастись, — ответили в один голос заяц, лиса и волк. — А куда бежим — и сами не знаем!

— Ну тогда и я с вами побегу! — заревел в страхе медведь.

Вчетвером бежали они долго-долго, наконец устали, выбились из сил и остановились отдохнуть под деревом.

— Не лучше ли, друзья, сварить мяса и пригласить кота в гости? — говорит медведь.

Все согласились. Медведь ушел за мясом, волк — за водой, лиса — за дровами, а заяц пошел звать кота в гости.

Вскоре медведь приволок быка, волк принес воды, лиса натаскала дров, и они стали варить мясо. Мясо давно уже сварилось, а зайца с котом все нет и нет.

Всем зверям стало страшно.

— Видно, кот сожрал бедного зайца и идет теперь сюда, — решили они и стали прятаться кто куда.

Медведь залез на высокое дерево, волк вырыл яму в кустах, спрятался туда и прикрылся желтыми опавшими листьями, а лиса спряталась под кучу хвороста.

А тем временем заяц нашел кота на том самом месте, где в первый раз увидел его.

Дрожа от страха и не подходя близко к коту, заяц издали крикнул ему:

— Эй! Всесильный кот!.. — И больше заяц ничего не мог добавить от страха.

Услышал кот заячий крик, посмотрел на него своими зелеными глазами и побежал прямо к зайцу.

«Ух! Он бежит, чтобы съесть меня!» — подумал трусливый заяц и тут же упал замертво.

А кот побежал дальше. Вот кот услышал вкусный запах мяса и приблизился к тому месту, где медведь, волк и лиса варили мясо и ожидали гостя.

Кот подбежал к мясу и начал жадно есть. Но бык, принесенный медведем, был старый, и мясо было твердое и недоваренное. Кот ел и громко фыркал.

Испугалась лиса фырканья кота, захотела спрятаться еще лучше, завозилась и ущемила свой хвост в хворосте.

Услышал кот хруст в куче хвороста, подумал, что там мышь, и кинулся на хворост.

А лиса испугалась, что страшный кот сейчас ее разорвет, выскочила из-под хвороста, оторвала прищемленный хвост, да так и убежала, спасаясь от страшного кота.

А кот и сам испугался лисы; он, как рысь, метнулся в кусты и вцепился там когтями как раз в голову и глаза волку.

— Ай, он меня хочет съесть! — взвыл волк от страха и боли и кинулся со всех ног вон из кустов.

Кот до смерти испугался волка и, как белка, бросился на дерево, на котором спрятался медведь.

Медведь увидел карабкающегося к нему кота и грохнулся от страха на землю.

А кот, который так сильно напугал диких зверей, сидит на дереве и сам еле дышит от испуга.

Медведь, волк и лиса убежали без памяти в разные стороны.

Наконец они разыскали в лесу друг друга и сели вместе отдыхать на дне глухого оврага.

— Ну как вы, живы? — спрашивает медведь лису и волка.

— Жива-то я жива, да хвоста у меня нет — кот оторвал, — отвечает лиса.

— Я тоже остался цел, да вот чуть жив от когтей этого кота; он всю кожу на голове у меня изодрал, — сказал волк.

— А ты как чувствуешь себя? — спросили волк и лиса у медведя.

— А я только поломал ребра, когда кот свалил меня с дерева, — ответил, охая, медведь.

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

ИВАН-ЧУДО

В старину было дело: и тогда жили люди. Жили крестьянин с женой; жили они по-доброму, жена от мужа обиды не знала, и сыты были, хоть и не вдосталь: трудно земля рожала хлеб. Сторона их была дальняя, лесная, люди там жили смирно.

Всем жили ладно муж с женой и прожили лет пять без малого, да не было у них детей; а без детей жить нельзя, без детей совестно.

Стал муж серчать на жену, а жена плакать; уйдет она, бывало, в овин, чтобы не видели ее, и плачет там одна; поплачет, никому ничего не скажет и перед мужем молчит. И чего ей мужу сказать? Нечего: бездетная жена с мужем сирота.

А на шестой год жена забеременела и понесла ребенка. Тут муж совсем рассерчал: не от меня, дескать, этот ребенок будет, а гляди-ко, от другого, ступай, говорит, чтобы глаза мои тебя век не видали!

А куда бабе деваться? К отцу, к матери нельзя было: в старину и мать с отцом не примут замужнюю дочь, а велят ей к мужу воротиться и слушаться его.

Надумала жена: «Пойду куда глаза глядят, зайду в темные леса, встречу там лютого зверя, а зверь съест меня!»

Пошла она в темные леса, идет, голодная, простоволосая, идет и думает: «И жить-то я путем не пожила, а ведь еще молодая, и первенца во чреве на смерть несу!»

Идет она далее в черные неохватные леса, ест помалости, что на полянках растет — ягоду, травку, коренья.

Приходит ей последнее время, рожать надо. Собрала она бересты да веточек всяких, устроила себе шалаш и там родила.

Родился у матери сын, назвала она его, как отца ее звали, Иваном. Завернула сына в подол, отогрела его и к груди поднесла. Поел Иван материнского молока, поспал и опять к груди потянулся. Дала ему мать грудь свою. Иван опорожнил ее и к другой потянулся.

Проходит день и два. Мать смотрит, а сын ее Иван как тесто на опаре растет. На третий день Иван уже стал разговаривать с матерью; на четвертый — мать сама расска-

зывала ему, как люди на свете живут да как она жила-была. Матери-то грустно было в лесу, а сын у нее, видит она, и не живя веку понятливый родился. Живут они в лесу и беседуют, как равные. Глядь, а сын-то Иван уже не ровня матери стал: больше ее вырос. А времени прошло мало: одна неделя либо всего две, как Иван родился на свет.

Поднялся Иван с земли, потянулся, посмотрел в лес, видит: бежит серый волк. Иван вышел навстречу волку, схватил его за холку, прижал к земле и вдавил в нее; волк тут же, как был, сразу околел.

Мать видела, что сделал Иван.

«Понятливый сын у меня, — думает, — да сильный еще! А добрый ли он, уж узнаю после!»

Ободрала мать шкуру с волка и постелила ее в шалаше, а Иван вынес волчье мясо и бросил его недалеко.

Вот проходят два медведя, потянули мясо — один к себе, другой к себе и подрались.

Увидела мать медведей, страшно ей стало.

— Съедят нас медведи, сынок.

— Не тронут. Я им разделю мясо-то, они смирные будут.

Вышел Иван, разорвал говядину пополам, бросил ее медведям — каждому поровну — и пошел к матери. Медведи увидели, как Иван волчье мясо разорвал, только кости полетели прочь, и оробели: как бы, дескать, Иван их тоже пополам не разорвал, и пошли медведи в лес, не поевши волчьего мяса.

Стал Иван дальше ходить. Ему нужно было ягоды собирать и копать сладкие корни, чтобы мать свою кормить. А еще он желал оглядеть землю, где он на свет родился, что на ней было; ведь он, кроме родной матери да темного леса, ничего и не видел. А мать говорила Ивану, что не все лес, есть и чистое поле.

Пошел Иван искать чистое поле. Увидел он тропинку. «Пойду, — думает, — по топтаному месту, никогда не ходил». Прошел он малость, вдруг слышит стук, топот, листва на деревьях вздрагивает. Остановился Иван, не знает, что думать.

Бегут мимо него дикие кони на водопой. А Иван коней сроду не видел; кто они такие — не знает. Схватил Иван одного коня за гриву, чтоб он остановился и разглядеть его можно было. Конь рванулся было вперед, руку бы мог вы-

рвать у человека из плеча, да Иван крепок был родом: как дернул, как тряхнул коня за гриву, конь на ноги припал перед ним, а потом как поглядел одним глазом на Ивана и встал как вкопанный.

Подошел Иван к матери; сам пешком идет, а коня за гриву возле себя держит.

Мать увидела сына и говорит ему:

— Чего ты водишь коня, на нем ездить можно!

Сказала мать сыну, как верхом ездить можно. Иван вскочил на коня, крикнул ему в ухо, конь испугался его голоса и помчался — только деревья навстречу дрожат, а кусты из-под копыт прочь отлетают.

Выехал Иван в чистое поле: в поле светло, небо над ним просторно стоит, не то что в лесу; глядит Иван и радуется. А конь под ним все дальше мчится. Смотрит Иван — незнакомые люди ходят, а возле них шалаши на земле стоят, покрытые желтой травой: Иван-то не видел прежде, кроме себя да матери, ни людей, ни деревни с избами, крытыми соломой.

Крикнул Иван коню в ухо:

— Окоротись!

Конь тут же встал от испуга.

Иван велел коню ожидать его, а сам пошел по деревне; хотелось ему поглядеть на свет: и на людей, и на то, чего никогда не видел.

И видит Иван: малые дети ходят по деревенской улице, а сам-то он тоже был малым ребенком, хоть и большой ростом и силой.

Пришел он на улицу, стал посреди малых детей и начал забавляться. Поднял он одного ребенка, повернул рукой голову его к себе, хотел его приголубить, либо так что по-детски сказать ему, глядит — а у того голова упала на землю. «Что такое? — думает Иван. — Голова, что ль, у него неприросшая была. Ишь ты, и отлетела!»

Взял он за руки другого мальчика, вроде бы сверстника себе, у того рука отвалилась. Жалко стало Ивану малых детей. Поднял он голову с земли, приставил ее безголовому, вжал в шею, голова и приросла, как была прежде. А безрукому вправил руку, откуда она росла, и рука прижилась.

Сел Иван на коня и помчался вскачь. Конь бежит — под ним земля дрожит: у кого кривые избы — падают, у кого худые печи — разваливаются.

Видит Иван, не к добру так ехать. Крикнул он в ухо коню:

— Ах ты, волчий корм, травяной мешок, не стучи по земле, лети по ней!

Еще шибче помчался конь, травы под собой не тревожит.

Выехал Иван далеко. Смотрит вокруг — всюду чистое поле и небо касается края земли. А на краю земли стоит одна избушка. Поехал Иван к избушке. Окоротил он коня и вошел в ту избу. Видит, на столе еда собрана и винное питье стоит. Испытал Иван еду — понравилась ему: и соленая еда была, и сладкая, всякая была. Хлебнул он вина — не понравилось, во рту горько. Увидел Иван гладкую тростинку, она в углу была. Взял Иван тростинку в руку: крепка ли, думает, может, сгодится! Стукнул он тростинкой о половицу. Выскочил тут из-под пола некто Яшка — Красная рубашка.

— Чего делать прикажешь?

Иван ему в ответ:

— А ты чего умеешь? Покажи мне все, что есть на свете.

Открыл ему Яшка — Красная рубашка вид — все, что есть на свете, — а сам спрятался, откуда явился.

Стукнул опять Иван тростинкой в половицу, выскочил тут же Яшка — Красная рубашка.

— Чего прикажешь?

— Я нагляделся. Закрой вид. Пускай матери останется чего глядеть.

Ничего не стало. «Поеду, — думает Иван, — мать сюда приведу, в поле жить светлее».

Только он на порог, навстречу ему богатырь — здешней избы житель.

— Ты кто? — спрашивает. — Чего в избе без хозяев гостишь? Откуда невежа такой?

— Я невежей не был, — отвечает Иван, — а я у родной матери сын!

Рассерчал богатырь — хвать Ивана кулаком.

— Эх! — сказал Иван. — Не ты меня на свет родил, не тебе меня со света сживать!

Схватил он богатыря поперек, взмахнул им и забросил его далеко от себя, в чистое поле. Богатырь ударился сразу о землю и помер.

Пошел Иван к своему коню. Глядит, навстречу ему другой богатырь — брат прежнего, а силой еще злее первого.

— Ты чего незваным явился? Ишь, невежа неумытый!

Бросился богатырь на Ивана, а Иван взял его да тут же об земь — из богатыря и дух вон, только пар пошел вверх. Тогда схватил Иван пар — а в руке ничего. Жалко стало Ивану, что нету ничего от человека. Что делать теперь? Пусть будет еще — что случится, ему ничего не страшно. «Однако, — думает Иван, — как сделать, чтоб не вредить человеку до смерти, а научить его еще прежде: пусть жив будет и знает».

Тут приехал еще богатырь, брат тех, кто были.

— Это что за невежа?

— Я невежей не был, я Иван, родной матери сын!

Схватил его хозяин-богатырь, чтобы убить, а Иван его взял на ответ в охапку и думает, что делать с ним. Глядь — на стене сума большая висит. Иван засунул богатыря в ту суму, смял его, чтобы ладнее богатырь в суму вошел, а суму на стену, на дубовый сучок повесил — пусть висит там богатырь, согнутый в три погибели.

Повесил Иван суму, закрыл ее на запор железный, а ключ в окошко кинул.

Вышел Иван наружу, видит, никого больше нету. Сел на коня и поехал домой.

Мать увидела Ивана и сперва не узнала его, хоть и мало времени прошло, как он уехал. Да и мудрено было узнать Ивана: от борьбы с богатырями еще более возмужал он силой, и на лицо его легло раздумье.

Сказал Иван матери:

— Поедем, матушка, со мною. Я жизнь вам хорошую нашел.

Поехали они в избу, где богатыри жили. Иван на коне едет, мать на руках держит, чтобы она не утомилась в дороге. Подъезжают они; мать видит — изба хорошая стоит: у разбойников избы хорошие.

Оставил Иван коня и повел матушку в избу. Вот вошли они в горницу, Иван стукнул об пол тростью, что и прежде

была. Выскочил тут немедля Яшка — Красная рубашка: чего, дескать, прикажете?

Иван велит ему:

— Покажи все, как мне показывал.

Показывает им Яшка все, что есть на свете, что видимо и не видимо. Мать глядит, дивится и радуется. А когда нагляделась, Иван велит опять Яшке:

— Собери на стол угощение.

Собрал Яшка угощение, поставил хлеб-соль, яства и вино, а сам пропал, пока снова не позовут: видно, он богатырями к покорности приучен и смирный был.

Мать Ивана откушала пищи, запила ее вином, сама веселая стала и плясать пошла. Иван глядит на мать и радуется, что мать молодая у него и сердце у нее счастливое.

— Тут, мама, вам веселее жить будет.

— Кто знает, сынок, неведомо еще, где лучше. Боюсь, разбойники здесь.

— И то правда, — говорит Иван. — А я поеду гляну — нет ли кого.

Осталась мать одна; ходит по избе и осматривает по-хозяйски, где что положено, сколько добра припасено. А изба просторная, две горницы, кухня и закутки есть. Видит мать, на стене сума большая висит: не добро ли в ней какое? Потрогала она суму, та на железный запор закрыта, и в скважине ключа нету. Вспомнила она про Яшку — Красную рубашку, взяла трость и постучала в половицу. Явился Яшка:

— Чего прикажешь?

— Отыщи ключ.

— Я сейчас.

Отыскал ключ и скрылся. А мать Ивана отомкнула железный запор, глядит — подымается из сумы человек, расправляет плечи, потягивается, собою видный и здоровый, на лицо белый. Не видала еще мать такого, в деревне мужики худые жили, их земля работой ела, а жизнь — заботой. «Вот он, богатырь-то, знать, какой бывает! — подумала Иванова мать. — Небось у него хозяйка есть, а я-то как гостья буду!»

А богатырь как вышел из сумы, так — за стол и доел, что на столе осталось: оголодал в пустой суме-то. Поел богатырь, щеки у него порозовели, со лба пот пошел.

— Наелся аль еще будешь? — спросила у богатыря Иванова мать.

— Еще, — говорит богатырь, — кликни Яшку-то.

Постучала мать тростью — явился Яшка, принес питье и яства и еще дважды ходил, еды добавлял.

— Сыт, что ли? — спросила мать у богатыря.

А сама глядит на богатыря, любуется им, и тронулось ее сердце к нему, полюбила она его.

— Что, — говорит богатырь, — изба у меня большая, добра много, а хозяйки нету.

— А у тебя Яшка есть, — говорит мать, — он тебе и стряпает, и по дому угождает.

— Яшка слугою служит, — богатырь говорит, — да у него души нету, он всякому годится. А живи-ка ты, право слово, хозяйкой у меня!

— Я бы стала хозяйкой твоею, — отвечает мать богатырю, — да сын у меня есть, его надо спроситься. Уж коли он не захочет тебя в отчимы, так ты с ним не совладаешь, он тебя одолеет.

— А сына твоего мы со света сживем, — сказал богатырь.

Испугалась мать; стала она слушать, что ей сердце скажет и что совесть. Молчит ее совесть, зато сердце говорит, а сердце богатыря любит.

Спрашивает мать:

— А как ты Ивана со света сживешь?

— Я тебя научу, — богатырь говорит.

Научил он мать, что сыну надо сказать, а сам опять в суму залез и спрятался.

Приезжает Иван, видит: матушка его хворая на полатях лежит.

— Аль недужится, матушка?

— Недужится, сынок. Вот есть, давно мне люди сказывали, лес темный, отсюда недалече, туда только пешему дорога, а конному езды нету. В лесу том волчица-богатырь с волчатами живет. Вот если бы молока из груди той волчицы мне принес, я бы испила его и здоровой стала!

Иван послушал мать и ответил ей:

— Для вас, матушка, я и с того света чего надобно достану.

Отпустил Иван своего коня во чистое поле: пусть-де он на воле живет и досыта ест, не все ему подо мной скакать, а сам пошел пешим в темный лес.

«Вот, — думает богатырь в суме, — разорвет волчица Ивана, она человека одним духом за версту сшибает, не станет тогда никого на свете сильнее меня!»

Вылез богатырь из сумы.

— Кликни Яшку-то, — говорит он своей хозяйке, матери Ивана. — Да потчевай меня!

А Иван идет по темному лесу; видит он: лежит под деревом волчица-богатырка и дремлет, а четверо волчат припали к ней и грудь ее сосут.

Открыла волчица глаза и глядит на Ивана.

Подошел к ней Иван, сел возле и говорит:

— Дай мне твоего молока, а не дашь, я сам из груди твоей надою. Матушка у меня захворала, сказывает, молоком ей твоим надо лечиться.

Подумала волчица: кроме комара да птички лесной, никто к ней не приближался в лесу, а этот близко явился. Хотела было волчица подняться и растерзать человека, да детей жалко тревожить: пусть сосут.

— А во что тебе молока надоить? — спрашивает волчица.

Подумал Иван: не во что.

— А пусть, — говорит, — волчонок твой в пасть молока наберет да бежит следом за мной.

Привстала тут мать волчиха.

— Чай, он детеныш мой. Тебе жалко мать, а мне сына. Не пущу его с тобой!

Встал Иван в рост, вырвал прочь с корнем дуб и отбросил его далеко.

— А я тебе детеныша назад ворочу, — говорит, — я его не обижу.

Видит волчица — не сладить ей силой с Иваном.

— Пусть идет, — отвечает; полизала она языком одного волчонка и говорит ему: «Порадей человеку, как мне радел, набери в рот молока, да не глотай его, а иди куда нужно и ко мне скорей возвращайся».

Насосал волчий детеныш в пасть молока, встал с земли; глядит на него Иван, а волчонок без малого с лошадь будет.

Пошли они с волчонком, а потом и побежали, чтобы скорее дело было.

Под вечер прибралась мать Ивана в избе и глядит в окошко. Смотрит, а сын ее на волке верхом едет, и волк под ним от страха бежит.

— Вот, — говорит она своему богатырю, — ты думал, Ивана волчица разорвет, а он на волке домой едет. Полезай опять в суму!

Сказала мать такие слова, а сама легла на полати и стонет, как хворая.

Иван явился, взял деревянную миску и велел волчьему детенышу вылить из пасти молоко в миску.

Поднес Иван к матери молоко и говорит:

— Кушайте, матушка, ваша болезнь пройдет.

А мать отвечает ему:

— Обожди, сынок, ослабела я, сейчас и питья не проглочу.

Иван ей:

— Как вам угодно, — говорит, — матушка, а я по лесу волчонка гнал, чтоб вам скорее помощь была.

Вышел Иван к волчонку во двор. А мать взяла миску с волчихиным молоком и хотела было вылить молоко в подполье. Богатырь выглянул из сумы и говорит:

— Дай мне испить, может, я тогда сильнее стану.

И выпил он звериное молоко. А мать опять легла и лежит, как хворая. Ей тогда и говорит богатырь:

— Скажи теперь сыну-то, Ивану, не помогло, дескать, тебе волчихино молоко. Пусть он завтрашний день ко львице за молоком идет. Со львицей-то он не совладает. Она его разорвет и кости его сгложет.

Наутро мать велела сыну идти ко львице:

— Может, сынок, я тогда встану и жить буду.

Кликнул Иван волчонка и пошел с ним в лес.

Идут они мало, идут они долго, а Иван не знает, где львица живет. Спрашивает у волчонка — и тот не знает.

— Должно, матушка моя знает, — сказал волчонок.

Пошли они к матери-волчице. Волчица обрадовалась, что Иван к ней сына-детеныша привел. И Иван спрашивает у нее:

— Где львица живет?

— Знаю, — отвечает волчица, — сын мой тебе дорогу покажет.

Научила мать волчица волчонка, куда надо ко львице идти.

И вот бежит впереди волчонок, ростом с лошадь, а Иван — следом.

Бежали они дни и ночи, в сумерки и в утренние зори, в полдень и в полночь. Видит Иван — не стало ничего: ни леса, ни чистого травяного поля, а одни голые камни вокруг. И лежит там под одним камнем львица и львят-детенышей грудью кормит.

Волчонок оробел, остановился. А Иван подошел ко львице, схватил ее за пасть и руками хотел напрочь пополам разорвать звериную голову. Смотрит Иван: у матери-львицы слезы из глаз льются. Отвел Иван свои руки.

— Не убивай меня, Иван-чудо, — говорит ему львица, — не оставляй моих детушек сиротами, скажи, чего тебе надобно.

— Дай мне твоего молока. Пусть детеныш твой в пасти своей за мной его несет.

Львица и говорит:

— Не жалко мне молока, мне сына своего жалко.

— А я его к тебе назад приведу, — обещал ей Иван, — и опять положу его к тебе под грудь, как было.

Обрадовалась львица и отпустила детеныша-львенка с молоком во рту.

Пошел Иван домой: сам-третий теперь идет.

Увидела мать в окошко — опять Иван живым возвращается, и звери за ним бегут. Велела она богатырю в суму на стене прятаться, а сама легла и лежит — стонет, как хворая.

— Чего же теперь делать будем? — спрашивает она у мужа своего — богатыря.

Полез богатырь в суму и отвечает ей оттуда:

— Пусть Иван от орлицы яйцо ненасиженное достанет. Орлица на скале живет, а скала на горе, а гора на холме стоит, а под холмом есть пропасть, он со скалы в пропасть упадет и расшибется.

Ночью мать отдала мужу-богатырю молоко львицы, а наутро велела Ивану идти к орлице за ненасиженным яйцом.

Как это яйцо она выпьет, так станет здоровой, а львицыно молоко ей не в пользу.

Пошел Иван к орлице, и звери его за ним ушли. Пришел Иван туда, где львица жила, и сказал ей:

— Я тебе сына привел. Ответь мне — ты далеко по земле ходила, — где орлица в гнезде живет?

Львиная мать научила сына-львенка, куда надо в горы идти, и отпустила его с Иваном.

Пришел Иван к холму. Холм был крутой, да Иван был ловок и терпелив. Взошел он на холм, вскарабкались за ним волчонок со львенком. А на холме стоит каменная гора, высокая и гладкая, как стена, а на той горе еще скала, а уж в скале — гнездо орлицы. Поглядел Иван на каменную гору, видит: ловкостью на нее не взойдешь, ухватиться не за что, на нее можно лишь взлететь, а у него крыльев нету. Постоял Иван, подумал, однако не опечалился, а улыбнулся: силой он скоро возрос, а разумом и добротою еще скорее. Понял он: чего ничем нельзя одолеть, то можно одолеть работой.

Тогда велел Иван волчонку и львенку, чтобы они выгрызли из каменной горы по одному острому камню. Стали звери гору грызть, а выгрызть не могут, зубы у них еще не выросли, они дети были. Побежали они вниз, нашли камни в ручье, ухватили их в пасть и принесли Ивану.

Начал Иван теми камнями бить гору и рушить ее. Сперва гора рушилась малыми крошками, потом и крупнее пошло, а вскоре Иван порушил и целую глыбу. А тою глыбою он уже большие скалы стал выбивать из горы — и гора начала оседать, пока Иван всю ее не разобрал. Когда вершина горы сровнялась с плечами Ивана, он увидел орлицу в расщелине верхней скалы. Там орлица сидела в гнезде.

— Чего тебе надобно, Иван-богатырь? — спрашивает орлица.

Иван ей:

— Дай, — говорит, — яйцо ненасиженное.

— Ненасиженных у меня нету, — орлица говорит, — у сестры моей есть. Обожди, я к сестре на другую гору полечу и яйцо займу для тебя, а то ты у нас все горы поломаешь.

— Поломаю, — сказал Иван.

Полетела орлица к сестре на другую гору, принесла Ивану ненасиженное яйцо. А сестра орлицы дала не свое яйцо, а яйцо змея-ехидны: она скупая была и хотела, чтобы изо всех яиц у нее дети-орлята рождались.

Взял Иван яйцо от орлицы и пошел к матери. И звери за ним побежали, что были с ним, волчонок и львенок.

— Ступайте теперь к своим родителям, — говорит им Иван.

А звери ему отвечают:

— Не пойдем, — говорят, — ты добрый, и мы к тебе привыкли.

Принес Иван матери яйцо орлицы.

Взяла мать яйцо и говорит:

— Я уже выздоровела, сынок, да вот ветер меня охватил, я опять заболела.

А потом еще говорит, как ей муж велел:

— Ступай теперь в некое царство. Там весь народ, люди говорят, вымер: может, царство тебе достанется.

Удивился Иван, что мать ему так говорит: не нужно ему было чужое царство. Однако он боялся ослушаться матери. Кликнул волчонка и львенка и пошел в чужое царство. Как ушел он из родного дома, тотчас вышел трус богатырь из сумы и выпил яйцо змея-ехидны: он думал, это яйцо орлицы ему досталось. Трус-то богатырь и научил послать Ивана в чужое безлюдное царство — затем, чтобы помер там Иван. Где все люди померли, там Иван, дескать, помрет.

Долго шел Иван в чужое царство, не знал он туда дороги. Звери его возмужали за дорогу, и у них зубы и когти выросли, покуда они шли неведомо куда.

Приходит Иван в чужое царство. Царство это находилось тогда на берегу великого моря. Видит Иван небо и море, видит реки, леса и пашни, видит, что всюду хорошо, а народа нету нигде.

Сел Иван на берегу моря и думает, что делать ему надо. А дело тут же и было.

Глядит он: идет по берегу моря прекрасная девица в золотой парчовой одежде; идет она, а сама плачет. Отроду не видал Иван такой девицы, да видеть ему такую красоту негде было, он мать свою одну любил и на нее одну глядел.

— Чего ты плачешь? — спросил Иван прекрасную девицу.

— Я умирать боюсь, — отвечает ему девица. — Уходи отсюда скорее, а то и ты умрешь.

Озадачился Иван и говорит:

— Нет, ты неправду говоришь. Я не помру и тебя смерти не отдам. А чья ты родом?

Отерла слезы девица и отвечает:

— Я царская дочь. Было у нас царство, был у нас народ, да чудовище морское всех людей поело. Остались только матушка с батюшкой да я. Нынче чудовище меня съест, а к вечеру матушка с батюшкой с горя помрут, и никого тогда не останется. — И опять заплакала прекрасная девица.

Выходит тут из волны морской страшное чудовище: три головы у него, три пасти, по тыще зубов в каждой пасти; живот у него, как у борова, а хвост, как у змеи. Увидело чудовище молодую царевну с Иваном, увидело еще львенка с волчонком и говорит:

— Я чуть-чуть закусить хотел, а тут и пообедать можно.

Бросилось было чудовище на царевну, хотело ее пастью ухватить, да Иван встал впереди царевны, обхватил толстое чудовище поперек и начал его душить. Захрипело чудовище и еще две пасти с зубами сразу открыло, чтобы откусить Ивану голову. Прыгнул волчонок на одну голову чудовища, а львенок на другую, стали они грызть чудовище. Хрипит мокрое, толстое чудовище, однако норовит схватить голову Ивана третьей пастью. Глядь, опускается с неба орлица, садится она на эту голову чудовища и бьет его клювом в глаза, пока глаза прочь не вытекли. Иван тем временем насмерть сжал чудовище: пошла из него ручьями черная кровь, ослабело чудовище и пало мертвым.

Села орлица на плечо Ивана и говорит ему:

— Прости меня, Иван добрый! Сестра моя обманула меня, я тебе дала не орлиное яйцо, а яйцо от змея-ехидны. По всей земле искала я тебя, ты не открывай того яйца, а откроешь — из доброго станешь злым, из храброго — лукавым, из щедрого — алчным.

Обняла тут прекрасная царевна Ивана и заплакала ясными счастливыми слезами, что спас ее Иван от страшной смерти в пасти зверя.

А Иван, исполнив работу, затосковал, загоревал по матери и стал собираться домой уходить. Прекрасная же царевна просила Ивана навсегда остаться в ихнем царстве. Она боялась — не явилось бы из глубокого моря другое ненасытное чудовище.

Иван поглядел на царевну и видит: мила сейчас она ему стала, так бы и глядел на нее и глаз не отвел.

Сказал он ей тогда:

— Вот проведаю мать и к тебе вернусь. А волк со львом и орлица пусть с тобой останутся, при них тебе ни от кого не будет обиды.

И пошел Иван домой.

Увидел он избу, где жила его мать, вздрогнуло его сердце от радости. А мать сидела в тот час за столом в избе и против нее сидел ее муж-богатырь, который в суме был; они ели яства и пили сладкое вино, а Яшка — Красная рубашка служил им.

Поглядел богатырь из избы в окошко, видит он: Иван едет домой. Не стал теперь битый богатырь прятаться в суму на стене: от волчьего молока в нем появилась злоба, от львиного он почувствовал силу, а от выпитого яйца змея-ехидны в нем родилась ярость.

Вышел тот богатырь навстречу Ивану, подошел близко, размахнулся было, чтоб голову Ивану снести с плеч долой, да сам упал замертво. Иван упредил богатыря: пока тот руку подымал на него, а он уже сердце из богатыря вышиб.

Мать увидела из избы, что сталось с ее богатырем. Она вышла с крыльца, припала на грудь павшего мужа и заплакала по нем, а сына не приветила и не поглядела на него.

Иван отошел от матери и задумался. Он узнал того богатыря, которого он побил и в суму засунул, и понял тогда, что мать любит его всей душой.

Жалко стало Ивану мать.

Поднял он о земли сердце богатыря, вложил ему в грудь, и тот вздохнул.

Тогда мать упала сыну в ноги, начала она просить у него прощения и рассказала все, как было. Иван отвернулся от матери и ушел, куда глаза глядят. А глаза его в тот час ничего не видели: они были полны слез.

Иван опомнился, когда уже далеко ушел. Огляделся он вокруг, увидел вдалеке великое море и пошел в безлюдное царство, где жила прекрасная царевна.

В скором времени, как оно и быть должно по правде, Иван женился на той царевне по имени Лукерья. Свадьба у них была хоть и веселая, да малолюдная; всего и гуляло на свадьбе, что батюшка с матушкой — родители прекрасной Лукерьи, жених с невестой, да орлица, да волк со львом.

А когда вышли сроки, народились у Ивана с Лукерьей дети, а от детей внуки, отсюда и народ снова пошел.

И вот состарился Иван; вспомнил он о матери: жива ли, думает, моя матушка, есть ли у нее хлеба кусок?

Оставил он тогда дом и свою семью, попрощался с Лукерьей и пошел далеко, в ту избу, где жила его мать. А там уж нет ничего, одно чистое поле, и не видно на земле, где изба стояла.

«А где же Яшка — Красная рубашка?» — подумал Иван и кликнул вслух:

— Отзовись, Яшка, как прежде было!

Глядит Иван и видит: идет по полю Яшка, такой же, как и прежде, ни молодой ни старый, ни живой и ни мертвый, зато послушный, и ведет он за руку ветхую старушку, сгорбленную так, что лицо ее почти касается земли.

Увидел Иван, что мать его идет.

— Здравствуй, моя матушка! — сказал он.

Мать протянула к нему руки, да не в ту сторону, где был Иван.

Сказал тогда Яшка — Красная рубашка:

— Она слепая стала. Она глаза по тебе выплакала, не видит ничего.

Припал Иван к матери, обнял ее и поцеловал в слепые глаза.

— Прости меня, матушка, — говорит, — что обиделся я тогда и забыл про тебя.

Поднял Иван старую мать на сильные руки и понес ее в свой дом: там ждала его прекрасная жена Лукерья, там жили его дети и внуки, и там для бедной его матери было уготовано счастье.

Яшка пошел следом за Иваном и спросил его:

— А мне делать что велишь?

— А ты детей будешь забавлять! — сказал Иван Яшке.

БЕЗРУЧКА

Жил в деревне старый крестьянин, а при нем жена и детей двое — сын да еще дочь. Прожил крестьянин свой век и помер. А за ним и старуха собралась помирать, настала ее пора. Позвала она к себе детей своих, сына с дочерью. Дочь была у нее старшая, а сын младший.

Вот наказывает мать сыну, говорит ему:

— Слушайся во всем свою сестру, как меня слушался, будет она тебе теперь вместо матери.

Вздохнула мать в последний раз — жалко ей было с детьми навек разлучаться — и померла.

После смерти родителей брат и сестра стали жить, как мать им велела. Брат слушался сестру, а сестра любила брата и заботилась о нем.

Долго ли, мало ли жили они без родителей, раз сестра и говорит своему брату:

— Трудно мне одной в хозяйстве справляться, а тебе жениться пора; женись, хозяйка в доме будет.

А брат не хотел жениться.

— И ты хозяйка, — говорит он сестре. — Зачем нам другая?

— А я ей в помощь буду, — сестра говорит. — Вдвоем-то с нею нам работать сподручней.

Хоть и не хотел брат жениться, да не посмел ослушаться старшей сестры, потому что почитал ее как родную мать.

Оженился брат и стал жить с женою хорошо. А сестру свою он любил и почитал, как прежде было, и во всем слушался ее.

Жена его сперва послушно жила и терпела сестру мужа, свою золовку. А золовка и вовсе ей угождала.

Да только не по нраву стало братней жене, что она не первая в доме и своей золовке ровня. Вот уедет хозяин молодой поле пахать, либо в город на торг, либо в лес, а вернется ко двору — и дома у него неладно. Жена ему на сестру жалует-

ся: и делать сестра его ничего не умеет, и сердцем она злая, и горшок новый разбила...

Молчит муж и думает: «Ты со двора, а на двор беда. Эко дело лихое!»

Однако нельзя мужику без отлучки жить.

Поехал брат опять со двора, а на двор новая беда.

Вернулся он, жена ему и говорит:

— Дело твое, а сестра твоя нас по миру пустит: гляди-ко, в хлеву коровушка наша Жданка сдохла ввечеру. Сестра твоя, ненавистная такая, скормила ей чего-то, корова и пала.

А того не сказала жена, что она сама скормила корове вредной травы, лишь бы сестру мужа сжить со двора.

Брат и говорит сестре:

— Сгубила ты корову, сестрица. Знать, сызнова надо скотину наживать.

Хоть и невинна была сестра, да, чтоб брат на жену не подумал, взяла вину на себя.

— Оплошала я, братец, — говорит, — а больше того не случится.

— Ну, ин так, — брат говорит. — Благослови меня, сестрица, поеду я в лес, на работу, копейку в дом наживать. Гляди в хозяйстве-то, чтобы ладно было. Жена родит, ребенка прими...

Уехал он в лес, и долго его в доме не было. Жена без него и сына-младенца родила, а сестра приняла младенца и полюбила его. Да недолго жил младенец на свете: заспала его мать по нечаянности, и он умер.

В ту пору воротился брат из лесу. Видит он — горе в его доме. Жена плачет, причитает и говорит ему:

— Это сестра твоя, золовка моя, змея подколодная, удушила она сыночка нашего; теперь она и меня со света сживет.

Услышал брат слова жены и лютым стал. Кликнул он сестру:

— Я думал, ты заместо матери мне. Ведь я ни хлеба, ни одежды тебе не жалел и не ослушался тебя ни в чем... А ты сына у меня единородного отняла! А был бы у меня сын, было бы мне утешение и надежда на старость. Да и тебя он кормил бы, когда не станет у тебя силы работать. А ты убила его!

И он сказал еще:

— Не увидишь ты завтра белого света!

Сестра хотела вымолвить слово в ответ, да брат от лютости и от горя своего не стал ее слушать и глядел на нее, как чужой, словно не зная ее.

Поутру рано брат разбудил сестру.

— Собирайся, — говорит, — поедем мы с тобой со двора.

— Рано еще, братец, — говорит сестра, — на небе сумеречно.

А брат ее не слышит и приказывает:

— Собирайся, — говорит, — и платье надень лучшее.

— Братец, а нынче и празднику нету, — молвит в ответ сестра.

А брат не слышит вовсе и коней запрягает. Повез он ее в лес и вот остановил коней. А по времени было еще рано, чуть свет.

Тут в лесу пень стоял. Брат велел сестре, чтобы она стала на колени да голову свою положила на пень.

Сестра положила на пень свои руки, а потом склонила на них и голову.

— Прости меня, братец, — вымолвила она и хотела ему еще сказать, что ни в чем она не повинна: может быть, он теперь услышит ее.

Да брат уж высоко топором замахнулся: некогда ему было слушать сестру.

В то время вдруг воскликнула на ветке малая птичка, и голос ее был звучен и весел. Сестра услышала птичку и подняла голову, желая послушать ее, а руки ее лежали на пне.

Брат ударил топором и отсек обе руки по локти. Не мог простить он за сына, и мать бы родную не простил.

— Ступай, — говорит, — куда глаза твои глядят, ступай от меня скорее... Хотел я тебе голову отсечь, да, знать, судьба тебе жить.

Глянул брат на сестру и заплакал. «Отчего такое, — думает, — от счастья бывает одно счастье, а от беды — две беды? Нету сына у меня теперь, и сестры нету».

Тронул он лошадей и уехал, а сестра его осталась одна в лесу. Встала она с земли и пошла, безрукая, куда глаза глядят. Идет она по лесу, видит — тропинки все травой давно

заросли, и куда они ведут — неведомо; а вскоре и заросших тропинок не стало. Заблудилась сестра, платьем обносилась, блуждаючи, и обессилела, не евши.

Дни проходят, и ночи минуют, а сестра все идет, куда глаза ее глядят. Без рук ей непривычно, и скучает она по брату. Идет сестра и плачет:

Ветры вы, ветры буйные,
Донесите мои слезы до матушки,
Донесите до батюшки.
Да нету матушки, нету батюшки!
Солнышко ты, солнышко,
Обогрей меня, горемычную!

Затмился перед нею весь свет слезами, а утереть их она не может. Идет она и не видит, как ветер причесал ее волосы, как солнце разрумянило ее щеки, и стала она от того миловидна и хороша лицом. Стало быть, правду говорят, что честных и горе красит, а бесчестным и красота не к лицу.

А когда высохли ее слезы, увидела она сад, а лесу не было. В том саду на деревьях яблоки дозревают — сочные, рассыпчатые. Иные вовсе низко зреют, можно ртом достать. Скушала сестра одно яблоко и второе попробовала, а третье не тронула, остереглась: в первый раз ей чужое есть пришлось, нужда смертная заставила.

Тут подошел к ней караульщик-старик и побранил ее.

— Ах ты ведьма! — говорит. — Откуда явилась яблоки чужие ртом хватать! Я тридцать годов сад караулю, а ни в кое время ни единого яблока вор у меня не украл! А ты явилась и скушала! Ишь ты, безрукая воровка!

Побранился караульщик и повел безрукую к хозяину сада.

А в ту пору молодой сын хозяина сидел в избе и в окно глядел. Видит он девицу, собою убогую и худую и на лицо сперва неприметную, да в глазах ее была столь добрая душа, что красила ее пуще всякой прелести, и красавиц — лучше ее нету. Залюбовался он на пришлую девицу, забилось в нем сердце от радости.

— Отпусти ее! — крикнул он караульщику.

Подошел он сам к той девице, смотрит — а она безрукая. И еще более полюбил ее молодец; видно, кого любишь, того и калечество не портит.

Однако опечалился тут молодец: что отец еще скажет?

Подошел он к отцу, поклонился ему и говорит:

— Позволь мне, батюшка, весточку тебе сказать — да весточку в радость, а не в кручину. Караульщик наш пленницу в саду твоем поймал, а милее ее нету мне никого на свете. Не губи моего сердца, батюшка, дозволь мне жениться на ней!

Вышел отец во двор, поглядел на безрукую девицу и говорит:

— Чего ты, сын мой! Есть и краше ее девицы, да и побогаче найдутся. А эта что же — она калека безрукая. Суму ты нищую будешь за ней таскать!

Сын ответил отцу:

— Есть и краше девицы, да милее ее мне нету. А что суму нищую за нею таскать — что же, батюшка, коли судьба нам такая, буду и суму таскать.

Задумался батюшка.

— Гляди, — говорит, — сам, сын мой любезный. В хозяйстве я волен, в саду своем я волен, а в сердце твоем я не волен. Сердце твое не яблоко.

Сыграли честную свадьбу, и стали молодые жить своим семейством, как все люди живут. Жили они в ладу друг с другом, жили они в счастье, да недолго им жить вместе пришлось, настала для них разлука.

В ту пору началась война с неприятелем, и у безрукой жены взяли мужа в военную службу. Вот уходит он на войну и просит отца:

— Батюшка, не оставь жену мою! Она родить должна, так напиши мне письмо в тот час, а я порадуюсь сыну либо дочери.

— Не горюй, сын мой, — отец говорит, — гляди там, даром головы своей не отдавай. А по жене скучать скучай, а горевать не надо: она мне будет как дите родное.

И ушел молодец на войну. А пришел срок — родила ему сына безрукая жена. Поглядела мать на своего младенца, поглядел дед, и видят они: руки у младенца золотые, во лбу светел месяц сияет, а где сердце — там красное солнце го-

рит. Да, гляди, для матери и для дедушки иных детей и внуков не бывает.

Уехал батюшка в столицу, повез он яблоки продавать на гостиный двор. А безрукая мать позвала старика караульщика и велела ему написать мужу письмо. В давнее время старик этот в солдатах служил и грамоте знал. Сперва она велела поклоны написать — от нее и от батюшки, а потом о сыне велела написать, что родился-де у них прекрасный младенец, и все приметы его велела описать, отчего все люди радуются, глядючи на него.

Сложил старик письмо, спрятал его за пазуху и пошел.

Вот идет он лесом, идет полем, глядь — и ночь настала. Видит он: изба стоит, и попросился ночевать.

Стал старик на ночлег; хозяева его ужином накормили, а хозяйка и постель постелила прохожему человеку. Хозяин лег и уснул, а хозяйка начала пытать прохожего старика, чей он сам, да откуда идет и куда, да как до старости дожил — худо ли, хорошо ли, сытно или голодно.

Рассказал прохожий, как он прежде жил и какая у него теперь забота.

— Вот, — говорит, — несу молодому хозяину добрую весть: родила жена ему сына. А жена-то у него хоть и безрукая, зато лицом умильная, а по сердцу считать — так никого ласковее ее нету.

Хозяйка избы подивилась:

— Аль и вовсе безрукая?

— Безрукая, — сказал старик. — Слух был, брат родной отрубил ей руки, со зла, стало быть.

Хозяйка опять подивилась.

— Ишь ты ведь, — говорит, — злодеи какие бывают! А где же весть твоя? Не потеряй, гляди!

— А тут, — старик говорит, — весть: в бумаге за пазухой лежит.

Хозяйка ему:

— Ты бы, — сказывает, — в баньке попарился; умаялся небось и пропотел в дороге. Я тебе враз баньку-то истоплю.

Старик обрадовался: и то, дескать, от бани всегда польза.

Истопила баню хозяйка, снял старик одежду и пошел кости попарить. А хозяйка не от доброго сердца и не от уваже-

ния истопила баню прохожему человеку: муж-то ее приходился братом безрукой сестре, отсюда он ее и в лес увез, да не доказнил ее до смерти. Нашла хозяйка письмо в исподней рубахе старика и прочитала его; прочитавши, бросила она то письмо в печь, написала другое и положила его обратно старику. А написала она в письме, что, дескать, родила жена мужу не ребенка, а спереди вроде как поросенка, сзади собаку, а со спины он на ежа похож, и что теперь делать с ребенком, пусть муж отпишет.

Настало утро, и ушел старичок далее. А когда прошло время, идет тот самый старичок назад, идет по старой дороге. Увидела его хозяйка, которая его и прежде привечала, и зовет в избу.

Остался ночевать старик в знакомой избе. Хозяйка его и спрашивает: с чем он ко двору идет, что ему молодой-то хозяин сказал.

— А молодого хозяина я и не видел, — старик говорит, — он в бою был в тот час; а кончился бой, мне письмо от него передали, в нем и воля его сказана.

— Какая же в письме воля его сказана? — спрашивает хозяйка.

— А мне неведомо, — отвечает старик. — А читать письма я не смею.

Сказал старик и стал собираться спать ложиться: на дворе-то уж завечерело. Хозяйка ему и говорит:

— Дай-ко, дедушка, рубаху я тебе зашью — ишь в дороге-то как обносился.

А старик-то уж спит. Взяла его рубаху хозяйка, поглядела, а изнутри к рубахе бумага пришита — письмо. Стала она читать, что написано. Муж пишет безрукой жене, он велит ей, чтобы она берегла и жалела их дитя, а что оно безобразным родилось, так для него оно все равно дорого и мило; и о том же муж безрукой жены и батюшку своего просит, чтобы и батюшка глядел за младенцем и берег его.

— Нет, — прошептала хозяйка, — не углядит твой батюшка за младенцем.

И написала она другое письмо: пишет, будто бы муж Безручки к своему отцу, а жене ничего не пишет; пишет он, чтобы батюшка прогнал прочь со двора его жену вместе с ее

сыном, не хочет он более ее знать, не желает он жить с безрукой женой, не под стать она ему, воину, а если уцелеет он на войне, то будет у него другое семейство.

Починила хозяйка стариковскую рубаху, пришила к рубахе свое письмо, как и было, а истинное письмо оставила себе.

И ушел старик.

Вот явился он к своему хозяину, свекру Безручки, и подает ему письмо.

Прочитал старый хозяин письмо и позвал Безручку.

— Здравствуй, — говорит, — хозяюшка!

А Безручка ему:

— Здравствуй, батюшка! Да какая же я при вас хозяйка? Я младшая в доме.

Задумался тут старый свекор.

— Да и я, — говорит, — не хозяин. Когда тебя караульщик привел, хотел было я тебя со двора прогнать, а ты в доме осталась. А нынче хочу я, чтобы ты всю жизнь в моем доме жила, а ты уйдешь навсегда.

И сказал ей свекор, как сын ему в письме написал.

— Со двора велел прочь тебя согнать. Видно, переменилось у него сердце к тебе.

Наутро Безручка взяла своего сына-младенца в подол, а край подола зажала в зубах и ушла со двора — ушла туда, куда все уходят, кому некуда идти: куда глаза глядят.

А свекор-старик остался один в доме! И заскучал он по внуку, заскучал по безрукой невестке. Тогда позвал он старого караульщика и велел ему отыскать Безручку со внуком и вернуть их домой. Караульщик пошел в поля и леса, долго ходил там и кликал Безручку. Да свет велик, где их найдешь, и караульщик вернулся ни с чем.

Старый садовник стал томиться и тосковать, а однажды лег спать и вовсе не проснулся — он умер во сне от своей печали.

А Безручка вышла со двора и пошла по свету, куда глаза глядят. Миновала она чистое поле, захотелось ей пить. Вошла она в лес, видит, в лесу дедушка дуб растет, а неподалеку от него — колодец. Наклонилась Безручка над колодцем, а как напиться, не знает — вода глубоко стоит. Наклонилась

Безручка пониже — может, достанет. Видит: вот она, вода. «Ну, — думает Безручка, — я хоть губы смочу». Прильнула она к воде, разжала зубы, и выпал ее ребенок из подола в колодец. Потянулась мать в колодец, вспомнила про свое калечество и заплакала. «Ах, — подумала Безручка, — зачем я на свет родилась! И горе и обиду терпеть я могу, и дитя я родила, а спасти его не могу!»

И видит она сквозь воду, как сын ее на дне колодца лежит. И видит она еще, что руки у нее выросли, потянулась тут она к сыну и схватила его. А как выхватила она ребенка из воды, как спасла его, так рук у нее опять не стало.

И пошла Безручка дальше со своим спасенным сыном. А когда стало темно, попросилась она на ночлег в одной деревне. Наутро хотела было Безручка уйти далее, да народ в той деревне добрый был, оставил он у себя безрукую мать на житье и сына ее приютил на воспитание.

Вырос сын Безручки средь доброго народа, а война, где отец его воевал, еще не окончилась. В старину ведь долго воевали.

Пришло время, и взяли сына Безручки на войну. Справила мать сына, чтобы ни в чем недостатка у него не было, и народ помог ей справить воина. Купили сыну коня, купили одежду и припасу — пусть едет. Стала мать прощаться со своим единственным сыном.

— Езжай, — говорит, — и живым ворочайся. Там и отец твой воюет. Наступила твоя пора, сынок. Враг придет — нам на свете не жить, а прогонишь врага, так нам с тобой не разлучаться.

И уехал ее сын на войну. А мать осталась одна и затосковала о сыне. Днем она думала о нем, а ночью он ей снился. То она видела, что он побил всех врагов и к ней возвращается, то она видела, как он лежит один в поле убитый, а вороны выклевывают его глаза.

Не стерпело ее сердце, оделась Безручка в солдатское платье и ушла на войну.

Вот пришла Безручка на войну. Увидели ее солдаты, подумали, что она мужик, и сказали ей:

— Сидел бы ты дома на печке, земляк — чего калеке на войне делать! Храбрец ты, да не к месту!

А Безручка нашла, что ей делать. Стала она утешать больных и умирающих, и, бывало, кто бы умереть должен, гляди, и не помирает при добрых словах Безручки; кто духом ослаб, так Безручка впереди него на врага идет, и оробевший воин вновь поднимает меч. Так было дело.

А однажды Безручка увидела своего сына. Он бился среди поля с неприятелями, и они падали мертвыми возле него. Трудно ему было. Вот уже пали все его товарищи, что бились рядом с ним, и остался он один. А на место павших неприятелей подходили другие, и число их не кончалось.

Глядит мать, устоит ее сын или нет. Велика его сила, да и на силу есть пересилок. Видит Безручка — наседают враги тьмою, и сына уже не видит: жив он или нет. А издали сам полководец следит за тою битвою. И он говорит своему помощнику:

— Узнай, какой это наш богатырь там бьется, чей он родом, и дай ему сейчас же подмогу.

А подмога когда еще придет! Успеет ли, нет ли. Безручка увидела вдруг, как встал ее сын с земли средь павших врагов, да в тот же час навалилась на него опять чужая, черная сила. Увидела мать — настало ее время. Воскликнула она:

— Стой, мой сын! Стой, единородный мой! — и бросилась на помощь.

Не подумала она, что рук у нее нету, только сердце ее билось в ярости к врагам и в любви к своему сыну, — и почувствовала она вновь свои руки и силу в них, будто и не отрубал их брат никогда. Подняла она вострую саблю павшего воина и стала сечь врагов, теснивших ее сына. Долго билась она, обороняя сына, и начала уже уставать, да и сын ее еле стоял и кровью обливался. Тогда пришла помощь от полководца, и новые воины посекли мечами остатних врагов, а павшие от рук Безручки и ее сына уже лежали мертвые. Сын Безручки хоть и бился возле матери, а узнать ее не мог: ему и глядеть на нее некогда было, да и поглядевши, он бы не узнал ее, как его родная мать была безрукая, а у этого воина были могучие руки.

Вскорости за побитием врагов война окончилась. Тут полководец призвал к себе самых храбрых воинов: кто, дескать, откуда родом, кому сыном приходится, и пусть каждый награду получает. Призвал он и сына Безручки и спрашивает его:

— Чей ты, молодец? Кто у тебя отец с матерью? Надо бы и родителям твоим награду дать, что сына такого взрастили.

Поникнул сын Безручки.

— Нету, — говорит, — у меня батюшки, и каков он был — не помню. А рос я с малолетства один у матери, земля была нашим ложем, а небо — покровом, а добрый народ был заместо отца.

— Народ всем отцам отец, — сказал так полководец, — я сам перед ним меньшой и наградить его не могу. А матери твоей полагается награда за то, что взрастила храброго сына. Пусть она явится ко мне и получит в свои руки награду!

— А у нее рук нету, она безрукая, — сказал сын Безручки.

Поглядел тут Полководец на молодого воина пристально и печально и говорит:

— Ступай, — говорит, — и приведи свою мать ко мне.

Пошел тогда сын Безручки в деревню за матерью, а деревенские люди ему сказали, что его мать тоже на войну ушла, утешать увечных и рубленых.

Вернулся он к полководцу и говорит: так и так, мол, нету матери, она при войске.

Полководец велел привести к нему всех, кто помогал исцелять раненых и умирающих, и стал награждать их за доброе дело. И когда подошла к нему безрукая женщина в простой солдатской одежде, полководец поглядел в ее лицо и узнал в ней свою жену, а Безручка увидела, что полководец этот — ее муж. Безручка хотела обнять своего мужа — целый век жила она с ним в разлуке, да вспомнила: нет у нее рук. Они у нее опять сразу отсохли, как она сына отстояла в бою. Однако не стерпела Безручка и потянулась к мужу. Его она всегда любила и не могла забыть. И в тот же миг, словно из сердца, выросли у нее руки, такие же сильные, как прежде были, и обняла она своего мужа. И с тех пор навсегда руки остались при ней.

Позвал отец тут сына и говорит ему:

— Здравствуй, сын мой! Я отец твой, а ты не знал меня, и я тебя не знал. Злые люди разлучили нас, да есть сила сильнее злодейства.

Глянул тут сын на отца и обрадовался, а потом глянул на мать, видит ее — а мать теперь с руками. И вспомнил он по-

следнюю битву и того воина, который оборонял его своим мечом. Сын бросился перед матерью на колени и стал целовать ее руки, что спасли его.

И вскоре, как наступило мирное время, поехал полководец домой, к своему двору, где жил он с отцом когда-то, где увидел Безручку и полюбил ее. Взял он с собой жену и сына и поехал на покой. А по дороге заехали они к брату Безручки, потому что двор его стоял на пути.

Жена Безручкиного брата как увидела, как узнала, кто это приехал — и Безручка сама, и все семейство ее, и все целые и здоровые, и все в знатности, — так повалилась со страху им в ноги и рассказала сама, без спросу, чего она сделала для погибели Безручки и ее сына-младенца.

Может, подумала она, по давности-то и помилуют.

Выслушала ее Безручка, а в ответ рассказала про свою судьбу, какую она испытала.

Поклонился брат Безручки своей сестре и сказал:

— Спасибо тебе за рассказ, а зло на посев не оставляется. Прости меня, сестра моя родимая!

В ту же ночь, тайно от своих гостей, вывел он из конюшни необъезженную кобылицу, привязал к ее хвосту скрученными вожжами свою жену, а себя привязал к жене, а потом гикнул, лошадь понесла, поволокла мужа с женой в чистое поле и там растрепала их насмерть о землю.

А Безручка с мужем и сыном ждали-пождали утром хозяина с хозяйкой, да дождались только кобылицу, что прибежала одна, без людей, из чистого поля.

Не дождались гости хозяев и уехали жить-поживать на долгие годы к своему двору. Несчастье хоть и живет на свете, да нечаянно, а счастье должно жить постоянно.

ЧУДЕСНЫЙ МАЛЬЧИК

Жил в старину царь. Были у царя сын и дочь, а жены не было, жена померла. Состарился царь и говорит сыну:

— Я скоро умру. А как помру, так ты царствовать будешь. И вот тебе перстень — задумаешь жениться, выбирай невесту по перстню: кому он будет впору, та и есть тебе жена.

А ежели перстень мой никому на палец впору не придется, то и вовсе не женись.

И умер вскоре царь-отец. Сын схоронил отца, погоревал, положил отцовский перстень за пазуху и поехал по свету — искать себе невесту. Весь свет объездил — может, оставил самую малость, да чего уж там, — а невесты не нашел. Сколько ни встречал девиц молодой царь, а ни одной его перстень впору не пришелся. А против воли отца молодой царь жениться не мог. Воротился он домой и бросил с сердцем тот перстень на стол. А сестра его тут же была: увидела она перстень да и попробовала, впору ли. Ни на один палец перстень не приходился, а на один лишний как раз и пришелся: сестра-то царевна на одну руку была шестипалая.

Увидел брат:

— Аль впору? — спрашивает.

— Впору, братец, впору.

— Стало быть, — брат говорит, — тебе и быть моей женой, так батюшка велел.

— Да что ты, братец, — взмолилась сестра, — где это видано — брату на сестре жениться!

— Ан мне батюшка так наказывал. Перстень-то никому не впору, тебе одной.

— Да ведь батюшка-то забыл, видно, что у меня шестой палец есть, а лишнее не в счет.

Прикрикнул брат на нее:

— Батюшка знал, что наказывал. Аль ты умней его!

Придумала тогда сестра:

— Вели ты построить, братец, на берегу моря малый домишко. Поживу я там покуда, а потом и будет по-твоему...

Послушался брат сестру, велел построить домишко ей на берегу моря не на долгий срок. Живет там сестра царя с одной девушкой-чернавкой, живет и печалится: как ей дальше быть, не хочет она быть у брата женой, неслыханное это дело.

Вот видит она: рыбак рыбу ловит в море. Кликнула она рыбака, рыбак и явился на берег. Взяла царевна у рыбака большую рыбу, отдала ее своей девушке и сказала ей:

— Ступай к брату, отнеси ему рыбину и скажи, чтоб к свадьбе готовился.

Понесла девушка рыбу к царю, а сестра царя упросила рыбака отвезти ее далеко-далеко, на другой берег моря, иначе беда ей будет от брата-царя. Добрый рыбак отвез царевну на другой берег моря, и осталась царевна в чужой земле одна. Отошла она от берега в лес, увидела там дупло и стала жить в лесу, а как ей дальше быть, не знает. В лесу безлюдье, никого нету, питается молодая царевна ягодами да дикими плодами; изголодалась она, оборвалась одеждой, обнищала. И увидела она однажды старую женщину; женщина пришла в лес по грибы. Спряталась царевна в дупло, а женщина еще прежде углядела ее. Подошла женщина к дереву и говорит:

— Не бойся меня, не укрывайся. Если ты старая старуха, будешь мне старшей сестрой, если молодая, будешь дочерью. Выходи, дай взглянуть на тебя!

Отвечает ей из дупла царевна:

— А как я выйду-то, да я бедная, одеться не во что!

Ушла старуха в свою избушку, собрала платье и мужу своему старику похвасталась:

— Клад нашла в лесу, дочку нерожденную.

Обрадовался старик:

— Вот и ладно. Дети всегда к добру.

С тех пор сестра царя стала жить в избушке у старых людей. Пригляделись старики, видят: гостья их душою ласковая, нравом терпелива, а что шестой палец у нее на руке, так это к счастью. А у стариков был сын. Они и говорят:

— Настасья (царевну Настасьей звали), Настасья, ты девица на возрасте, выходи замуж за нашего сына.

А Настасья и не видела их сына.

— А где же он? — спрашивает. — Где ваш сын?

А сын их восемнадцать лет в другом лесу живет и там свиней пасет.

Тогда Настасья-царевна велела привести домой стариковского сына, а сама думает: «Уж лучше я за свинопаса замуж выйду, чем за родного брата: так-то!»

Привели старики своего сына, а тот весь мохом и щетиной оброс.

Поглядела на него Настасья-царевна и сначала ничего не сказала, вздохнула только. Вот остригла, обмыла, обрила царевна своими руками свинопаса, а на другой день на

ярмарку со старухой съездила, там платье-одежду купила и в то платье обрядила свинопаса. Потом стала она его уму-разуму учить. И тут сказала ему наперед: если будешь, дескать, грамоте учиться, будешь жить по правде, тогда я подумаю-подумаю, да и замуж за тебя выйду. Научила его Настасья, что сама знала и умела, а потом и говорит старикам:

— Воля ваша, а как вы желали сына своего на мне женить, так я согласна...

Обрадовались старики, а сын и того пуще: он все не верил, что Настасья полюбит его, пастуха.

Прошло еще время, два года, родился у Настасьи сын. Мальчик родился таким разумным, всем людям был на удивление. Он еще грудным был, а уж разговаривал с матерью, и чего мать не знает, младенец ей скажет. Такой был осмысленный отроду. Вот были бы рады внуку дедушка с бабушкой, а их не стало на свете, померли они.

Поехал однажды отец на деревню в гости, а Настасья дома при сыне осталась. Ждет-пождет мужа, а его все нету.

«Не случилось ли чего? — думает Настасья-жена. — Пойду-ка я в деревню, кликну его, а сын в колыбели полежит, он у меня разумный».

— Ты лежи да дом сторожи, — сказала она сыну, — а я за отцом пойду.

— Иди, мама, — сын ей в ответ. — Да гляди-ко, ненастье будет.

А мать ему:

— А я туда-сюда и вернусь. Я до ненастья управлюсь.

И ушла. Вскоре на дворе началась непогода, пришла буря с дождем.

Долго не было ни отца, ни матери. Соскучился мальчик лежать в колыбели, да и в избе стало смеркаться.

Подумал мальчик: «Хоть бы пришел кто ко мне, что ж я один-то лежу!»

Только он так подумал, в это время кто-то и входит в избу.

Видит мальчик: старичок пришел. Обрадовался гостю маленький хозяин:

— Садись, — говорит, — на лавку и сказывай — чей ты сам будешь, откуда явился?

Удивился старичок: как, дескать, такой малолетний, сам еще в колыбели лежит, а уж так явственно разговаривает. Однако чужой дом — не свой, в нем и порядок другой. Значит, дело тут хозяйское: младенцы, может, умнее стариков.

Старичок и говорит: как ночь, так под печкой в его доме говорит и стонет кто-то: «Ой душно мне, ой душно мне!» — а идет он в город к колдуну Асону, а колдун этот умнее всех на свете, он все знает — так в их деревне самые старые старики и старухи сказывают, а они-то знают, давно, чай, на свете живут, больше него.

Мальчик слушал-слушал и говорит гостю в ответ:

— Гляди-ко, дедушка, попросит у тебя Асон половину того, что лежит зарыто под печкой, так ты ему половину не давай, а дай четверть да про меня, гляди, ничего не говори. А теперь возьми на полке хлеба, там и квас стоит, поешь да отдохни.

Поел старик, отдохнул, спасибо сказал и в город к Асону пошел. Разыскал он там двор колдуна Асона и к нему: вот, господин колдун, как ночь, так у меня дома под печкою страшное дело делается; так нельзя ли, говорит, узнать, что есть там такое, и нас со старухой от напасти избавить.

— А можно, — говорит колдун Асон. — Можно тебя со старухой от напасти избавить, а ты мне дай половину того, что под печкою лежит.

Старик ему:

— Нет, Асон, будет с тебя и четверти.

Асон старику:

— А трех четвертей тебе не много ли?

— Да нет, — старик ему, — где же много, когда до полного четверти не хватает!

«Жаден старик, — подумал Асон. — Ну да я с него свое возьму, не сейчас, чай, добро-то делить».

Поехал Асон к старику. Вот приехали они в избу, где жил старик, велит Асон печь ломать. Когда сломали печь, видят: яма под печью, а в яме золото да серебро, верхом полно. Обрадовался старик и стал раскладывать клад на четыре части. Колдун ему и говорит:

— А ведь ты, старик, не своим умом живешь! Кто тебя научил дать мне четверть и не давать половины?

Старик и туда и сюда: у меня, дескать, и своя голова не бедна, видишь — круглая.

Да Асон-то колдун был хитер.

— А ты скажи, — повторяет, — кто тебя уму научил. Скажешь, так я с тебя и четвертой доли не возьму, весь клад тебе достанется.

Поскупился старик на четверть клада и сказал, как дело было и где тот мальчик живет.

Сел тотчас Асон-колдун в повозку и поехал поскорее в ту сторону, где жил сын свинопаса и царевны.

— Ужо я тебе! — погрозил он сыну пастуха. — Аль ты умней меня? Ишь ты, родился какой, — хлеб у меня отымаешь!

Подъехал он к избе в лесу, вошел туда, поклонился хозяевам.

— Дозвольте, — просит, — отдохнуть малость с дороги и чаю напиться!

Настасья поставила от доброго сердца пироги на стол и чаю согрела.

Колдун чай пьет, пироги ест, а сам на мальчика поглядывает. В это время вскочил петух в избу, захлопал крыльями и кукареку закричал.

— Ишь, горластый! — сказал Асон. — О чем орешь-то?

А сын Настасьи вылез из колыбели, сел на лавку и говорит:

— Петух сказал: будешь ты скоро в бедности, а все твое богатство я возьму себе.

Ничего не ответил колдун. Выждал он время, когда хозяин с хозяйкой отлучились из избы, схватил мальчика, завернул его в шубу, чтоб крика его не услышали, да и уехал с ним со двора.

Приезжает он к избе и зовет повара с кухни.

— Вынь, — приказывает, — из этого мальчишки печень и сердце и приготовь мне к обеду.

Асон думал, что от этого он сразу умнее мальчика станет.

Повар взял мальчика на кухню и стал нож точить.

Мальчик спрашивает:

— Дяденька, зачем ты нож точишь — он и так острый!

А повар отвечает:

— Барашка колоть.

— Ты старше меня, а неправду говоришь, — сказал мальчик. — Это ты не барашка, ты меня хочешь резать.

У повара и нож тут из рук вывалился: оробел он перед маленьким мальчиком — откуда, дескать, знает все этот малолетний человек? И жалко ему стало губить такое разумное невинное дитя.

— Отпустил бы я тебя, — повар говорит, — да боюсь хозяина.

— А ты не бойся! — Евсей ему говорит (мальчика-то по отцу Евсеем назвали). — Ты не бойся! Возьми у собаки щенка, вынь из него печень, вынь сердце, зажарь их и дай своему хозяину.

Повар все так и сделал, а мальчика Евсея спрятал в чулане при кухне: пусть живет.

А в то же время приснился тамошнему царю непонятный сон. Стоят будто бы у него во дворце три большие золотые блюда и едою полны, и вот прибежали собаки и стали из этих блюд пищу есть. Задумался царь: что означает этот сон? Велел он позвать Асона.

— Угадай, — говорит, — мой сон. Да угадай нынче же, чтоб к завтрашнему дню я знал, а не то все твое богатство отберу от тебя, нищим останешься.

Воротился Асон домой ни жив ни мертв и на всех сердитый. Увидел повара, как закричит на него:

— Это ты мальчишку со света сжил? Эх ты, безголовый, мало ли чего я в сердцах прикажу!

— А я не безголовый! — повар ему. — Мальчик тот жив, Евсейко-то, я в чулане его берегу.

Асон к Евсею: снился мне сон, говорит, и рассказал сон царя, а потом спрашивает: что это значит? Евсей и отвечает Асону:

— А то значит — не тебе сон этот снился, а царю!

— Ах, умница ты, ах, молодец! — обрадовался Асон. — Ты ведь правду угадал! А теперь ты сон разгадай и мне скажи! Иль не можешь?

Евсей ему в ответ:

— Могу, — говорит, — я уж отгадал и знаю, что означает сон царя, да самому царю и скажу, а тебе про сон не дознаться.

Рассерчал колдун против малолетнего Евсея, а сделать зла ему не может, не время сейчас. Наутро Асон взял Евсея за руку и повел к царю.

Увидел царь Асона:

— Ну, Асон, рассказывай мой сон!

— Да что ж тут рассказывать-то, государь, — начал лукавый колдун. — Сон твой совсем не мудрен, его и малолетний ребенок разгадать сумеет. Вот хоть бы мой кухонный мальчишка Евсей: он тебе, государь, сейчас все как по писаному расскажет.

— Так ли это? — спрашивает царь. — А коли знает Евсей, пусть рассказывает.

— А я забыл, — Евсей тут говорит, — как отгадка начинается. Асон пусть начнет, а я закончу.

Царь и приказывает:

— Начинай, Асон, отгадку!

Думал-думал Асон, а начать говорить ничего не может, ничего он не знает.

Повалился Асон в ноги царю и стал прощенья просить.

А Евсей сказал царю:

— Сон твой правдивый. Есть у тебя три дочери, и родят они тебе скоро по внуку.

Прошло немного времени, и родились царю три внука. Наградил тогда царь Евсея подарками, а в придачу отдал ему Асоново богатство, а колдуну велел работать — с царской кухни очистки выносить — и более не колдовать.

Евсей отдал Асоново богатство и царские подарки тому повару, что спас ему жизнь, и ушел жить к родителям.

Вот живет он при отце, при матери, как и прежде жил, а кто придет к ним в избу, кто побеседует с маленьким Евсеем, всякий удивляется его разуму и догадливости.

Один странник послушал мальчика и сказал:

— Знать, времена другие наступают — ишь, дети какие рождаются... У кого ты разум свой взял, Евсей?

Евсей говорит:

— У отца с матерью.

— Да отец-то твой пастух!

— А пастухи да пахари умнее царей!

Странник ему опять:

— Может, ты от матери разумным стал. Она у тебя царевна.

Евсей в ответ ему:

— Неправда твоя, — говорит, — мать моя не оттого умна, что царевной родилась, а оттого, что не захотела быть царевной и стала женой пастуха.

— А далее будет что?

— А далее, — мальчик ему, — пастухи будут царствовать, а последние цари будут жить вровень с пастухами.

— Гляди-ко, вровень! — сказал странник. — А цари вровень-то с нами жить не захотят.

— Тогда они помрут, — Евсей ему сказал.

А однажды вскорости разыгралась буря на море: день и ночь гудит. Рыбаки по дворам да по избам сидят: кто сеть чинит, кто так сидит — ветер слушает. А море гудит и гудит, деревья в лесу скрипят от ветра.

И в тот час постучался в избу какой-то человек. Евсей один был дома, родители его уехали в овраг — глину копать для кирпичей, печь надо перекладывать.

Впустил Евсей человека в избу и враз догадался, кто это был: это был родной дядя его, материн брат, царь с того берега моря.

Достал Евсей еду из печи, угощает дядю. Царь ест, а сам молчит и думу думает. Евсей спрашивает его:

— О чем ты думаешь, дядя?

— А какой я тебе дядя? — царь говорит. — Я тебе не дядя!

Подумал тут Евсей: «Отчего-де цари глупые? Пусть дядя перестанет быть царем, он и поумнеет».

— А я знаю, о чем ты думаешь, — сказал Евсей.

Царь усмехнулся:

— Расскажи, коли знаешь лучше меня.

И Евсей рассказал, что было с царем: как он выехал в лодке по морю гулять, а буря налетела, унесла его к неизвестному берегу и лодку о берег разбила; теперь царь сидит и думает, как ему домой воротиться, да только не знает пути. Царь удивился: ишь, смышленый какой, и откуда он знает, чего не должен.

— Я знаю, где один старик-рыбак живет, — сказал Евсей, — он все моря знает, он тебя домой отвезет. А ты возь-

ми меня с собой, я хочу поглядеть, как люди за морем живут.

Царю не жалко:

— А можно! — говорит. — Поедем! Веди меня к старику, что все моря знает.

Поглядел Евсей в окошко: море утихло.

— Пойдем, дядя.

Встали они и пошли.

Старик рыбак посадил их в рыбачий кораблик и повел кораблик по тихому морю на тот берег.

А на том берегу дядя-царь жил невесело, скучно жил, даром что царь. Ни друга, ни жены, ни сестры возле него не было, а были одни слуги, да помощники, да начальники, а они все обманщики.

Евсей увидел это горе царя и спрашивает:

— А почему у тебя жены-хозяйки дома нету?

Царь отвечает Евсею:

— По перстню не приходится и по сердцу нету.

— Отыщем, — Евсей ему говорит. — Знаю я, живет за большим морем волшебница. Трудно до нее морем доплыть, трудно ее видеть, а надобно. Давай перстень, я ей на безымянный палец померяю: будет впору, невесту тебе привезу.

Дал ему царь перстень и говорит:

— А еще тебе чего надо? Ты скажи — я все тебе дам.

— А еще корабль мне надо построить. Большой нужен корабль — больно плыть далече.

Велел царь построить корабль. Строили, рубили, стругали, тесали, народную силу без счета клали — и построили корабль.

Сел Евсей на корабль, взял с собой сто храбрых солдат да сто бочек пива и поплыл вдаль.

Плыли-плыли, не видать ничего. Каждый день спрашивал Евсей у постового солдата:

— Не видать ли чего?

— Не видать, — отвечает солдат. — Всюду одна пустошь.

А в один день без спроса крикнул:

— Видать!

— Чего видать?

— А видать землю, на земле гору, на горе город, а в городе золотой дворец.

— Причаливай корабль туда! — приказал Евсей.

Только они причалили, в городе ударили в пушку. А в том городе, в золотом дворце, жила царевна Ефросинья, отцовская балованная дочь: по лицу красавица, по сердцу не злая и не добрая, добро в ней смешано со злом, как раз пополам, а по уменью и хитрости — волшебница. Увидела Ефросинья чужой корабль — и к отцу:

— Гляди-ко, батюшка, кто там без спросу к нам пожаловал — какой такой невежа!

Послал царь-отец на корабль своего полковника: узнайде, кто там и по каким делам явился.

Полковник взошел на корабль и спрашивает, где главный у них. А главный Евсей. Полковник к Евсею: думал — богатырь или вельможа будет перед ним, а перед ним — отрок.

Спрашивает полковник сызнова:

— А кто тут главный?

Евсей ему:

— А вот он — я. Другого нету.

— Ан врешь, мальчишка! — вскричал полковник. — Ишь, лгуны да охальники какие приехали!

Кликнул Евсей солдат и велел им выгнать невежу прочь с корабля.

Полковник к своему царю: так и так, мол, не приняли меня на корабле.

— Ты, должно быть, грубо говорил с хозяином корабля! — сказал царь. — А где же дураков и грубиянов не бьют! — и послал на корабль другого человека.

Другой царский человек пошел на корабль, первым поклонился Евсею и пригласил его к царю.

Пошел Евсей к царю, сел за стол с угощеньем и стал беседовать. Беседует с ним заморский царь и дивится разуму своего малолетнего гостя.

Рассказал Евсей, из какого он царства-государства и что он видел на свете, а зачем сюда приехал — того не сказал. А под конец беседы Евсей учтиво поклонился царевне Ефросинье и сказал ей, что, дескать, у него перстень: кому он впору придется, того полюбит молодой царь и тот счастлив будет.

Евсей вынул кольцо и подошел к Ефросинье. Царевна с лукавой усмешкой протянула ему левую руку.

Евсей хотел было примерить кольцо к безымянному пальцу, да видит вдруг — нет у царевны того пальчика, один корешок от него остался. Попробовал Евсей на другие пальцы кольцо надеть — не впору.

Спрашивает Евсей:

— А пальчик где же?

Царевна ему:

— С детства отсохши. Я беспалая, о четырех пальцах живу. А есть люди о шести пальцах.

— Есть, — сказал Евсей. — Кому лишнее дается, а кому нехватка.

— И то! — царевна говорит. — А перстень твой хорош. Как раз бы мне впору пришелся, коли нужный палец был бы у меня.

— А коли впору, так и перстень твой! — сказал Евсей: поклонился он Ефросинье и положил ей перстень в руку.

Хоть и богата Ефросинья-царевна, а жадна была на все, что блестит.

На другой день Евсей позвал царя в гости на корабль. Он обещал показать царю и Ефросинье-царевне разные диковинки, каких нету в здешних местах.

Вот корабельные солдаты сварили на другой день щи с говядиной, поставили вино, и пришел к обеду царь с дочерью Ефросиньей, а с ним пришли помощники царя, чины и домочадцы. Накормили хозяева гостей едой, напоили вином, гости и заснули за столом.

Тогда Евсей велел солдатам вынести всех гостей на берег по старшинству, по чинам. Первого вынесли царя, за ним и прочих всех, а Ефросинью Евсей загодя увел в дальнюю корабельную горницу и положил перед ней расшитый узорный плат, пусть любуется. А солдатам Евсей приказал, как только снесут на берег последнего гостя, немедля отплывать на корабле обратно домой. И еще Евсей сказал солдатам: если увидят на корабле зверя какого или гадину, пусть загоняют того зверя туда, откуда он вышел.

Так и случилось. Только отошел корабль от берега, Ефросинья озлилась, ударилась о пол и стала зверем. Солдаты

глядят: выползает на верх корабля, на палубу, лохматое чудовище. Солдаты не оробели и прогнали чудовище вниз. А вскорости, глядь, змея толстая ползет. Солдаты и ее прочь прогнали в корабль. Видит Ефросинья, нельзя ей уйти — заплакала она и обратилась в красивую девушку-царевну, какой от роду была. И вот приплыл корабль домой, к той земле, где царствовал дядя умного Евсея. Встретил царь свой корабль, а как увидел он красавицу царевну и заветный перстень отца на корешке ее безымянного пальца, так полюбилась ему заморская девица. Обрадовался царь, да и женился немного погодя на Ефросинье, как свадьбу приготовили.

А как сыграли свадьбу, Евсей и говорит своему дяде:

— Вот ремень тебе морской, моченый. Как Ефросинья скажет тебе — она нездорова, — так ты ее не слушай. А ударь ее три раза этим ремнем, не жалей ее и ударь, она не умрет, ты ей не верь. А если пожалеешь, то меня ты никогда не увидишь и Ефросинья уйдет от тебя.

Правду сказал Евсей. Стала Ефросинья ахать и охать: там у нее болит и здесь болит, везде болит.

Ударил ее царь легонько один раз, а Ефросинья еще более разохалась. Ударил он ее еще раз, а она вытянулась и умерла. Испугался царь и забыл ее в третий раз ударить.

Выкопали для Ефросиньи-царевны могилу, выложили могилу мрамором, а Ефросинью положили в золотой гроб. Похоронил царь жену и заплакал: не стало у него опять никого, и Евсей пропал.

А Евсей пошел вокруг моря пешим к родителям: и уж далеко ушел. Однажды застала его ночь в дороге, зарылся он в омет и заснул. Наутро пришел крестьянин, начал вилами метать солому и разбудил Евсея.

— Кто там? — закричал Евсей. — Обожди-ка меня вилами колоть, я еще мало жил.

Удивился крестьянин, стал разрывать руками солому и увидел мальчика. Взял он Евсея за руку и говорит:

— Пойдем к нам в деревню, сыном будешь мне, а то детей у нас с женой как раз нету.

Евсей и пошел.

Приходят они в избу, входят на порог. Крестьянин радуется:

— Гляди, жена, я сына тебе привел.

Обрадовалась и жена.

— Здравствуй, здравствуй, сынок! — говорит. — Уж чего лучше, чего дороже! Дороже сына ничего не бывает!

Стал жить Евсей в чужой деревне у хороших людей. А он неспроста жил, он всюду уму-разуму учился.

Собрался крестьянин в столицу на базар: нужно ему было Евсею гостинцев купить, а жене подарок.

Вот съездил он в город, воротился и рассказывает домашним: поставил царь посреди города высокий столб, а столб этот чистым лаком наведен и влезть на столб никак нельзя — скользко, а кто влезет, тому царь полтора мешка серебряных денег обещает.

Послушал Евсей и говорит:

— Видно, с тоски и глупости царь пустым делом забавляется.

— И верно — с тоски, — крестьянин сказал, — у него жена померла. Да столб-то глуп, а глупостью тоски не одолеешь.

Евсей спрашивает:

— А тебе нужны деньги — полтора мешка?

— Да ведь даром дают — чего не взять!

Евсей научил, как надо влезть на скользкий столб:

— Лезь не прямо на него, — говорит, — а винтом, винтом, да ладонями по столбу шлепай, лак отогреется и к рукам прилипать начнет, тогда уж просто.

Поехал опять в город крестьянин и сделал все так, как Евсей его научил, — и на столб влез. Царь отсыпал ему полтора мешка серебра, крестьянин с деньгами ко двору: как бы обратно не отобрали, царский нрав — дело неверное.

У городской заставы стояла царская стража. Стражники остановили крестьянина с деньгами и стали пытать его: кто он, да откуда, да где денег столько набрал. Сказал им крестьянин правду, а ему не поверили и к царю отправили. Крестьянин видит: правда не помогает — и стал говорить неправду. Царь не догадался прежде его спросить, когда деньги ему давал: кто его на столб научил залезть, и теперь начал спрашивать. Ну, крестьянин говорит: я сам, дескать, сообразил. Царь сперва не поверил, потом рассерчал и ве-

лел казнить невинного крестьянина. Темно царское сердце, в нем причины нету.

А зачем попусту умирать старому крестьянину? Он и сказал правду, сказал, что это его один мальчик всему научил.

— Какой мальчик? — спросил царь.

— Да такой простенький, я его в соломе нашел.

Царь отдал крестьянину серебряные деньги и поехал с ним в его деревню.

Приезжают они; царь видит: сидит Евсей на земле, делает из песка пироги.

Царь Евсею:

— Зачем ты ушел от меня?

Евсей отвечает:

— А зачем ты меня не послушался? Иль цари слушаться не привыкли? Где теперь Ефросинья?

— В гробу, — царь говорит.

— Нету ее там, она ушла!

Удивился царь: как так нету, кто из гроба выходит?

Поехал царь с Евсеем на могилу Ефросиньи, открыли гроб, а он пустой.

Отошли они от могилы, видят, ехидна в траве ползает и пасть на них ощерила. Выхватил царь саблю, хотел рассечь ехидну пополам, а у ехидны слезы из глаз показались.

— Не трожь меня, — взмолилась ехидна знакомым человеческим голосом, — ведь я жена твоя!

Опустил царь саблю, а Евсей схватил ехидну, приподнял ее, ударил об земь, и ехидна обратилась в Ефросинью, которой она и прежде была.

Взял царь жену за белую руку и повел ее во дворец. А как пришли во дворец, Ефросинья опять хворой притворяется. Ударил ее царь один раз — пусть, дескать, она опомнится, — а Ефросинья еще пуще жаловаться стала. Ударил царь ее во второй раз, глядит: Ефросинья как мертвая. Заплакал царь, да вспомнил Евсея — и ударил в третий раз.

И тут очнулась Ефросинья, и стала она веселая и ласковая, простая женщина, да ненадолго только. Где было ехидство, там доброму сердцу не жить.

А наутро пришел Евсей к царю прощаться. Поклонился он царю и Ефросинье.

— Прощай, дядя! — говорит.

Ефросинья и спросила:

— Разве он тебе дядя?

— Дядя, а кто же? — ответил Евсей и рассказал про отца своего, пастуха, и о матери, кто она приходится царю: родною сестрою.

Удивился тут и задумался царь. А к вечеру того же дня сел в корабль и вместе с Евсеем и Ефросиньей поехал за море к сестре.

Вот приехал он к сестре: переночевали они все вместе в лесной избушке, наутро царь и спрашивает у Евсея:

— Как нам тут жить?

Евсей ему:

— А ты стань мужиком, а Ефросинья бабой будет. Чего тебе царем-то быть? Заботно, суетно, ложно, да и мужики поумнеют и прогонят тебя. «Что нам царь? — скажут. — Столб-то мы и без него поставим и лаком покроем, да зачем нам столб и царь зачем?» И будет тебе погибель.

Царь испугался.

— Ну, — говорит. — Так чего ж делать мне?

— Ступай ниву косить, рожь поспела.

Взял царь косу, пошел хлеб косить. Вот взмахнул он косой, хотел рожь валить, а руки его врозь разошлись, несогласованные стали, и коса упала: правая-то рука ложку держать хотела, а левая только перстом умела указывать, где им хлеб косить! А ноги тоже ослушались царя: правая нога лечь хотела, а левая зачесалась. И голова у царя забыла, как ей думать надо, а глаз один закрылся и заснул, а из другого слезы пошли — знать, от ветра. Видит царь, как ему работать пришлось, как он сам себя не слушается, и былинки он не скосил. Нет, дескать, царствовать — оно всегда легче и сподручней, оно не жарко, и ветер в лицо не дует.

Кликнул он Ефросинью.

— Хочешь бабой быть простою? — спрашивает.

Ефросинья услышала, чуть было со злости опять ехидной не стала.

— Еще чего! — говорит. — Да мы спокон века царствуем, и я отродясь — царевна! У меня и зубы растут мягкие, царские, они никакую еду не разжуют, — пускай ее сперва слу-

ги да девки жуют, а разжеванное кладут мне в рот. Я и проглочу. По сему видать — я царевна!

— И то! — царь говорит. — И я, знать, царь: невмоготу мне мужиком-то быть.

И вдруг вскричала тут Ефросинья:

— Вези меня сейчас же в наше царство! Мне царствовать надобно, терпенья моего нету! А то озлюсь, тогда гляди!

В полдень отплыли они на корабле в свое царство. Посмеялся им вослед маленький Евсей, а царь обернулся к нему и спросил его с корабля:

— Чему смеешься?

— А тому, — отвечает Евсей, — вот из мужика царя можно сделать, а из царя никого сделать нельзя, никуда царь не годен.

Уплыл корабль, а ночью застала его буря на море. Ломает буря корабль, уже разломила наполовину. Видит царь: вот-вот и окончится его жизнь. Рассерчал царь, велел прогнать прочь долой всех рулевых и капитанов и сам править кораблем стал, колесо туда-сюда вертеть. Я царь, дескать, меня и корабль должен слушаться. А его ни руки, ни ноги слушаться не стали, рассудок ушел из головы, а глаза наружу вылупились и более не моргали. Дернул царь колесо направо, а руки не захотели направо — и налево колесо повели. Озлился царь, дернул колесо налево, а оно направо пошло. Хотел царь крикнуть, надулся, да тут врозь разошелся и на части распался: где рука лежит, где голова, где ухо, весь по отдельности разошелся.

Тут рулевой подошел к колесу и повел корабль через бурю. В его голове был рассудок, руки слушались его, и он привел корабль к берегу земли.

А когда приплыл корабль к земле, жители сказали Ефросинье-царице:

— К чему ты нам? Мы и без тебя на царстве управимся. Муж твой был нам во вред, и ты нам не нужна.

Посадили ее жители на старый пустой корабль, что без дела стоял, и толкнули его в море, пусть его ветер носит, где хочет.

ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО

Жила в деревне крестьянка. При ней жил сын ее Семен, не женатый еще. Жили они бедно: спали на соломе, одежонка на них старая, латаная, и в рот им положить нечего. Жили они давно; тогда земли у крестьян было мало, а что и была, так неродящая была земля: что и посеет крестьянин, то вымерзнет, а не вымерзнет, так от засухи посохнет, а не посохнет, так вымокнет, а не вымокнет, так саранча пожрет.

Получал Семен в городе пенсию за отца — копейку в месяц.

Вот идет Семен однажды с деньгами, с копейкой, и видит: один человек надел собаке веревку на шею и удавливает ее. А собака-то всего маленькая, беленькая, щенок.

Семен к тому человеку:

— Ты пошто щенка мучишь?

А тот ему:

— А какое тебе дело? Хошь убью, хошь нет — не твое дело.

— А ты продай мне его за копейку!

— Бери!

Отдал Семен последнюю копейку, взял щенка на руки и пошел домой.

— Нет у меня коровы, нету лошади, зато щенок есть.

Принес он щенка домой, а мать бранится:

— Глупый ты у меня! Нам самим есть нечего, а он собак покупает!

— Ничего, мама, — отвечает ей сын, — и щенок скотина, не мычит, так брешет.

Через месяц Семен снова пошел в город за пенсией. Вышла копейка прибавки, получил он две копейки.

Идет он домой, а на дороге тот же человек кошку мучает.

Подбежал Семен к нему:

— Пошто ты живую тварь уродуешь!

— А тебе-то что? Чай, кошка-то моя!

— Продай ее мне!

— Купи, да кошка-то, гляди, дороже собаки.

Сторговались за две копейки.

Понес Семен кошку домой. Мать пуще прежнего забранилась на сына — и в тот день до вечера бранилась, и на другой день с утра начала браниться.

Прошел месяц. Пошел Семен опять в город за пенсией. Опять в прибавку вышла копейка: получил Семен три копейки.

Идет Семен из города, а на дороге стоит тот же человек и змею давит.

Семен сразу к нему:

— Не убивай ее, эта змея вишь какая, я и не видал такую — должно, она не ядовитая. Лучше продай ее мне.

Купил он змею за все деньги, сколько было у него, за три копейки, положил ее за пазуху и пошел домой.

Змея отогрелась и говорит:

— Не жалей, Семен, что последние деньги на меня потратил. Я не простая змея, а я змея Скарапея. Без тебя пришла бы мне смерть, а теперь я жива, и мой отец тебя отблагодарит.

Пришел Семен домой и выпустил змею из-за пазухи. А мать как увидела змею, так на печку залезла и даже побранить сына не может: у нее язык отнялся с испуга. Змея же Скарапея заползла под печку, свернулась там и уснула.

Вот и стали жить — собака белая да кошка серая, Семен с матерью да змея Скарапея, а всего пятеро.

Невзлюбила мать Семена Скарапею-змею: то есть ей не даст и воды не поставит, то на хвост наступит.

Говорит тогда Скарапея Семену:

— Твоя мать обижает меня. Проводи меня к моему отцу.

Поползла змея по дороге, а Семен следом пошел. Долго шел он за змеею — день и ночь, день и ночь. Обступили их темные дебри. Подумал Семен: куда он идет и как назад вернется?

А змея утешает его:

— Не бойся ничего, сейчас доползем, это уж змеиное царство началось, видишь? А я змеиного царя дочь, и сейчас мы увидим моего отца. А теперь слушай. Вот когда я скажу ему, как ты меня спас, он поблагодарит тебя и даст тебе много золота, а ты золото не бери, а попроси одно золотое кольцо, что у отца на пальце. Кольцо это волшебное. Отец для меня его бережет, а я хочу тебе его подарить.

Пришел Семен со змеиной царевной к Змею-царю. Змей обрадовался дочери. Говорит он Семену:

— Спасибо тебе, Семен, спас ты мне любимую дочь! Выдал бы я ее замуж за тебя, не пожалел бы, да есть у нее сговоренный жених. Бери у меня золота, сколько хочешь!

Семен золото не берет, а говорит змеиному царю:

— Дай мне кольцо с твоей руки, оно мне будет в память о твоей дочери. На нем, видишь, на твоем кольце, змеиная головка выдавлена и два зеленых камня, как глаза, горят.

Задумался змеиный царь, а потом снял кольцо с руки и отдал Семену и сказал ему потихоньку на ухо, как надо действовать кольцом, чтобы вызывать волшебную Силу.

Попрощался Семен со змеиным царем и с дочерью его Скарапеей, а невдалеке тут стоял еще приемный сын змеиного царя — Аспид; так Семен и с ним попрощался.

Пришел Семен домой, к матери. А ночью, как мать легла на покой, Семен переменил змеиное кольцо с пальца на палец, и в тот же момент явились перед ним двенадцать молодцов.

— Здравствуй, новый хозяин! — говорят. — Чего тебе надобно?

— А насыпать, братцы, муки амбар, да сахару, да масла немного.

— Ин ладно, — молодцы говорят. И пропали.

Проснулся Семен наутро, видит — мать корки сухие мочит да жует их старыми зубами.

— Чего ж ты, мать, теста не поставила и не охаживаешь его? Поставила бы тесто и пирогов бы напекла.

— Очнись, сынок! У нас второе лето муки и горсти нету.

— А ты наведайся, мама, в амбар — гляди, и найдешь.

— Да там и мыши с голоду подохли! Чего глядеть в пустое место? Нешто дверь пойти наглухо припереть.

Пошла мать к амбару, тронула дверь, а дверь распахнулась, и мать Семена головой в муку так и упала.

С тех пор они стали жить сытно. Половину муки Семен продал и купил на все деньги говядины, так у них и кошка с собакой каждый день котлеты ели, шерсть у них лосниться стала.

И увидел однажды Семен видение во сне. Только он задремал, видит как живую прекрасную девицу, а проснулся — нету ее. Затосковал Семен по ней, а где она, и сам не знает.

Переодел он змеиное кольцо с пальца на палец. И двенадцать молодцов — вот они.

— Чего прикажешь, хозяин? — спрашивают.

Семен им: так и так, говорит, видел я прекрасную девицу, а где она, не знаю, а туда-то мне и надобно.

Глядь — и очутился Семен в другом царстве, где жила та самая прекрасная девица.

Спросил он у тамошнего жителя о прекрасной девице.

— Это которая? — спросил у Семена житель.

Семен рассказал, какая была девица.

— Так она царская дочь! — сказал ему житель.

Переместил Семен кольцо и велел молодцам доставить его во дворец к царевне. Очутился он во дворце, видит он молодую царевну, и тут она еще лучше была, чем почудилась ему во сне.

Вздохнул Семен — чего будешь делать? — и опять за кольцо: вызвал молодцов и велел возвратить его домой.

Вот живет он дома, да грустно ему без царевны: и пища не естся, и брага не пьется.

Смотрит на него мать:

— Заболел ты, что ли, либо скучаешь о ком?

— Скучаю, мама, — сказал Семен и рассказал, что с ним случилось.

А мать, как услышала, испугалась:

— И чего ты удумал! Да разве можно крестьянскому сыну царевну любить? Цари-то — люди ложные и лукавые, они и насмеются, и надругаются над тобой, и жизни тебя лишат, а уж дочь за тебя не выдадут! Женись-ка ты на бедной крестьянской девушке, глядишь — и счастливым будешь!

А Семен одно говорит: иди, мать, да иди — сватай за меня царевну. А мать не идет, не хочет.

Подумал тогда Семен, что ему делать, и выдумал. Взялся он за свой змеиный перстень, вызвал молодцов. Те — вот они:

— Чего надобно, хозяин?

— А надобно мне хоромы, и чтоб к утру были готовы. А для матери устройте в хоромах богатые покои и в постель ей положите пуховую перину.

— Построим хоромы, хозяин, и перину пухом набьем!

Проснулась наутро Семенова мать, а подняться сразу не может: угрузла она в пуховой перине. Смотрит вокруг по горнице — узнать ничего не может: во сне, что ли, это иль взаправду?

Тут Семен к ней подошел и говорит:

— Здравствуй, мама!

Значит, все взаправду.

Спрашивает она:

— Откуда же у нас добро такое явилось?

А сын ей в ответ:

— Добро, мама, из добра явилось. Теперь и тебе жить покойнее будет, и мне за кого хочешь свататься можно — всем я ровня.

Подумала мать: «Ишь, сын у меня какой умелый да удалый!»

А сын ей опять за свое:

— Ступай, матушка, к царю и царице, посватай за меня царевну.

Огляделась мать, прошлась по хоромам.

«Эко дивно стало у нас! — видит она и решила: — А схожу-ка я и вправду к царю, посватаю его дочку! Хоть и не ровня мы ему, да уж теперь нам до него недалече».

И пошла.

Приходит она в царскую избу, в столовую горницу. Царь с царицей в тот час чай пили и на блюдца дули, а молодая царевна в своей девичьей горенке приданое перебирала в сундуках.

Вот царь с царицей в блюдца дуют, на Семенову мать не глядят. Из блюдец брызги летят, чай проливается на скатерть, а чай с сахаром. Царь, а чай пить не умеет!

Семенова мать и говорит:

— Чай — не вода. Чего брызгаете?

Царь глянул на нее:

— А тебе чего надоть?

Вышла мать на середину горницы, под матицу.

— Здравствуйте, — говорит, — царь-государь-император. У вас товар, у нас купец. А не отдадите ли вашу дочь замуж за нашего сына?

— А кто таков твой жених? Каких он родов каких городов и какого отца сын?

Мать в ответ:

— Роду он крестьянского, деревни нездешней а по отчеству Семен Егорович. Не слыхал такого?

Тут царица так и ахнула:

— Да что ты, сватья, с ума, что ль, сошла?! Мы в женихах-то как в сору каком роемся — выбираем. Разве пойдет наша дочка за мужика?

Обиделась Семенова мать за сына:

— Это какой мужик, матушка, случится! Другой мужик — против него и десять царских сыновей ничего не стоят, а уж про девок-дочерей и говорить нечего! Таков вот и мой!

Царь придумал здесь хитрость.

— Пусть, — говорит, — твой жених от нашего избяного дворца да до вашего крыльца мост хрустальный построит. Тогда мы по такому мосту приедем женихово житье смотреть. Так-то!

Вернулась Семенова мать к родному двору. В сенях ей попались навстречу собака с кошкой, гладкие стали.

Мать в сердцах прогнала их прочь. «Ишь, — подумала, — только спят да едят! Какая от них польза!»

Сказала она сыну:

— Понапрасну ходила, не согласны они.

Семен удивился:

— Неужели не согласны? За меня-то?

— А ты думал — обрадуются? А царь еще и посмеялся над нами. «Пусть, — говорит, — от нас до вас жених мост хрустальный построит, а мы к вам по хрусталю приедем в гости».

— Это, мама, ничто для нас!

Ночью Семен переметнул кольцо с одной руки на другую, вызвал молодцов и велел им построить к утру хрустальный мост, и чтоб мост от ихнего крыльца до царского избяного дворца поверх прошел, через все реки, овраги, и чтоб по мосту самосильная машина ходила.

С полуночи до зари повсюду окрест молотки стучали и пилы пилили. Семен вышел утром на крыльцо, глядит — а мост уж готов и по хрустальному мосту ходит самосильная машина.

Семен к матери:

— Ступай, мама, к царю теперь. Пусть они в гости к нам собираются, а я на самосильной машине туда подкачу!

Пошла мать к царю.

Только ступила она на мост, на хрусталь на самый, а хрусталь скользкий, тут ветер подул на нее сзади, она присела от страху да так и покатилась до самого царского крыльца.

Приходит она к царю:

— Вчерась была я у вас, так вы мост построить велели жениху. Погляди в окошко — вот тебе и мост готов.

Глянул царь в окошко:

— Ишь ты! Ан правда — мост! Знать, жених-то умелец!

Надел царь золотые парчовые штаны, надел корону, крикнул царицу и вышел на крыльцо. Пошатал он перила — прочно ли стоят? Похлопал ладонями по хрустальным кирпичам — не подделка ли? Нет, мост построен по доброте.

Тут Семен на чудной самосильной машине подъехал. Отворяет он дверку в машине и говорит:

— Садитесь, царь-государь с женою-супругой, пожалуйста, к нам в гости.

— Я-то с охотой, — царь говорит, — а вот жена моя как бы не оробела.

Семен — к царице, а она руками машет:

— Не поеду! Страсть какая! Сронят в реку, так что тут хорошего!

Здесь явились вельможи к царю. Старший вельможа совет подает:

— Надобно, государь, проехать, пример показать. Пусть не подумают, что ты оробел.

Делать нечего. Влез царь с царицей в машину а вельможи на запятках, на штырях повисли, за крючья уцепились.

Засвистела, зашумела, загудела, задрожала машина, в звонок зазвонила, жаром-паром запыхтела, скакнула и поехала. Ехали, всю дорогу качались — спасибо недалеко было, всего один мост переехать.

Доехали до Семеновых хором; Семен из машины вышел, хотел царю дверку открыть, а уж вельможи вперед него поспели — волокут они из машины царя и царицу, поддувалами на них машут, в чувство их приводят, чтоб они опомнились.

Царица серчает-кричит, а царь хоть и молчит, да, видно, ей поддакивает.

— Ой, тошно! — шумит царица. — Ох, укачало, растрясло и растрепало! Ой, шут с тобой, где ты есть, жених-то? Бери девку, а мы-то уж обратно пешком пойдем!

А далее вышло все по желанию Семена. Выдали за него девку-царевну, и стал он жить с женою. Сперва они хорошо жили, нечего сказать.

Да случилось вот что. Пошел Семен с женою в лес гулять. Зашли они далеко, уморились, легли под дерево и задремали.

В то время проходил по лесу Аспид, приемный сын Змея-царя. Аспид увидел кольцо на пальце Семена и от зависти превратился в гадюку. Он давно хотел, чтоб это кольцо было у него, он знал его волшебную силу, просил его у Змея. Однако Змей-царь не отдал Аспиду волшебного кольца и не сказал, как им надо действовать.

Обратился Аспид в прекрасную девицу, прекраснее молодой жены Семена, разбудил Семена и позвал за собой. «Тогда и кольцо мое будет», — подумал Аспид.

А Семен поглядел на незнакомую прекрасную девицу, что манила его, и сказал ей:

— Ступай куда шла. Хоть ты и хороша, даже лучше моей жены, да жена мне милее, за тобой я не пойду.

Сказал так Семен и опять заснул.

Обратился тогда Аспид в прекрасного юношу, в молодца из молодцов. Вот разбудил он царевну, жену Семена, и красуется перед ней.

«Ой, ктой-то! — подумала царевна. — Да он лучше Семена! Вот бы мне в женихи такого, когда я девкой была!»

Приблизился Аспид к Семеновой жене и протянул ей руку. Царевна поднялась с земли, поглядела на Семена, а у него сор на лице, ноздрями он пыль раздувает.

— Ты чей? — спросила царевна у Аспида.

— А я царский сын, по прозванью Молодец из Молодцов.

— А я царская дочь!

— Пойдем со мной, я тебя не обижу!

— Пойдем, молодец! — сказала Семенова жена и подала Аспиду руку.

Аспид нашептал на ухо царевне, научил ее, что надо сделать, а царевна на все согласилась. Тогда Аспид ушел. А он

научил ее вызнать у Семена действие волшебного кольца и принести ему то самое кольцо.

Вот пошла она с Семеном домой, взяла его за руку и спросила его, правда ли, что у него на пальце кольцо волшебное. И если он любит ее, пусть скажет, как это кольцо действует.

Семен по доброте рассказал жене про свое кольцо. «Раз жена меня любит, — подумал Семен, — пусть и о кольце моем знает, она мне зла не сделает».

И надел Семен волшебное кольцо на палец жены. Когда кольцо понадобится, его всегда можно взять обратно.

А ночью царевна переместила кольцо с одного пальца на другой, и немедля явились двенадцать молодцов:

— Мы — вот они! Чем служить тебе, новая хозяйка?

Царевна дает им наказ:

— Служите мне вот чем. Возьмите эти хоромы да и мост хрустальный и перенесите их туда, где живет Молодец из Молодцов.

Только и был женат Семен, Егоров сын.

Проснулся он с матерью — ничего у них нету, одна худая изба и амбар пустой, как прежде было. И остался Семен с одной матерью, еще кошка и собака при них, всего четверо, а есть им, считай, нечего.

Семен не вздохнул, не пожаловался. Вспомнил он, что мать ему говорила: не женись на царевне — не будет счастья. Не послушался он матери!

Поглядел Семен с горя в окошко, видит — карета едет, а в ней — царь. Вышел царь из кареты как раз против Семенова окошка; смотрит — куда что делось: ни хором нету, ни хрустального моста, ни света, ни блеску — одна худая изба, а в окошко на царя Семен глядит.

Царь как закричит:

— А что тут такое? А где моя дочь-царевна? Ах ты, обманщик!

Семен вышел к царю, сказал ему правду, как было: что царская дочь взяла у него волшебное кольцо и обманула его.

Царь правде не поверил, а разгневался и велел посадить Семена в тюрьму, покуда он не скажет, где царская дочь.

Увели от матери сына, не стало у нее кормильца. Оголодала старуха. Кликнула она кошку и собаку и пошла побираться.

Под одним окошком хлеба попросит, под другим съест. А тут захолодало, потемнело, лето состарилось, к зиме пошло.

Кошка и говорит собаке:

— Пропадем мы все. Пойдем царевну сыщем и возьмем от нее волшебное кольцо. Нас хозяин от смерти спас, теперь мы его спасем.

Собака была согласна. Она понюхала землю и побежала, а кошка — за нею.

Далеко им пришлось бежать. Сказывать скоро, а идти далеко.

Бежали они, бежали, покуда не увидели хрустальный мост и Семеновы хоромы, в которых они прежде жили.

Собака осталась снаружи, а кошка пошла в хоромы. Забралась она в спальню, где спала царевна, Семенова обманщица. Увидела кошка: царевна во рту держит волшебное кольцо, меж зубов у нее оно блестит. Боится, знать, как бы не украли.

Поймала кошка мышку, надкусила ей ухо и научила ее уму-разуму, что мышка должна сделать. Влезла мышка на кровать, неслышно прошла по царевне и стала своим хвостиком свербить у нее в носу. Царевна чихнула, ртом дыхнула, кольцо на пол упало и покатилось.

А кошка хвать кольцо — и в окно. Пока царевна проснулась, покуда она туда-сюда — кольца уж нету, и та мышка, что хвостиком у царевны в носу свербила, уж на кухне корочку грызет: она-де ни при чем.

А кошка и собака домой бегут. Они не спят, не едят — им некогда, они торопятся. Бегут они через горы, через лесные дебри, плывут через реки и чистыми полями бегут. Кошка волшебное кольцо держит под языком, рта не разевает.

Вот уже перед ними последняя река, — а за рекою видна ихняя деревня, там и Семенова изба.

Собака говорит кошке:

— Садись ко мне на спину, а я поплыву. Да смотри кольцо держи крепче в зубах, не оброни.

Поплыли они по реке, доплыли до середины. Собака говорит:

— Смотри, кошка, не говори: кольцо утопишь.

Кошка молчит. Поплыли еще немного, собака опять:

— Молчи, кошка!

А кошка и так рта не открывает. Собака снова к ней:

— Не вырони кольца-то! Молчи лучше!

Кошка и сказала:

— Да я молчу! — и уронила кольцо в реку.

Выбрались они на берег и давай драться и ругаться. Собака визжит:

— Это ты виновата, кошка-болтушка!

А кошка в ответ:

— Нет, это ты брехунья! Зачем ты говорила, когда я молчала?

А тут рыбаки вытащили сетью рыбу на берег и стали ее потрошить. Увидели они — кошка с собакой не ладят, подумали, что голодные, и бросили им рыбьи внутренности.

Схватили кошка с собакой рыбьи внутренности, стали есть, съели немного, вдруг — хряп! — твердое попалось. Глядят — кольцо!

Оставили они еду и побежали в деревню. Пробежали мимо своей избы — нет ли там хозяина? Глядят — нету его, а мать побирается. Побежали в город, в тюрьму, где Семен был.

Взобралась кошка на тюремную ограду, ходит поверху, глядит, где Семен там, а не знает. Хочется ей помяукать, помурлыкать, да кольцо у нее под языком, боится обронить.

К вечеру выглянул Семен в тюремное окно, хотел поглядеть на белый свет. Кошка увидела Семена и по дождевой трубе, а потом по стене забралась к Семену в каземат.

Семен взял кошку на руки. «Вот, — думает, — хоть и кошка, а сердце у нее верное, помнит она меня!»

Кошка мяукнула и обронила на пол волшебное кольцо.

Поднял Семен кольцо и вызвал двенадцать молодцов. Те явились, тут как тут.

— Здравствуй, дорогой старый хозяин, — говорят, — прикажи, чего тебе надобно, а мы живо исполним!

Семен им говорит:

— Перенесите откуда ни на есть мои хоромы сюда, и кто там живет, пусть в горницах будет, — я погляжу. И мост хрустальный приподымите да сюда его уставьте, а только другим концом отверните его от царской избы и опустите в соседнюю деревню.

Все и было исполнено, как приказано Семеном. Хоромы его стали на место, а в них оказалась молодая царевна с Аспидом своим. Ну ушли они из Семеновых хором, пошли жить к отцу царевны, — куда же еще?

Аспид же, как узнал, что это царевна кольцо потеряла, так от злости превратился в змею-гадюку.

И не мог он обратиться в молодца, потому что не проходила в нем злоба на царевну. Так и остался Аспид гадюкой; он только и делал, что шипел на царевну и бранил ее. Тут отец царевны вспомнил про Семена.

— Эх, — говорит, — а ведь Семен-то хоть и простой, да добрый малый был, а вот Аспид хоть и не простого рода, да ведь гадюка!

А Семен с матерью опять в хоромах жили, и собака с кошкой при них.

Семен на самосильной машине каждый день наведывается в соседнюю деревню, по хрустальному мосту дорога туда близкой стала.

Слышно еще, Семен из той деревни жену себе берет, живет там одна девушка-сирота, прекраснее той царевны, вот ее и сватает Семен.

Должно, так и будет — женится Семен на сироте; пойдут у них дети, и новая сказка начнется.

ИВАН БЕСТАЛАННЫЙ И ЕЛЕНА ПРЕМУДРАЯ

Жила в одной деревне крестьянка, вдова. Жила она долго и сына своего Ивана растила. И вот настала пора — вырос Иван. Радуется мать, что он большой стал, да худо, что он у нее бесталанным вырос. И правда: всякое дело у Ивана из рук уходит, не как у людей; всякое дело ему не в пользу и впрок, а все поперек. Поедет, бывало, Иван пахать, мать ему и говорит:

— Сверху-то земля оплошала, поверху она хлебом съедена, ты ее, сынок, поглубже малость паши!

Иван вспашет поле поглубже, до самой глины достанет и глину наружу обернет; посеет потом хлеб — не родится

ничего, и семенам извод. Так и в другом деле: старается Иван сделать по-доброму, как лучше надо, да нет у него удачи и разума мало. А мать стара стала, ей работа непосильна. Как им жить? И жили они бедно, ничего у них не было.

Вот доели они последнюю краюшку хлеба, самую остатнюю. Мать и думает о сыне — как он будет жить, бесталанный! Нужно бы женить его: у разумной жены, гляди-ко, и неудельный муж в хозяйстве работник и даром хлеба не ест. Да кто, однако, возьмет в мужья ее бесталанного сына? Не только что красная девица, а и вдова, поди, не возьмет!

Покуда мать кручинилась так-то, Иван сидел на завалинке и ни о чем не горевал.

Глядит он — идет старичок, собою ветхий, обомшелый, и земля въелась ему в лицо, ветром нагнало.

— Сынок, — старичок говорит, — покорми меня: отощал я за дальнюю дорогу, в суме ничего не осталось.

Иван ему в ответ:

— А у нас, дедушка, крошки хлеба нету в избе. Знать бы, что ты придешь, я бы давеча сам последней краюшки не ел, тебе бы оставил. Иди, я тебя хоть умою и рубаху твою ополощу.

Истопил Иван баню, вымыл в бане прохожего старика, всю грязь с него смыл, веником попарил его, а потом и рубаху и порты его начисто ополоскал и спать в избе положил.

Вот старик отдохнул, проснулся и говорит:

— Я твое добро упомню. Коли будет тебе худо, пойди в лес. Дойдешь до места, где две дороги расстаются, увидишь, там серый камень лежит, — толкни тот камень плечом и кликни: дедушка, мол, — я тут и буду.

Сказал тот старик и ушел. А Ивану с матерью совсем худо стало: все поскребышки из ларя собрали, все крошки поели.

— Обожди меня, матушка, — сказал Иван. — Может, я хлеба тебе принесу.

— Да уж где тебе! — ответила мать. — Где тебе, бесталанному, хлеба взять! Сам-то хоть поешь, а я уж, видно, не евши помру... Невесту бы где сыскал себе — глядь, при жене-то, коли разумница окажется, всегда с хлебом будешь.

Вздохнул Иван и пошел в лес. Приходит он на место, где дороги расстаются, тронул камень плечом, камень и подался. Явился к Ивану тот дедушка.

— Чего тебе? — говорит. — Аль в гости пришел?

Повел дедушка Ивана в лес. Видит Иван — в лесу богатые избы стоят. Дедушка и ведет Ивана в одну избу — знать, он тут хозяин.

Велел старик кухонному молодцу да бабке-стряпухе изжарить на первое дело барана. Стал хозяин угощать гостя. Поел Иван и еще просит.

— Изжарь, — говорит, — другого барана и хлеба краюху подай.

Дедушка-хозяин велел кухонному молодцу другого барана изжарить и подать ковригу пшеничного хлеба.

— Изволь, — говорит, — угощайся, сколь у тебя душа примет. Аль не сыт?

— Я-то сыт, — отвечает Иван, — благодарствую тебе, а пусть твой молодец отнесет хлеба краюшку да барана моей матушке, она не евши живет.

Старый хозяин велел кухонному молодцу снести матери Ивана две ковриги белого хлеба и целого барана. А потом и говорит:

— Отчего же вы с матерью не евши живете? Смотри, вырос ты большой, гляди — женишься, чем семейство прокормишь?

Иван ему в ответ:

— А незнамо как, дедушка! Да нету жены у меня.

— Эко горе какое! — сказал хозяин. — А отдам-ка я свою дочь тебе в замужество. Она у меня разумница, ее ума-то вам на двоих достанет.

Кликнул старик свою дочь. Вот является в горницу прекрасная девица. Такую красоту и не видел никто, и неизвестно было, что она есть на свете. Глянул на нее Иван, и сердце в нем приостановилось.

Старый отец посмотрел на дочь со строгостью и сказал ей:

— Вот тебе муж, а ты ему жена.

Прекрасная дочь только взор потупила.

— Воля ваша, батюшка.

Вот поженились они и стали жить-поживать. Живут они сыто, богато, жена Ивана домом правит, а старый хозяин редко дома бывает, он ходит по миру, премудрость там среди народа ищет, а когда найдет ее, возвращается ко двору и в книгу записывает.

А однажды старик принес волшебное круглое зеркальце. Принес он его издалече, от мастера-волшебника с холодных гор, — принес да и спрятал.

Мать Ивана жила теперь сыта и довольна, а жила она, как прежде, в своей избе на деревне. Сын звал ее жить к себе, да мать не захотела: не по душе ей была жизнь в доме жены Ивана, у невестки.

— Боюсь я, сынок, — сказала матушка Ивану. — Ишь, она, Еленушка, жена твоя, красавица писаная какая, богатая да знатная, чем ты ее заслужил? Мы-то с отцом твоим в бедности жили, а ты и вовсе без судьбы родился.

И осталась мать Ивана в своей старой избушке. А Иван живет и думает: вправду говорит матушка; всего будто довольно у него, и женя ласковая, слова поперек не скажет, а чувствует Иван, словно всегда холодно ему. И живет он так с молодой женой вполжитья-вполбытья, а нет чтобы вовсе хорошо.

Вот приходит однажды старик к Ивану и говорит:

— Уйду я далече, далее, чем прежде ходил, вернусь я не скоро. Возьми-ко, на тебе, ключ от меня; прежде я при себе его носил, да теперь боюсь потерять: дорога-то мне дальняя. Ты ключ береги и амбар им не отпирай. А уж пойдешь в амбар, так жену туда не веди. А коли не стерпишь и жену поведешь, так цветное платье ей не давай. Время придет, я сам ей выдам его, для нее и берегу. Гляди-ко, запомни, что я тебе сказал, а то жизнь свою в смерти потеряешь!

Сказал старик и ушел.

Прошло еще время. Иван и думает: «А чего так! Пойду-ка я в амбар да погляжу, что там есть, а жену не поведу!»

Пошел Иван в тот амбар, что всегда взаперти стоял, открыл его, глядит — там золота много, кусками оно лежит, и камни как жар горят, и еще добро было, которому Иван не знал имени. А в углу амбара еще чулан был либо тайное место, и дверь туда вела. Иван открыл только дверь в чулан и ступить туда не успел, как уже крикнул нечаянно:

— Еленушка, жена моя, иди сюда скорее!

В чулане том висело самоцветное женское платье; оно сияло, как ясное небо, и свет, как живой ветер, шел по нему. Иван обрадовался, что увидел такое платье; оно как раз впору будет его жене и придется ей по нраву.

Вспомнил было Иван, что старик не велел ему платье жене давать, да что с платьем станется, если он его только покажет! А Иван любил жену: где она улыбнется, там ему и счастье.

Пришла жена. Увидала она это платье и руками всплеснула.

— Ах, — говорит, — каково платье доброе!

Вот она просит у Ивана:

— Одень меня в это платье да пригладь, чтоб ладно сидело.

А Иван не велит ей в платье одеваться. Она тогда и плачет.

— Ты, — говорит, — знать, не любишь меня: доброе платье такое для жены жалеешь. Дай мне хоть руки продеть, я пощупаю, каково платье — может, не годится.

Иван велел ей:

— Продень, говорит, — испытай, каково тебе будет.

Жена продела руки в рукава и опять к мужу:

— Не видать ничего. Вели голову в ворот сунуть.

Иван велел. Она голову сунула, да и дернула платье на себя, да оболоклась вся в него. Ощупала она, что в одном кармане зеркальце лежит, вынула его и погляделась.

— Ишь, — говорит, — какая красавица, а за бесталанным мужем живет! Стать бы мне птицей, улетела бы я отсюда далеко-далеко.

Вскрикнула она высоким голосом, всплеснула руками, глядь — и нету ее. Обратилась она в голубицу и улетела из амбара далеко-далеко в синее небо, куда пожелала. Знать, платье она надела волшебное.

Загоревал тут Иван. Да чего горевать — некогда ему было. Положил он в котомку хлеба и пошел искать жену.

— Эх, — сказал он, — злодейка какая, отца ослушалась, с родительского двора без спросу ушла! Сыщу ее, научу уму-разуму!

Сказал он так, да вспомнил, что сам живет бесталанным, и заплакал.

Вот идет он путем, идет дорогой, идет тропинкой, плохо ему, горюет он по жене. Видит Иван — щука у воды лежит, совсем помирает, а в воду влезть не может.

«Гляди-ко, — думает Иван, — мне-то плохо, а ей того хуже».

Поднял он щуку и пустил ее в воду. Щука сейчас нырнула в глубину да обратно кверху, высунула голову и говорит:

— Я добро твое не забуду. Станет тебе горько — скажи только: «Щука, щука, вспомни Ивана!»

Съел Иван кусок хлеба и пошел дальше. Идет он, идет, а время уже к ночи.

Глядит Иван и видит: коршун воробья поймал, в когтях его держит и хочет склевать.

«Эх, — смотрит Иван, — мне беда, а воробью смерть!»

Пугнул Иван коршуна, тот и выпустил из когтей воробья.

Сел воробей на ветку, сам говорит Ивану:

— Будет тебе нужда — покличь меня: эй, мол, воробей, вспомни мое добро!

Заночевал Иван под деревом, а наутро пошел дальше. И уже далеко он от своего дома отошел, весь приустал и телом стал тощий, так что и одежду на себе рукой поддерживает. А идти ему было далече, и шел Иван еще целый год и полгода. Прошел он всю землю, дошел до моря, дальше идти некуда.

Спрашивает он у жителя:

— Чья тут земля, кто тут царь и царица?

Житель отвечает Ивану:

— У нас в царицах живет Елена Премудрая; она все знает — у нее книга такая есть, где все написано, и она все видит — у нее зеркало такое есть. Она и тебя сейчас видит небось.

И правда, Елена увидела Ивана в свое зеркальце. У нее была Дарья, прислужница. Вот Дарья обтерла рушником пыль с зеркальца, сама взглянула в него, сначала собой полюбовалась, а потом увидела в нем чужого мужика.

— Никак, чужой мужик идет! — сказала прислужница Елене Премудрой. — Издалека, видать, идет: худой да оплошалый весь и лапти стоптал.

Глянула в зеркальце Елена Премудрая.

— И то, — говорит, — чужой! Это муж мой явился.

Подошел Иван к царскому двору. Видит — двор тыном огорожен. А в тыне колья, а на кольях человечьи мертвые головы: только один кол пустой; ничего нету.

Спрашивает Иван у жителя: чего такое, дескать?

А житель ему:

— А это, — говорит, — женихи царицы нашей, Елены Премудрой, которые сватались к ней. Царица-то наша — ты не видал ее — красоты несказанной и по уму волшебница. Вот и сватаются к ней женихи, знатные да удалые. А ей нужен такой жених, чтобы ее перемудрил, вот какой! А кто ее не перемудрит, тех она казнит смертью. Теперь один кол остался: это тому, кто еще к ней в мужья придет.

— Да вот я к ней в мужья иду! — сказал Иван.

— Стало быть, и кол пустой тебе, — ответил житель и пошел туда, где изба его стояла.

Пришел Иван к Елене Премудрой. А Елена сидит в своей царской горнице, и платье на ней надето отцовское, в которое она самовольно в амбаре оболоклась.

— Чего тебе надобно? — спросила Елена Премудрая. — Зачем явился?

— На тебя поглядеть, — Иван ей говорит, — я по тебе скучаю.

— По мне и те вон скучали, — сказала Елена Премудрая и показала на тын за окном, где были мертвые головы.

Спросил тогда Иван:

— Аль ты не жена мне более?

— Была я тебе жена, — царица ему говорит, — да ведь я теперь не прежняя. Какой ты мне муж, бесталанный мужик! А хочешь меня в жены, так заслужи меня снова! А не заслужишь, голову с плеч долой! Вон кол пустой в тыне торчит.

— Кол пустой по мне не скучает, — сказал Иван. — Гляди, как бы ты по мне не соскучилась. Скажи: чего тебе исполнить?

Царица ему в ответ:

— А исполни, что я велю! Укройся от меня где хочешь, хоть на краю света, чтоб я тебя не нашла, а и нашла — так не узнала б. Тогда ты будешь умнее меня, и я стану твоей женой. А не сумеешь в тайности быть, угадаю я тебя, — голову потеряешь.

— Дозволь, — попросил Иван, — до утра на соломе поспать и хлеба твоего покушать, а утром я исполню твое желание.

Вот вечером постелила прислужница Дарья соломы в сенях и принесла хлеба краюшку да кувшин с квасом. Лег Иван и думает: что утром будет?

И видит он — пришла Дарья, села в сенях на крыльцо, распростерла светлое платье царицы и стала в нем штопать прореху. Штопала-штопала, зашивала-зашивала Дарья прореху, а потом и заплакала.

Спрашивает ее Иван:

— Чего ты, Дарья, плачешь?

— А как мне не плакать, — Дарья отвечает, — если завтра смерть моя будет! Велела мне царица прореху в платье зашить, а иголка не шьет его, а только распарывает: платье-то уж таково нежное, от иглы разверзается. А не зашью, казнит меня наутро царица.

— А дай-ко я шить попробую, — говорит Иван, — может, зашью, и тебе умирать не надо.

— Да как тебе платье такое дать! — Дарья говорит. — Царица сказывала: мужик ты бесталанный. Однако попробуй маленько, а я погляжу.

Сел Иван за платье, взял иглу и начал шить. Видит — и правда, не шьет игла, а рвет: платье-то легкое, словно воздух, не может в нем игла приняться. Бросил Иван иглу и стал руками каждую нить с другой нитью связывать.

Увидела Дарья и рассерчала на Ивана:

— Нету в тебе уменья! Да как же ты руками все нитки в прорехе свяжешь? Их тут тыщи великие!

— А я их с хотеньем да с терпеньем, гляди, и свяжу! — ответил Иван. — А ты иди да спать ложись, к утру-то я, гляди, и отделаюсь.

Всю ночь работал Иван. Месяц с неба светил ему, да и платье светилось само по себе, как живое, и видел он каждую его нить.

К утренней заре управился Иван. Поглядел он на свою работу: нету больше прорехи, повсюду платье теперь цельное.

Поднял он платье на руку и чувствует — стало оно словно бы тяжелым. Оглядел он платье: в одном кармане книга лежит — в нее старик, отец Елены, записывал всю мудрость, а в другом кармане — круглое зеркальце, которое старик принес от мастера-волшебника из холодных гор. Поглядел Иван в зеркальце — видно в нем, да смутно, почитал он книгу — не понял ничего. Подумал тогда Иван: «Люди говорят, я бесталанный, — правда и есть».

Наутро пришла Дарья-прислужница, взяла она готовое платье, осмотрела его и сказала Ивану:

— Благодарствую тебе. Ты меня от смерти спас, и я твое добро упомню.

Вот встало солнце над землею, пора Ивану уходить в тайное место, где царица Елена его не отыщет. Вышел он во двор, видит — стог сена сложен стоит; залез он в сено, думал, что вовсе укрылся, а на него дворовые собаки брешут и Дарья с крыльца кричит:

— Экой бесталанный! Я и то вижу тебя, не токмо что царица! Вылезай оттуда, сено лаптями не марай!

Вылез Иван и думает: куда ему податься? Увидел — море близко. Пошел он к морю и вспомнил щуку.

— Щука, — говорит, — щука, вспомни Ивана!

Щука высунулась из воды.

— Иди, — говорит, — я тебя на дно моря упрячу!

Бросился Иван в море. Утащила его щука на дно, зарыла там в песок, а воду хвостом замутила.

Взяла Елена Премудрая свое круглое зеркальце, навела его на землю: нету Ивана; навела на небо: нету Ивана; навела на море, на воду: и там не видать Ивана, одна вода мутная. «Я-то хитра, я-то умна, — думает царица, — да и он-то не прост, Иван бесталанный!»

Открыла она отцовскую книгу мудрости и читает там: «Сильна хитрость ума, а добро сильнее хитрости, добро и тварь помнит». Прочитала царица эти слова сперва по писаному, а потом по неписаному, и книга сказала ей: лежит-де Иван в песке на дне морском; кликни щуку, вели ей Ивана со дна достать, а не то, мол, поймаю тебя, щуку, и в обед съем.

Послала царица Дарью-прислужницу, велела ей кликнуть из моря щуку, а щука пусть Ивана со дна ведет.

Явился Иван к Елене Премудрой.

— Казни меня, — сказывает, — не заслужил я тебя.

Одумалась Елена Премудрая: казнить всегда успеется, а они с Иваном не чужие друг другу, одним семейством жили.

Говорит она Ивану:

— Пойди укройся сызнова. Перехитришь ли меня, нет ли, тогда и буду казнить тебя либо миловать.

Пошел Иван искать тайное место, чтобы царица его не нашла. А куда пойдешь! У царицы Елены волшебное зеркальце есть: она в него все видит, а что в зеркальце не видно, про то ей мудрая книга скажет.

Кликнул Иван:

— Эй, воробей, помнишь ли мое добро?

А воробей уже тут.

— Упади на землю, — говорит, — стань зернышком!

Упал Иван на землю, стал зернышком, а воробей склевал его.

Елена Премудрая навела зеркальце на землю, на небо, на воду — нету Ивана. Все есть в зеркале, а что нужно, того нет. Осерчала Премудрая Елена, бросила зеркальце об пол, и оно разбилось. Пришла тогда в горницу Дарья-прислужница, собрала в подол осколки от зеркальца и унесла их в черный угол двора.

Открыла Елена Премудрая отцовскую книгу. И читает там: «Иван в зерне, а зерно в воробье, а воробей сидит на плетне».

Велела тогда Елена Дарье позвать с плетня воробья: пусть воробей отдаст зернышко; а не то его самого коршун съест.

Подошла Дарья к воробью. Услышал Дарью воробей, испугался и выбросил из клюва зернышко. Зернышко упало на землю и обратилось в Ивана. Стал он как был.

Вот Иван является опять пред Еленой Премудрой.

— Казни меня теперь, — говорит, — видно, и правда я бесталанный, а ты премудрая.

— Завтра казню, — сказывает ему царица. — Завтрашний день я на остатний кол твою голову повешу.

Лежит вечером Иван в сенях и думает, как ему быть, когда утром надо помирать. Вспомнил он тогда свою матушку. Вспомнил, и легко ему стало — так он любил ее.

Глядит он — идет Дарья и горшок с кашей ему несет.

Поел Иван кашу. Дарья ему и говорит:

— Ты царицу-то нашу не бойся! Она не злая.

А Иван ей:

— Жена мужу не страшна. Мне бы только успеть уму-разуму ее научить.

— Ты завтра на казнь-то не спеши, — Дарья ему говорит, — а скажи, у тебя дело есть, помирать, мол, тебе нельзя: в гости матушку ждешь.

Вот наутро говорит Иван Елене Премудрой:

— Дозволь еще малость пожить: я матушку свою увидеть хочу — может, она в гости придет.

Поглядела на него царица.

— Даром тебе жить нельзя, — говорит. — А ты утаись от меня в третий раз. Не сыщу я тебя, живи, так и быть.

Пошел Иван искать себе тайного места, а навстречу ему Дарья-прислужница.

— Обожди, — велит она, — я тебя укрою. Я твое добро помню.

Дунула она в лицо Ивана, и пропал Иван, превратился он в теплое дыхание женщины. Вдохнула Дарья, втянула его себе в грудь. Пошла потом Дарья в горницу, взяла царицыну книгу со стола, стерла пыль с нее да открыла ее и дунула в нее: тотчас дыхание ее обратилось в новую заглавную букву той книги, и стал Иван буквой. Сложила Дарья книгу и вышла вон.

Пришла вскоре Елена Премудрая, открыла книгу и глядит в нее: где Иван. А книга ничего не говорит. А что скажет, непонятно царице; не стало, видно, смысла в книге. Не знала того царица, что от новой заглавной буквы все слова в книге переменились.

Захлопнула книгу Елена Премудрая и ударила ее об земь. Все буквы рассыпались из книги, а первая, заглавная буква как ударилась, так и обратилась в Ивана.

Глядит Иван на Елену Премудрую, жену свою, глядит и глаз отвести не может. Засмотрелась тут и царица на Ивана, а засмотревшись, улыбнулась ему. И стала она еще прекраснее, чем прежде была.

— А я думала, — говорит она, — муж у меня мужик бесталанный, а он и от волшебного зеркала утаился, и книгу мудрости перехитрил!

Стали они жить в мире и согласии и жили так до поры до времени. Да спрашивает однажды царица у Ивана:

— А чего твоя матушка в гости к нам не идет?

Отвечает ей Иван:

— И то правда! Да ведь и батюшки твоего нету давно! Пойду-ка я наутро за матушкой да за батюшкой.

А наутро чуть свет матушка Ивана и батюшка Елены Премудрой сами в гости к своим детям пришли. Батюшка-то Елены дорогу ближнюю в ее царство знал; они коротко шли и не притомились.

Иван поклонился своей матушке, а старику так в ноги упал.

— Худо, — говорит, — батюшка! Не соблюдал я твоего запрету. Прости меня, бесталанного!

Обнял его старик и простил.

— Спасибо тебе, — говорит, — сынок. В платье заветном прелесть была, в книге — мудрость, а в зеркальце — вся видимость мира. Думал я, собрал для дочери приданое, не хотел только дарить его до времени. Все я ей собрал, а того не положил, что в тебе было, — главного таланту. Пошел я было за ним далече, а он близко оказался. Видно, не кладется он и не дарится, а самим человеком добывается.

Заплакала тут Елена Премудрая, поцеловала Ивана, мужа своего, и попросила у него прощения.

С тех пор стали жить они славно — и Елена с Иваном, и родители их — и до сей поры живут.

УМНАЯ ВНУЧКА

Жили старик со старухой, и с ними внучка Дуня жила. И не такая уж Дуня была красивая, как в сказках сказывается, только умная была и охотная к домашней работе.

Вот раз собираются старики на базар в большое село и думают: как им быть? Кто им щи сварит и кашу сготовит, кто корову напоит и подоит, кто курам проса даст и на насест их загонит? А Дуня им говорит:

— Кто ж, как не я! Я и щи сварю, и кашу напарю, я и корову из стада встречу, и на ночь ее обряжу, я и кур угомоню, я и в избе приберу, я и сено поворошу, пока вёдро стоит во дворе.

— Да ты мала еще, внученька, — говорит ей бабушка, — семь годов всего сроку тебе!

— Семь — не два, бабушка, семь — это много. Я управлюсь!

Уехали дедушка с бабушкой на базар, а к вечеру воротились. Видят они, и правда: в избе прибрано, пища сготовлена, на дворе порядок, скотина и птица сытые, сено просушено, плетень починен (дедушка-то два лета собирался его починить), вокруг колодезного сруба песком посыпано — наработано столько, что словно тут четверо было.

Глядят старик со старухой на свою внучку и думают: жить им теперь да радоваться!

Однако недолго пришлось бабушке радоваться на внучку: заболела бабушка и померла. Остался старик один с Дуней. Трудно было дедушке одному остаться на старости лет. Вот живут они одни, без бабушки. Дуня ублажает дедушку и всякую работу в хозяйстве справляет одна, хоть мала была, да ведь прилежна.

Случилось дедушке в город поехать, надобность пришла. По дороге он нагнал богатого соседа, тот тоже в город ехал. Поехали они вместе. Ехали-ехали, и ночь наступила. Богатый сосед и бедный Дунин дедушка увидели огонек в придорожной избе и постучались в ворота. Стали они на ночлег, распрягли лошадей; у Дуниного дедушки-то была кобыла, а у богатого мужика мерин.

Ночью дедушкина лошадь родила жеребенка, а жеребенок несмышленый, отвалился от матери и очутился под телегой того богатого мужика.

Проснулся утром богатый.

— Гляди-ко, сосед, — говорит он старику, — у меня мерин жеребенка ночью родил!

— Как можно! — дедушка говорит. — В камень просо не сеют, а мерин жеребят не рожает! Это моя кобыла принесла.

А богатый сосед:

— Нет, — говорит, — это мой жеребенок! Кабы твоя кобыла принесла, жеребенок-то и был бы возле нее! А то ишь где — под моей телегой!

Заспорили они, а спору конца нету: у бедного правда, а у богатого выгода, один другому не уступает.

Приехали они в город. В том городе в те времена царь жил. А царь тот был самый богатый человек во всем царстве,

он считал себя самым умным человеком и любил судить-рядить своих подданных.

Вот пришли богатый и бедный к царю-судье. Дунин дедушка и жалуется царю:

— Не отдает мне богатый жеребенка, говорит, жеребенка мерин родил!

А царю-судье что за дело до правды: он и так и этак мог рассудить, да ему сперва потешиться захотелось.

И он сказал:

— Вот четыре загадки вам — кто решит, тот и жеребенка получит: «Что всего на свете сильней и быстрей?», «А что всего на свете жирней?», а еще «Что всего мягче и что всего милее?».

Дал им царь сроку три дня, а на четвертый день чтоб ответ был.

А пока суд да дело, царь велел оставить у себя во дворе и дедушкину лошадь с жеребенком и телегой, и мерина богатого мужика: пусть и бедный, и богатый пешими живут, пока их царь не рассудит.

Пошли богатый и бедный домой. Богатый думает: пустое, дескать, царь загадал, я отгадку знаю. А бедный горюет: не знает он отгадки.

Дуня встретила дедушку и спрашивает:

— О ком ты, дедушка, скучаешь? О бабушке? Так ведь я с тобой осталась!

Рассказал дедушка внучке, как дело было, и заплакал: жалко ему жеребенка.

— А еще, — дедушка говорит, — царь загадки загадал, а я отгадки не знаю. Где уж мне их отгадать!

— А скажи, дедушка, каковы загадки? Не умнее они ума.

Дедушка сказал загадки. Дуня послушала и говорит в ответ:

— Поедешь к царю и скажешь; сильнее и быстрее всего на свете ветер; жирнее всего — земля: что ни растет на ней, что ни живет — всех она питает; а мягче всего на свете руки, дедушка: на что человек ни ляжет, все руку под голову кладет; а милее сна ничего на свете не бывает, дедушка.

Через три дня пришли к царю-судье Дунин дедушка и его богатый сосед.

Богатый и говорит царю:

— Хоть и мудрые твои загадки, государь наш судья, а я их сразу отгадал: сильнее и быстрее всего — так это каряя кобыла из вашей конюшни: коли кнутом ее ударить, так она зайца догонит. А жирнее всего — так это тоже ваш рябой боров: он такой жирный стал, что давно на ноги не поднимается. А мягче всего ваша пуховая перина, на которой вы почиваете. А милее всего ваш сынок Никитушка!

Послушал царь-судья — и к старику бедняку:

— А ты что скажешь? Принес отгадку или нет?

Старик и отвечает, как внучка его научила. Отвечает, а сам боится: должно быть, не так он отгадывает; должно быть, богатый сосед правильно сказал.

Царь-судья выслушал и спрашивает:

— Сам ты придумал ответ иль научил тебя кто?

Старик правду говорит:

— Да где ж мне самому-то, царь-судья! Внучка у меня есть, таково смышленая да умелая, она и научила меня.

Царю любопытно стало, да и забавно, а делать ему все равно нечего.

— Коли умна твоя внучка, — говорит царь-судья, — и на дело умелая, отнеси ей вот эту ниточку шелковую. Пусть она соткет мне полотенце узорчатое, и чтоб к утру готово было. Слыхал иль нет?

— Слышу, слышу! — отвечает дедушка царю. — Аль я уж бестолковый такой!

Спрятал он ниточку за пазуху и пошел домой. Идет, а сам робеет: где уж тут из одной нитки целое полотенце соткать — того и Дунюшка не сумеет... Да к утру, еще и с узорами!

Выслушала Дуня своего деда и говорит:

— Не кручинься, дедушка, это не беда еще!

Взяла она веник, отломила от него прутик, подала дедушке и сказала:

— Пойди к царю-судье этому и скажи ему: пусть найдет он такого мастера, который сделает из этого прутика кроены, чтобы было мне на чем полотенце ткать.

Пошел старик опять к царю. Идет, а сам другой беды ждет, другой задачи, на которую и ума у Дунюшки не хватит.

Так оно и вышло.

Дал царь старику полтораста яиц и велел, чтобы стариковская внучка к завтрашнему дню полтораста цыплят вывела.

Вернулся дед ко двору.

— Одна беда не ушла, — говорит, — другая явилась.

И рассказал он внучке новую царскую задачу. А Дуня ему в ответ:

— И это еще не беда, дедушка!

Взяла она яйца, испекла их и к ужину подала. А на другой день говорит:

— Ступай, дедушка, сызнова к царю. Скажи ему, чтобы прислал он цыплятам на корм однодневного пшена; пусть в один день поле вспашут, просом засеют, созреть дадут, а потом сожнут да обмолотят, провеют и обрушат. Скажи царю: цыплята другого пшена не клюют, того гляди, помрут.

И пошел дед сызнова. Выслушал его царь и говорит:

— Хитра твоя внучка, да и я не прост. Пусть твоя внучка явится утром ко мне — ни пешком, ни на лошади, ни голая, ни одетая, ни с гостинцем, да и не без подарочка!

Пошел дед домой. «Эка прихоть!» — думает. Как узнала Дуня новую загадку, то загорюнилась было, а потом повеселела и говорит:

— Ступай, дедушка, в лес к охотникам да купи мне живого зайца и перепелку живую... Ан нет, ты не ходи, ты старый, ты уморился ходить, ты отдыхай. Я сама пойду — я маленькая, мне охотники и даром дадут зайца и перепелку, а покупать их нам не на что.

Отправилась Дунюшка в лес и принесла оттуда зайца да перепелку. А как наступило утро, сняла с себя Дуня рубаху, надела рыбацкую сеть, взяла в руки перепелку, села верхом на зайца и поехала к царю-судье.

Царь как увидел ее, удивился и испугался:

— Откуда страшилище едет такое? Прежде не видано было такого урода!

А Дунюшка поклонилась царю и говорит:

— Вот тебе, батюшка, принимай, что принести велено было!

И подает ему перепелку. Протянул руку царь-судья, а перепелка — порх! — и улетела.

Поглядел царь на Дуню.

— Ни в чем, — говорит, — не отступила: как я велел, так ты и приехала. А чем вы, — спрашивает, — кормитесь с дедом?

Дуня отвечает царю:

— А мой дедушка на сухом берегу рыбу ловит, он сетей в воду не становит. А я подолом рыбу домой ношу да уху в горсти варю!

Царь-судья осердился:

— Что ты говоришь, глупая! Где это рыба на сухом берегу живет? Где уху в горстях варят?

А Дуня против ему говорит:

— А ты-то ль умен? Где это видано, чтобы мерин жеребенка родил? А в твоем царстве и мерин рожает!

Озадачился тут царь-судья:

— А как узнать было, чей жеребенок? Может, чужой забежал!

Осерчала Дунюшка.

— Как узнать? — говорит. — Да тут бы и дурень рассудил, а ты царь! Пусть мой дедушка на своей лошади в одну сторону поедет, а богатый сосед — в другую. Куда побежит жеребенок, там и матерь его.

Царь-судья удивился:

— А ведь и правда! Как же я-то не рассудил, не догадался?

— А коли бы ты по правде судил, — ответила Дуня, — тебе бы и богатым не быть.

— Ах ты, язва! — сказал царь. — Что дале из тебя выйдет, когда ты большая вырастешь?

— А ты рассуди сперва, чей жеребенок, тогда я и скажу тебе, кем я большая буду!

Царь-судья назначил тут суд на неделе. Пришли на царский двор Дунин дедушка и сосед их богатый. Царь велел вывести их лошадей с телегами. Сел Дунин дедушка в свою телегу, а богатый в свою, и поехали они в разные стороны. Царь и выпустил тогда жеребенка, а жеребенок побежал к своей матери, дедушкиной лошади. Тут и суд весь. Остался жеребенок у дедушки.

А царь-судья спрашивает у Дуни:

— Скажи теперь, кем же ты большая будешь?

— Судьею буду.

Царь засмеялся:

— Зачем тебе судьею быть? Судья-то ведь я!

— Тебя чтоб судить.

Дедушка видит — плохо дело, как бы царь не рассерчал. Схватил он внучку да в телегу ее. Погнал он лошадь, а жеребенок рядом бежит.

Царь выпустил им вслед злого пса, чтоб он разорвал внучку и деда. А Дунин дедушка хоть и стар был, да сноровист и внучку в обиду никому не давал. Пес догнал телегу, кинулся было, а дед его кнутовищем, кнутовищем, а потом взял запасную важку — оглобельку, что в телеге лежала, да оглобелькой его — пес и свалился.

А дедушка обнял внучку.

— Никому, никому, — говорит, — я тебя не отдам: ни псу, ни царю. Расти большая, умница моя.

МОРОКА

Служил один солдат на службе двадцать пять лет. Службу свою вел он честно-верно, а с товарищами любил шутки шутить: скажет чего — незнаемо чего, а на правду похоже, другой-то и верит, пока не опомнится. Солдатская служба хоть и долгой была, да не все время солдат службу несет: и солдату надо себя потешить. Семейства у солдата нету, об обеде с ночлегом старшой заботится, отстоял солдат время на часах — и сказки рассказывает. Чего ему!

Такой и этот был, Иван-солдат. Получил он отставку вчистую, пора ему домой к родным идти, а дом его далеко где, и от родных Иван давно отвык.

Вздохнул солдат.

— Эх! — говорит. — Вся жизнь, считай, на солдатскую службу ушла: двадцать пять лет отслужил, а царя не видел! Спросит у меня родня в деревне, каков-таков царь, а чего я скажу?

Пошел Иван к царю. А в том государстве царем был Агей, и любил Агей сказки слушать. Покуда царь сказки не послушает, он и весел не бывал. Сам Агей-царь тоже любил сказки и загадки говорить; и любил он, чтобы слушали его, а еще больше любил, чтобы в сказки его верили, а загадки не разгадывали.

Приходит Иван к Агею-царю.

Агей говорит:

— Чего тебе, земляк?

— А лицо ваше царское поглядеть! Я двадцать пять лет прослужил, а вас в лицо не видал!

Царь Агей велел солдату на стул сесть из резного дерева, что против царя стоял.

— Гляди! — говорит. — Посиди, солдат, на стуле, покуда тебя черти не вздули, — а сам тут смеется.

Ну, Иван сидит на стуле, робеет он перед царским лицом и думает: «Уж не дурной ли царь Агей? Чему такое радуется — неужто тому, что черти солдата вздуют!»

— А что, солдат, загану я тебе загадку! — Агей-царь говорит. — Сколько свет велик, как ты думаешь?

Иван с лица сурьезным стал.

— А не дюже велик, государь, ваше царское величество! В двадцать пять часов без малого солнышко кругом всего света обходит.

Царь сказал Ивану:

— И то, солдат! А сколько от земли до неба вышины будет? Много ли, мало?

— Да тоже, государь, не дюже: там стучит — здесь слышно.

Видит царь-Агей, правду говорит солдат, да обидно ему, что солдат на ум скорый такой, не скорее ли самого царя будет.

— А теперь скажи, служба: сколь морская глубина глубока?

— А чего глубока! Про то неизвестно! Служил на море мой дед, утонул в воду, тому уж сорок лет, и теперь его нет.

Понимает Агей-царь: простою загадкой старого солдата не одолеть. Велел ему денег дать на домашнее обзаведение и за стол его посадил чай пить.

— Представь мне, служивый, теперь историю, а потом я домой тебя отпущу.

А солдат богатым не бывает, он куда как деньгам обрадовался. Стало Ивану и у царя скучно, и чаю ему не надо.

— Дозволь мне, государь, погулять пойти. Двадцать пять лет я службу служил, дозволь своевольно пожить. А историю я тебе после представлю.

Ушел Иван от царя и пошел в трактир. Сутки солдат гулял, все царские деньги прогулял, остался у него один ста-

рый грош. Выпил он вина на последний грош, да своего, видно, недопил, и еще ему захотелось.

— Подавай, — говорит, — еще мне вина и угощенья, купец!

А купец обмана боится, он и спрашивает:

— А у тебя золото либо серебро?

— Золото: серебро солдату носить тяжело.

Дает купец солдату угощения, а сам садится против него.

— Куда, служба, идешь теперь? — спрашивает. — Родня-то жива иль умершая?

— От царя иду, — солдат говорит, — откуда же! А родня солдату не нужна, ему и так все свойственники. Пей, купец, я тебя угощаю!

Выпил купец с отставным солдатом.

— Я тебе, — говорит, — сбавку сделаю, дешевле возьму.

А солдат Иван ему:

— Сочтемся! Пей еще, купец, угощайся!

Купец к угощенью привык, он сытно живет, а беседу он любит!

— Скажи мне, — говорит, — служивый, быль какую ни есть.

— А какую тебе быль сказать, купец?

— А скажи, что хошь: где ты жил, куда по земле ходил...

— А чего я тебе скажу: был я до службы в медведях да в лесу жил — и теперь медведь, и тож в лес иду.

Купец услыхал такое и по первости оробел: у него ведь свое заведенье, в заведенье добра-товару много, а от медведя убыток может быть — чего с него спросишь?

— Ну, — говорит купец, — аль правда?

— А нет ли? — отставной говорит. — Погляди-ко, кто мы? Я-то медведь, да и ты-то медведь!

Купец и вовсе обомлел: с кем, дескать, это я торговать стану, в медведях-то будучи!

Поглядел купец на отставного солдата, ощупал себя и видит: солдат-то медведь, да и сам-то он, купец, тоже теперь медведь.

— Чего будем делать, служивый? Неужто нам в лес бежать?

А отставной Иван отвечает:

— Не надобно. Смотри-ка, в лесу нас охотники побьют. В лес мы успеем.

— А чего ж нам ныне надобно? Головушка наша горькая! Медведи мы!

Отставной не оробел:

— А чего нам надобно? Медведей в купцах не бывает! Зови гостей со всех волостей, гулять будем, не пропадать твоему товару-добру!

Видит купец: правду говорит Иван отставной. Велел он слуге позвать гостей со всех волостей.

Явились гости — и те, кого звали, и те, кто про зов издалека слыхали. Поели гости, попили, ни крошки, ни капли в трактире не оставили и чашки-ложки домой подобрали: к чему медведю посуда?

Остался купец без добра, без товара. Залез он с отставным солдатом ночевать на полати.

— Как мне быть? — говорит.

— А мы ночью в лес уйдем, — говорит отставной. — В городе, в посаде ли медведям жить не полагается, закону нету, штраф будет.

Проснулся ночью Иван и велит купцу:

— Прыгай, медведь! Нам в лес пора. А я за тобой побегу, а то ты отстанешь от меня.

Купец наладился, прыгнул с полатей и ушибся животом об пол. Полежал он, очнулся, видит — ничего нету в трактире, всю торговлю гости даром проели, и того отставного солдата нету, и сам он не медведь, а опять купец, да победнее, чем был.

Стал купец искать по суду отставного Ивана. А где его сыскать, когда Иван на волю ушел! Да и народ солдата везде привечает, в наказанье его не отдаст.

Пожаловался тогда купец царю Агею. Царь позвал купца и спрашивает его:

— За что ты в обиде на старого солдата?

— Да что, государь, — купец говорит, — ведь он меня в медведя обратил! Я сглупу-то и поверил, а солдат твой весь товар мой, и снедь и напиток, как есть все гостям даром скормил и сам досыта ел.

Царь Агей посмеялся над купцом.

— Ступай, — говорит, — наживай добро сначала, противу ума закону нету, а от глупости всегда убыток.

И захотелось тут царю — пусть солдат представит ему историю, чтобы то, чего нету, было бы как по правде. Царь-то думал: «Авось солдат не умнее меня! Раз я царь, сказкой он меня не одолеет, а я над ним посмеюся».

Велел царь Агей найти отставного солдата Ивана, где он ни есть, где попусту ни гуляет.

Услышал Иван — царь его кличет, и сей же час явился.

— Я вот он, государь! — говорит. — Чего тебе?

Царь велел сперва самовар на стол поставить и чай пить велел Ивану. Налил Иван чаю в серебряную кружку, отлил из нее в блюдце и хотел было опять сесть на стул из резного дерева, да сел на табуретку.

Царь тогда говорит ему:

— Ты, Иван, молодец. Слыхал я: ты купца в медведя обратил. А можешь ты и мне штуку представить, мороку какую?

— Могу, государь, я привыкши, да боюсь.

— Не бойся, служба, я люблю сказку-мороку.

— Знаем, — сказал Иван. — Да тут я тебе буду сказку рассказывать, а не ты мне... А который нынче час, государь?

Царь ответил:

— К чему тебе час? А первый будто.

— Стало быть, время! — сказал отставной солдат. Сказал он так и вдруг воскликнул еще: — Вода, государь, потопление! Бежим отсюдова скорей, а сказку я после тебе скажу, где сухо будет! Видишь, водополье во дворец нашло!

Не видит царь потопления, и воды нигде нету, а видит: отставной солдат тонет, захлебывается и ртом воздух поверху хватает.

Кричит ему царь:

— Опомнись, служба!

Глядь, а и самому дышать уже нечем: в грудь воды набралось, и в желудке полно ее, в кишках переливается.

— Спасай меня, солдат!

Иван-солдат схватил царя.

— Агей, плыви бодрей!

Поплыл царь Агей. Видит он — спереди его рыба плывет. Рыба обернулась к нему.

— Не бойсь, — рыба говорит, — Агей, это я, служба твоя!

Глянул царь на себя: и он рыбой стал.

Обрадовался царь:

— Теперь не утонем!

— Нет, никак нет! — отвечает ему рыба Иван. — Живы будем!

Плывут они далее. Из дворца уплыли, по вольной воде плывут. И вдруг перед царем прочь пропала рыба Иван. Слышит только царь: кричит ему со стороны отставной солдат:

— Эй, Агей, плыви левей, а то спереди сеть, будут в ухе тебя есть!

Услышал царь солдата, а подумать не успел — и попал он в рыбацкую сеть. Глянул царь — и рыба Иван тут же.

— Чего теперь, служба, делать будем? — спрашивает царь.

— Помирать, государь, будем.

А царю жить охота. Забился он в сети, выскочить захотел, да сеть крепка.

Вытащили рыбаки сеть наружу. Увидел царь Агей, как один рыбак схватил Ивана-рыбу, ободрал с нее ножом чешую и в котел бросил. «Ну, — подумал царь, — с меня чешую драть не будут».

Схватил рыбак царя-рыбу, отсек ей голову и ту голову прочь забросил, а туловище в котел положил. И слышит тогда царь голос отставного солдата:

— Государь ты наш батюшка, а где же твоя голова?

Захотел царь Агей ответить солдату: «А кожа твоя где? С тебя чешую всю содрали! Чего же ты не спас меня, окаянный?» — да ни сказать, ни крикнуть царь не мог: вспомнил он — головы у него нету.

Ухватил царь руками свою голову. Тут опомнился он и озираться начал. Видит царь — сидит он во дворце, как всегда бывало, сидит он на мягком стуле, а против него на табуретке отставной солдат Иван сидит и чай из блюдца пьет.

— Это ты, Иван, рыбой был?

— Я, государь, кто же еще?

— А кто думал, когда у меня головы не было?

Иван говорит:

— Опять же я, государь. Некому было.

Вскричал тут царь на Ивана:

— Вон из моего царства иди! И чтоб духу твоего слышно не было, и чтоб люди мои не помнили тебя, а забыли!

Ушел от царя отставной солдат и чаю только полблюдца выпил. А царь Агей тотчас по всему своему царству приказал, чтоб никто не смел принимать в свой дом Ивана, отставного солдата.

Пошел Иван ходить. Куда ни придет, куда ни попросится: «Царь пускать тебя не велел!» — говорят и ворот ему не отпирают.

Оплошал сперва Иван. Дошел он до своей родни, и родня его не признает: царь, дескать, не велел тебя привечать. Пошел Иван далее. Что же там?

Просится Иван в избу ночевать:

— Пусти, добрый человек!

— Пустил бы, да не велено! — хозяин говорит. — А коли пущу, так разве за сказку. Умеешь ты, нет ли сказки рассказывать?

Подумал Иван:

— Умею, пожалуй!

Пустил его крестьянин ночевать.

Рассказал ему Иван сказку. Сначала хозяин слушал без охоты: «Чего, — думает, — скажет солдат! Солжет да каши попросит». Глядь — в середине сказки хозяин улыбнулся, потом задумался, а под конец сказки и вовсе забыл, кто он такой, — думает, что и сам он уж не мужик, а разбойник, мало того: и царь он морской, а не то просто бедный, да премудрый прохожий человек либо дурак. А ведь и нет будто ничего: сидит один отставной солдат, губами шевелит и слова бормочет. Опамятовался хозяин и просит еще сказку у солдата. Тот еще рассказал, другую сказку. На дворе уже светать начало, а солдат с хозяином спать еще не ложились. Иван-солдат уж которую сказку говорит, а хозяин сидит против него и плачет отрадными слезами.

— Будет! — сказал тут Иван. — Ведь я тебе всего дела — сказку сложил. Чего зря слезы тратишь?

— Да от сказки от твоей, — отвечает хозяин, — душе счастье и уму раздумье.

— А вон царь Агей рассерчал на меня, — вспомнил Иван, — прочь велел мне уйти куда глаза глядят.

— Так тому быть и полагается, — сказал хозяин, — что царю в обиду, то народу в поученье.

Поднялся Иван с места, стал прощаться с хозяином, а тот ему говорит:

— Бери в избе что хочешь. Мне ничего теперь не жалко, а тебе в дороге, гляди, понадобится что.

— А у меня все есть, хозяин, мне ничего не надобно. Спасибо тебе!

— А не видать того, что есть у тебя!

Отставной солдат ухмыльнулся:

— А вот же и нет ничего у меня, а ты любое добро свое отдаешь. Значит, есть на что со мной меняться!

— И правда твоя, — согласился хозяин. — Ну, прощай. Да впредь заходи, гостем будешь.

И пошел с той поры Иван по дворам, по чужим деревням. Повсюду его за обещанье, что он сказку скажет, и ночевать пускали, и ужином кормили: сказка-то оказалась сильнее царя. Только, бывало, если до ужина он сказку начнет, то ужинать уж некогда было, и люди, кто слушал его, есть не хотели, поэтому отставной солдат прежде сказки всегда щи хлебал.

Так оно было вернее. С одной-то сказки, не евши, тоже не проживешь.

ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СОКОЛ

Жили в деревне крестьянин с женой; было у них три дочери. Дочери выросли, а родители постарели, и вот пришло время, пришел черед — умерла у крестьянина жена. Стал крестьянин один растить своих дочерей. Все три его дочери были красивые и красотой равные, а нравом — разные.

Старый крестьянин жил в достатке и жалел своих дочерей. Захотел он было взять во двор какую ни есть старушку-бобылку, чтобы она по хозяйству заботилась. А меньшая дочь, Марьюшка, говорит отцу:

— Не надобно, батюшка, бобылку брать, я сама буду по дому заботиться.

Марья радетельная была. А старшие дочери ничего не сказали.

Стала Марьюшка вместо своей матери хозяйство по дому вести. И все-то она умеет, все у нее ладится, а что не умеет, к тому привыкает, а привыкши, тоже ладит с делом. Отец глядит и радуется, что Марьюшка у него такая умница да работящая и нравом кроткая. И из себя Марьюшка была хороша — красавица писаная, и от доброты краса ее прибавлялась. Сестры ее старшие тоже были красавицы, только им все мало казалось своей красоты, и они старались прибавить ее румянами и белилами и еще в обновки нарядиться. Сидят, бывало, две старшие сестрицы да целый день охорашиваются, а к вечеру все такие же, что и утром были. Заметят они, что день прошел, сколько румян и белил они извели, а лучше не стали, и сидят сердитые. А Марьюшка устанет к вечеру, зато знает она, что скотина накормлена, в избе прибрано, чисто, ужин она приготовила, хлеб на завтра замесила и батюшка будет ею доволен. Глянет она на сестер своими ласковыми глазами и ничего им не скажет. А старшие сестры тогда еще более сердятся. Им кажется, что Марья-то утром не такая была, а к вечеру похорошела — с чего только, они не знают.

Пришла нужда отцу на базар ехать. Он и спрашивает у дочерей:

— А что вам, детушки, купить, чем вас порадовать?

Старшая дочь говорит отцу:

— Купи мне, батюшка, полушалок, да чтоб цветы на нем большие были и золотом расписанные.

— А мне, батюшка, — средняя говорит, — тоже купи полушалок с цветами, что золотом расписанные, а посреди цветов чтоб красное было. А еще купи мне сапожки с мягкими голенищами, на высоких каблучках, чтоб они о землю топали.

Старшая дочь обиделась на среднюю, у нее было алчное сердце, и сказала отцу:

— И мне, батюшка, и мне купи сапожки с мягкими голенищами и с каблучками, чтоб они о землю топали! А еще купи мне перстень с камешком на палец — ведь я у тебя одна старшая дочь!

Отец пообещал купить подарки, какие наказали две старшие дочери, и спрашивает у младшей:

— А ты чего молчишь, Марьюшка?

— А мне, батюшка, ничего не надо. Я со двора никуда не хожу, нарядов мне не нужно.

— Неправда твоя, Марьюшка! Как я тебя без подарка оставлю? Я тебе гостинец куплю.

— И гостинца не нужно, батюшка, — говорит младшая дочь. — А купи ты мне, батюшка родимый, перышко Финиста — Ясна Сокола, коли оно дешевое будет.

Поехал отец на базар, купил он старшим дочерям подарки, какие они наказали ему, а перышко Финиста — Ясна Сокола не нашел. У всех купцов спрашивал.

«Нету, — говорили купцы, — такого товара; спросу, — говорят, — на него нету».

Не хотелось отцу обижать младшую дочь, свою работящую умницу, однако воротился он ко двору, а перышка Финиста — Ясна Сокола не купил.

А Марьюшка и не обиделась.

— Ничего, батюшка, — сказала Марьюшка, — в иной раз поедешь, тогда оно и купится, перышко мое.

Пришло время, и опять отцу нужда на базар ехать. Он и спрашивает у дочерей, что им купить в подарок, он добрый был.

Большая дочь и говорит:

— Купил ты мне, батюшка, в прежний раз сапожки, так пусть кузнецы подкуют теперь каблучки на тех сапожках серебряными подковками.

А средняя слышит старшую и говорит:

— И мне, батюшка, тоже, а то каблучки стучат, а не звенят, пусть они звенят. А чтоб гвоздики из подковок не потерялись, купи мне еще серебряный молоточек: я им гвоздики подбивать буду.

— А тебе чего купить, Марьюшка?

— А погляди, батюшка, перышко от Финиста — Ясна Сокола: будет ли, нет ли.

Поехал старик на базар. Дела свои скоро сделал и старшим дочерям подарки купил, а для младшей до самого вечера перышко искал, да нет того перышка, никто его в покупку не дает.

Вернулся отец опять без подарка для младшей дочери. Жалко ему стало Марьюшку, а Марьюшка улыбнулась

отцу: она и тому рада была, что снова увидела своего родителя.

Пришло время, поехал отец опять на базар.

— Чего вам, дочки родные, в подарок купить?

Старшая подумала и сразу не придумала, чего ей надо.

— Купи мне, батюшка, чего-нибудь.

А средняя говорит:

— И мне, батюшка, купи чего-нибудь, а к чему-нибудь добавь еще что-нибудь.

— А тебе, Марьюшка?

— А мне купи ты, батюшка, одно перышко Финиста — Ясна Сокола.

Поехал старик на базар. Дела свои сделал. Старшим дочерям подарки купил, а младшей ничего не купил: нету того перышка на базаре.

Едет отец домой, и видит он: идет по дороге старый старик, старше его, вовсе ветхий.

— Здравствуй, дедушка!

— Здравствуй, милый. О чем у тебя кручина?

— А как ей не быть, дедушка! Наказывала мне дочь купить ей одно перышко Финиста — Ясна Сокола. Искал я ей то перышко, а его нету. А дочь-то она у меня меньшая, пуще всех мне ее жалко.

Старый старик задумался, а потом и говорит:

— Ин так и быть!

Развязал он заплечный мешок и вынул из него коробочку.

— Спрячь, — говорит, — коробочку, в ней перышко от Финиста — Ясна Сокола. Да упомни еще: есть у меня один сын; тебе дочь жалко, а мне сына. Ан не хочет мой сын жениться, а уж время ему пришло. Не хочет — неволить нельзя. И сказывает он мне: кто-де попросит у тебя это перышко, ты отдай, говорит, — это невеста моя просит.

Сказал свои слова старый старик — и вдруг нету его, исчез он неизвестно куда: был он или не был!

Остался отец Марьюшки с перышком в руках. Видит он то перышко, а оно серое, простое. А купить его нельзя было нигде. Вспомнил отец, что старый старик ему сказал, и подумал: «Видно, Марьюшке моей судьба такая выходит — не знавши, не видавши, выйти замуж неведомо за кого».

Приехал отец домой, подарил подарки старшим дочерям, а младшей отдал коробочку с серым перышком.

Нарядились старшие сестры и посмеялись над младшей.

— А ты воткни свое воробьиное перышко в волоса да и красуйся.

Марьюшка промолчала, а когда в избе легли все спать, она положила перед собой простое, серое перышко Финиста — Ясна Сокола и стала им любоваться. А потом Марьюшка взяла перышко в свои руки, подержала его при себе, погладила и нечаянно уронила на пол.

Тотчас ударился кто-то в окно. Окно открылось, и влетел в избу Финист — Ясный Сокол. Приложился он до полу и обратился в прекрасного молодца. Закрыла Марьюшка окно и стала с молодцем разговор разговаривать. А к утру отворила Марьюшка окно, приклонился молодец до полу, обратился молодец в ясного сокола, а сокол оставил по себе простое, серое перышко и улетел в синее небо.

Три вечера привечала Марьюшка сокола. Днем он летал по поднебесью, над полями, над лесами, над горами, над морями, а к вечеру прилетал к Марьюшке и делался добрым молодцем.

На четвертый вечер старшие сестры расслышали тихий разговор Марьюшки, услышали они и чужой голос доброго молодца, а наутро спросили младшую сестру:

— С кем это ты, сестрица, ночью беседуешь?

— А я сама себе слова говорю, — ответила Марьюшка. — Подруг у меня нету, днем я в работе, говорить некогда, а вечером я беседую сама с собой.

Послушали старшие сестры младшую, да не поверили ей. Сказали они батюшке:

— Батюшка, а у Марьи-то нашей суженый есть, она по ночам с ним видится и разговор с ним разговаривает. Мы сами слыхали.

А батюшка им в ответ:

— А вы бы не слушали, — говорит. — Чего у нашей Марьюшки суженому не быть? Худого тут нету, девица она пригожая и в пору свою вышла; придет и вам черед.

— Так Марья-то не по череду суженого своего узнала, — сказала старшая дочь. — Мне бы сталось первее ее замуж выходить.

— Оно правда твоя, — рассудил батюшка. — Так судьба-то не по счету идет. Иная невеста в девках до старости лет сидит, а иная с младости всем людям мила.

Сказал так отец старшим дочерям, а сам подумал: «Иль уж слово того старого старика сбывается, что перышко мне подарил? Беды-то нету, да хороший ли человек будет суженый у Марьюшки?»

А у старших дочерей свое желание было. Как стало время на вечер, Марьюшкины сестры вынули ножи из черенков, а ножи воткнули в раму окна и вкруг него, а кроме ножей воткнули еще туда острые иголки да осколки старого стекла. Марьюшка в то время корову в хлеву убирала и ничего не видела.

И вот, как стемнело, летит Финист — Ясный Сокол к Марьюшкиному окну. Долетел он до окна, ударился об острые ножи да об иглы и стекла, бился-бился, всю грудь изранил, а Марьюшка уморилась за день в работе, задремала она, ожидаючи Финиста — Ясна Сокола, и не слышала, как бьется ее сокол в окно.

Тогда Финист сказал громко:

— Прощай, моя красная девица! Коли нужен я тебе, ты найдешь меня, хоть и далеко я буду! А прежде того, идучи ко мне, ты башмаков железных три пары износишь, трое посохов чугунных о траву подорожную сотрешь, три хлеба каменных изглодаешь.

И услышала Марьюшка сквозь дрему слова Финиста, а встать, пробудиться не могла. А утром пробудилась она, загоревало ее сердце. Посмотрела она в окно, а в окне кровь Финиста на солнце сохнет. Заплакала тогда Марьюшка. Отворила она окно и припала лицом к месту, где была кровь Финиста-сокола. Слезы смыли кровь сокола, а сама Марьюшка словно умылась кровью суженого и стала еще краше.

Пошла Марьюшка к отцу и сказала ему:

— Не брани меня, батюшка, отпусти меня в путь-дорогу дальнюю. Жива буду — свидимся, а помру — на роду, знать, мне было написано.

Жалко было отцу отпускать неведомо куда любимую младшую дочь. А неволить ее, чтоб дома она жила, нельзя. Знал отец: любящее сердце девицы сильнее власти отца и матери. Простился он с любимой дочерью и отпустил ее.

Кузнец сделал Марьюшке три пары башмаков железных и три посоха чугунных, взяла еще Марьюшка три каменных хлеба, поклонилась она батюшке и сестрам, могилу матери навестила и отправилась в путь-дорогу искать Финиста — Ясна Сокола.

Идет Марьюшка путем-дорогою. Идет она не день, не два, не три дня, идет она долгое время. Шла она и чистым полем, и темным лесом, шла и высокими горами. В полях птицы ей песни пели, темные леса ее привечали, с высоких гор она всем миром любовалась. Шла Марьюшка столько, что одну пару башмаков железных она износила, чугунный посох о дорогу истерла и каменный хлеб изглодала, а путь все не кончается, и нету нигде Финиста — Ясна Сокола.

Вздохнула тогда Марьюшка, села на землю, стала она другие железные башмаки обувать — и видит избушку в лесу. А уж ночь наступила.

Подумала Марьюшка: «Пойду в избушку людей спрошу, не видали они моего Финиста — Ясна Сокола?»

Постучалась Марьюшка в избушку. Жила в той избушке одна старуха — добрая или злая, про то Марьюшка не знала. Отворила старушка сени — стоит перед ней красная девица.

— Пусти, бабушка, ночевать!

— Входи, голубушка, гостьей будешь. А далеко ли ты идешь, молодая?

— Далеко ли, близко, сама не знаю, бабушка. А ищу я Финиста — Ясна Сокола. Не слыхала ли ты про него, бабушка?

— Как не слыхать! Я старая, давно на свете живу, я про всех слыхала! Далеко тебе идти, голубушка.

Наутро хозяйка-старуха разбудила Марьюшку и говорит ей:

— Ступай, милая, теперь к моей середней сестре. Она старше меня и ведает больше. Может, она добру тебя научит и скажет, где твой Финист живет. А чтоб ты меня, старую, не забыла, возьми-ка вот серебряное донце да золотое веретенце, станешь кудель прясти, золотая нитка потянется. Береги мой подарок, пока он дорог тебе будет, а не дорог станет — сама его подари.

Марьюшка взяла подарок, полюбовалась им и сказала хозяйке:

— Благодарствую, бабушка. А куда же мне идти, в какую сторону?

— А я тебе клубочек дам — самокат. Куда клубочек покатится, и ты ступай за ним вослед. А передохнуть задумаешь, сядешь на травку — и клубочек остановится, тебя ожидать будет.

Поклонилась Марьюшка старухе и пошла вослед за клубочком. Долго ли, коротко ли шла Марьюшка, пути она не считала, сама себя не жалела, а видит она — леса стоят темные, страшные, в полях трава растет нехлебная, колючая, горы встречаются голые, каменные, и птицы над землей не поют. Шла Марьюшка все далее, все скорее она спешила. Глядь, опять переобуваться надо: другая пара башмаков железных износилась, и посох чугунный о землю истерся, и каменный хлеб она изглодала.

Села Марьюшка переобуваться. Видит она — черный лес близко, и ночь наступает, а в лесу в одной избушке огонек зажгли в окне.

Клубочек покатился к той избушке. Пошла за ним Марьюшка и постучалась в окошко:

— Хозяева добрые, пустите ночевать!

Вышла на крыльцо избушки старуха, старее той, что прежде привечала Марьюшку.

— Куда идешь, красная девица? Кого ты ищешь на свете?

— Ищу, бабушка, Финиста — Ясна Сокола. Была я у одной старушки в лесу, ночь у нее ночевала, она про Финиста слыхала, а не ведает его. Может, сказывала, середняя ее сестра ведает.

Пустила старуха Марьюшку в избу. А наутро разбудила гостью и сказала ей:

— Далеко тебе искать Финиста будет. Ведать я про него ведала, да видать — не видала. А иди ты теперь к нашей старшей сестре, она и знать про него должна. А чтоб помнила ты обо мне, возьми от меня подарок. По радости он тебе памятью будет, а по нужде помощь окажет.

И дала хозяйка-старушка своей гостье серебряное блюдо и золотое яичко.

Попросила Марьюшка у старой хозяйки прощенья, поклонилась ей и пошла вослед клубочку.

Идет Марьюшка, а земля вокруг нее вовсе чужая стала.

Смотрит она — один лес на земле растет, а чистого поля нету. И деревья, чем далее катится клубок, все выше растут. Совсем темно стало: солнца и неба не видно.

А Марьюшка и по темноте все шла да шла, пока железные башмаки ее насквозь не истоптались, а посох о землю не истерся и покуда последний каменный хлеб она до остатней крошки не изглодала.

Огляделась Марьюшка — как ей быть? Видит она свой клубочек: лежит он под окошком у лесной избушки.

Постучала Марьюшка в окно избушки:

— Хозяева добрые, укройте меня от темной ночи!

Вышла на крыльцо древняя старушка, самая старшая сестра всех старух.

— Ступай в избу, голубка, — говорит. — Ишь, куда как далече пришла! Далее и не живет на земле никто, я крайняя. Тебе в иную сторону завтра с утра надобно путь держать. А чья же ты будешь и куда идешь?

Отвечала ей Марьюшка:

— Я нездешняя, бабушка. А ищу я Финиста — Ясна Сокола.

Поглядела старшая старуха на Марьюшку и говорит ей:

— Финиста-сокола ищешь? Знаю я, знаю его. Я давно на свете живу, уж так давно, что всех узнала, всех запомнила.

Уложила старуха Марьюшку, а наутро разбудила ее.

— Давно, — говорит, — я добра никому не делала. Одна в лесу живу, все про меня забыли, одна я всех помню. Тебе добро и сделаю: скажу тебе, где твой Финист — Ясный Сокол живет. А и отыщешь ты его, трудно тебе будет: Финист-сокол теперь женился, он со своей хозяйкой живет. Трудно тебе будет, да сердце у тебя есть, а на сердце и разум придет, а от разума и трудное легким станет.

Марьюшка сказала в ответ:

— Благодарствую тебе, бабушка, — и поклонилась ей в землю.

— Благодарствовать мне после будешь. А вот тебе подарочек — возьми от меня золотое пялечко да иголочку: ты пялечко держи, а иголочка сама вышивать будет. Ступай теперь, а что нужно будет делать тебе — пойдешь, сама узнаешь.

Клубочек далее не катился. Вышла на крыльцо старшая старуха и указала Марьюшке, в какую сторону ей надо идти.

Пошла Марьюшка, как была, босая. Подумала: «Как пойду? Земля здесь твердая, чужая, к ней привыкнуть нужно...»

Прошла она недолго времени. И видит — стоит на поляне богатый двор. А во дворе терем: крыльцо резное, оконца узорчатые. У одного оконца сидит богатая, знатная хозяйка и смотрит на Марьюшку: чего, дескать, ей надо.

Вспомнила Марьюшка: обуться ей теперь не во что и последний каменный хлеб она изглодала в дороге.

Сказала она хозяйке:

— Здравствуй, хозяюшка! Не надобно ли вам работницу за хлеб, за одежу-обужу?

— Надобно, — отвечает знатная хозяйка. — А умеешь ли ты печи топить, и воду носить, и обед стряпать?

— Я у батюшки без матушки жила — я все умею.

— А умеешь ты прясть, ткать и вышивать?

Вспомнила Марьюшка о подарках старых бабушек.

— Умею, — говорит.

— Ступай тогда, — хозяйка говорит, — на кухню людскую.

Стала Марьюшка работать и служить на чужом богатом дворе. Руки у Марьюшки честные, усердные — всякое дело ладится у ней.

Хозяйка глядит на Марьюшку да радуется: не было еще у нее такой услужливой, да доброй, да смышленой работницы; и хлеб Марьюшка ест простой, запивает его квасом, а чаю не просит. Похвалилась хозяйка своей дочери.

— Смотри, — говорит, — работница какая у нас во дворе: покорная да умелая и на лицо ласковая!

Посмотрела хозяйкина дочь на Марьюшку.

— Фу! — говорит. — Пусть она ласковая, а я зато краше ее, и я телом белее!

Вечером, как управилась с хозяйскими работами, села Марьюшка прясть. Села она на лавку, достала серебряное донце и золотое веретенце и прядет. Прядет она, из кудели нитка тянется — нитка не простая, а золотая. Прядет она, а сама глядит в серебряное донце, и чудится ей, что видит она там Финиста — Ясна Сокола: смотрит он на нее, как

живой на свете. Глядит Марьюшка на него и разговаривает с ним:

— Финист мой, Финист — Ясный Сокол, зачем ты оставил меня одну, горькую, плакать по тебе? Эти сестры мои, разлучницы, кровь твою пролили.

А хозяйкина дочь вошла в ту пору в людскую избу, стоит поодаль, глядит и слушает.

— О ком ты горюешь, девица? — спрашивает она. — И какая у тебя забава в руках?

Марьюшка говорит ей:

— Горюю я о Финисте — Ясном Соколе. А это я нить пряду, полотенце Финисту буду вышивать — было бы ему чем поутру белое лицо утирать.

— А продай мне свою забаву! — говорит хозяйкина дочь. — Ан Финист-то муж мой, я и сама ему нить спряду.

Посмотрела Марьюшка на хозяйкину дочь, остановила свое золотое веретенце и говорит:

— У меня забавы нету, у меня работа в руках. А серебряное донце — золотое веретенце не продается: мне добрая бабушка его подарила.

Обиделась хозяйкина дочь: не хотелось ей золотое веретенце из рук своих выпускать.

— Если не продается, — говорит, — давай тогда мену делать, я тебе тоже вещь подарю.

— Подари, — сказала Марьюшка, — дозволь мне на Финиста — Ясна Сокола хоть раз одним глазком взглянуть!

Хозяйская дочь подумала и согласилась.

— Изволь, девица, — говорит. — Давай мне твою забаву.

Взяла она у Марьюшки серебряное донце — золотое веретенце, а сама думает: «Покажу я ей Финиста ненадолго, ничего с ним не станется — дам ему сонного зелья, а через это золотое веретенце мы с матушкой вовсе озолотимся!»

К ночи воротился из поднебесья Финист — Ясный Сокол; обратился он в доброго молодца и сел ужинать в семействе: теща-хозяйка да Финист с женою.

Хозяйская дочь велела позвать Марьюшку: пусть она служит за столом и на Финиста глядит, как уговор был. Марьюшка явилась, служит она за столом, кушанья подает и с Финиста глаз не сводит. А Финист сидит, словно нету ее, — не

узнал он Марьюшки: истомилась она путем-дорогою, идучи к нему, и от печали по нем изменилась в лице.

Отужинали хозяева, встал Финист и пошел спать в свою горницу.

Марьюшка и говорит тогда молодой хозяйке:

— Мух во дворе много летает. Пойду-ка я к Финисту в горницу, буду от него мух отгонять, чтоб спать не мешали.

— А пусть ее идет! — сказала старая хозяйка.

Молодая хозяйка опять здесь подумала.

— Ан нет, — говорит, — пусть обождет.

А сама пошла вслед за мужем, дала ему на ночь сонного зелья выпить в питье и воротилась. «Может, — рассудила хозяйская дочь, — у работницы еще какая забава на такую мену есть!»

— Иди теперь, — сказала она Марьюшке. — Иди, мух от Финиста отгоняй!

Пришла Марьюшка к Финисту в горницу и позабыла про мух. Видит она: спит ее сердечный друг непробудным сном.

Смотрит на него Марьюшка — не насмотрится. Наклонилась к нему близко, одним дыханием с ним дышит, шепчет ему:

— Проснись, мой Финист — Ясный Сокол, это я к тебе пришла; я три пары башмаков железных истоптала, три посоха чугунных о дорогу истерла, три хлеба каменных изглодала!

А Финист спит непробудно, он глаз не открывает и не молвит слова в ответ.

Приходит в горницу жена Финиста — хозяйская дочь — и спрашивает:

— Отгоняла мух?

— Отгоняла, — Марьюшка говорит, — они в окно улетели.

— Ну иди спать в людскую избу.

На другой день, как поделала Марьюшка всю хозяйскую работу, взяла она серебряное блюдечко и катает по нем золотым яичком: покатает вокруг — и новое золотое яичко скатывается с блюдечка; покатает другой раз вокруг — и опять новое золотое яичко скатывается с блюдечка.

Увидела хозяйская дочь.

— Ужли, — говорит, — и такая забава есть у тебя? Продай мне ее, либо я тебе мену, какую хочешь, дам за нее.

Марьюшка говорит ей в ответ:

— Продать не могу, мне добрая бабушка это в подарок дала, и я тебе даром блюдечко с яичком отдам. На-ко, возьми!

Взяла подарок хозяйская дочь и обрадовалась:

— А может, и тебе что нужно, Марьюшка? Проси, чего хочешь.

Марьюшка и просит в ответ:

— А мне самое малое и нужно. Дозволь опять от Финиста мух отгонять, когда ты почивать его уложишь.

— Изволь, — говорит молодая хозяйка.

А сама думает: «Чего с мужем станется от поглядки чужой девицы! Да и спать он будет от зелья, глаз не откроет, а у работницы, может, еще какая забава есть!»

К ночи опять, как было, воротился Финист — Ясный Сокол из поднебесья, оборотился он в доброго молодца и сел за стол ужинать со своим семейством.

Жена Финиста позвала Марьюшку прислуживать за столом, кушанья подавать, Марьюшка кушанья подает, чашки ставит, ложки кладет, а сама глаз с Финиста не сводит. А Финист глядит и не видит ее — не узнает ее его сердце.

Опять, как было, дала хозяйская дочь своему мужу питье с сонным зельем и спать его уложила. А работницу Марьюшку послала к нему и велела ей мух отгонять.

Пришла Марьюшка к Финисту, стала звать его и плакать над ним, думала — нынче он пробудится, взглянет на нее и узнает Марьюшку. Долго звала его Марьюшка и слезы со своего лица утирала, чтоб они не упали на белое лицо Финиста и не смочили его. А Финист спал, он не пробудился и глаз своих не открыл в ответ.

На третий день Марьюшка справила всю хозяйскую работу, села на лавку в людской избе, вынула золотое пялечко и иголочку. Держит она в руках золотое пялечко, а иголочка сама по полотну вышивает.

Вышивает Марьюшка, сама приговаривает:

— Вышивайся, вышивайся, мой красный узор, вышивайся для Финиста — Ясна Сокола, было бы ему на что любоваться!

Молодая хозяйка неподалеку ходила-была; пришла она в людскую избу, увидела в руках у Марьюшки золотое пя-

лечко и иголочку, что сама вышивает. Зашлось у нее сердце завистью и алчностью, и говорит она:

— Ой, Марьюшка, душенька, красная девица! Подари мне такую забаву, либо что хочешь в обмен возьми! Золотое веретенце есть у меня, пряжи я напряду, холстины натку, а золотого пялечка с иголочкой у меня нету — вышивать нечем. Если в обмен не хочешь отдавать, тогда продай! Я цену тебе дам!

— Нельзя! — говорит Марьюшка. — Нельзя золотое пялечко с иголочкой ни продавать, ни в обмен давать. Их мне самая добрая, самая старая бабушка даром дала. И я тебе их даром отдам.

Взяла молодая хозяйка пялечко с иголочкой, а Марьюшке ей дать нечего, она и говорит:

— Приходи, коли хочешь, от мужа моего, Финиста, мух отгонять. Прежде ты сама просилась.

— Приду уж, так и быть, — сказала Марьюшка.

После ужина молодая хозяйка сначала не хотела давать Финисту сонного зелья, а потом раздумалась и добавила того зелья в питье: «Чего ему глядеть на девицу, пусть спит!»

Пошла Марьюшка в горницу к спящему Финисту. Уже не стерпело теперь ее сердце. Припала она к его белой груди и причитает:

— Проснись-пробудись, Финист мой, Ясный мой Сокол! Я всю землю пешей прошла, к тебе идучи! Три посоха чугунных уморились со мной ходить и о землю истерлись, три пары башмаков железных ноги мои износили, три хлеба каменных я изглодала. Встань-проснись, Финист мой, Сокол! Сжалься ты надо мной!

А Финист спит, ничего не чует, и не слышит он голоса Марьюшки.

Долго Марьюшка будила Финиста, долго плакала над ним, а не проснулся Финист — крепко было зелье жены. Да упала одна горячая слеза Марьюшки на грудь Финиста, а другая слеза упала на его лицо. Одна слеза обожгла сердце Финиста, а другая открыла ему глаза, и он в ту же минуту проснулся.

— Ах, — говорит, — что меня обожгло?

— Финист мой, Ясный Сокол! — отвечает ему Марьюшка. — Пробудись ко мне, это я пришла! Долго-долго я искала тебя, железо и чугун я о землю истерла. Не стерпели они

дороги к тебе, а я стерпела! Третью ночь я зову тебя, а ты спишь, ты не пробуждаешься, ты на голос мой не отвечаешь!

И тут узнал Финист — Ясный Сокол свою Марьюшку, красную девицу. И так он обрадовался ей, что от радости сперва слова молвить не мог. Прижал он Марьюшку к груди своей белой и поцеловал.

А очнувшись, привыкши, что Марьюшка с ним, он сказал ей:

— Будь ты моей сизой голубкой, моя верная красная девица!

И в ту же минуту обратился он в сокола, а Марьюшка — в голубку.

Улетели они в ночное поднебесье и всю ночь летели рядом, до самого рассвета.

А когда они летели, Марьюшка спросила:

— Сокол, сокол, а куда ты летишь, ведь жена твоя соскучится!

Финист-сокол послушал ее и ответил:

— Я к тебе лечу, красная девица. А кто мужа меняет на веретенце, на блюдечко да на иголку, той жене мужа не надо и та жена не соскучится.

— А чего же ты женился на такой жене? — спросила Марьюшка. — Воли твоей не было?

— Воля моя была, да судьбы и любви не было.

И они полетели далее рядом друг с другом.

А на рассвете опустились они на землю. Поглядела Марьюшка вокруг; видит она — дом ее родителя стоит, как прежде был. Захотела Марьюшка увидеть отца-родителя, и тут же обратилась она в красную девицу. А Финист — Ясный Сокол ударился о сыру землю и сделался перышком.

Взяла Марьюшка перышко, спрятала его к себе на грудь, за пазуху, и пришла к отцу.

— Здравствуй, дочь моя меньшая, любимая! Я думал, что тебя и на свете нету. Спасибо, что отца не забыла, домой воротилась. Где была так долго, чего домой не спешила?

— Прости меня, батюшка. Так нужно мне было.

— Что ж, нужно так нужно. Спасибо, что нужда прошла.

А случилось это на праздник, и в городе большая ярмарка открылась. Собрался наутро отец на ярмарку ехать, и старшие дочери с ним едут — подарки себе покупать.

Отец и меньшую позвал, Марьюшку.

А Марьюшка:

— Батюшка, — говорит, — я с дороги притомилась, и надеть мне на себя нечего. На ярмарке, чай, все нарядные будут.

— Я там тебя, Марьюшка, обряжу, — отвечает отец. — На ярмарке, чай, торг большой.

А старшие сестры говорят младшей:

— Надень наши уборы, у нас лишние есть.

— Ах, сестрицы, спасибо вам, — говорит Марьюшка. — Мне ваши платья не по кости! Да мне и дома хорошо.

— Ну, быть по-твоему, — говорит ей отец. — А что тебе с ярмарки привезти, какой подарок? Скажи, отца не обижай!

— Ах, батюшка, ничего мне не надобно, все у меня есть! Недаром я далеко ходила и в дороге утомилась.

Отец со старшими сестрами уехал на ярмарку. В ту же пору Марьюшка вынула свое перышко. Оно ударилось об пол и сделалось прекрасным добрым молодцем, Финистом, только еще прекраснее, чем он был прежде. Марьюшка удивилась да от счастья своего ничего не сказала. Тогда сказал ей Финист:

— Не дивись на меня, Марьюшка, это я от твоей любви таким стал.

— Я хоть и дивлюсь, — сказала Марьюшка, — да для меня ты всегда одинаков, я тебя всякого люблю.

— А где родитель твой батюшка?

— На ярмарку уехал, и сестры с ним старшие.

— А ты чего, Марьюшка моя, не поехала с ними?

— У меня Финист есть, Ясный Сокол. Мне ничего на ярмарке не надо.

— И мне ничего не надо, — сказал Финист, — да я от твоей любви богатым стал.

Обернулся Финист от Марьюшки, свистнул в окошко — сейчас явились платья, уборы и карета золотая. Нарядились они, сели в карету, кони помчали их вихрем.

Приехали они в город на ярмарку, а ярмарка только открылась, все богатые товары и яства горою лежат, а покупатели едут в дороге.

Финист купил на ярмарке все товары, все яства, что были там, велел их обозами везти в деревню к родителю Марьюшки. Одну только мазь колесную он не купил, а оставил ее на ярмарке.

Он хотел, чтобы все крестьяне, какие приедут на ярмарку, стали гостями на его свадьбе и скорее ехали к нему. А для скорой езды им мазь нужна будет.

Поехали Финист с Марьюшкой домой. Едут они быстро, лошадям воздуха от ветра не хватает.

На половине дороги увидела Марьюшка своего батюшку и старших сестер. Они еще на ярмарку ехали и не доехали. Марьюшка велела им ворочаться ко двору, на свадьбу ее с Финистом — Ясным Соколом.

А через три дня собрался в гости весь народ, что жил на сто верст в округе; обвенчался тогда Финист с Марьюшкой, и свадьба была богатая.

На той свадьбе дедушки наши и бабушки были, долго они пировали, жениха и невесту величали, с лета до зимы не разошлись бы, да настала пора убирать урожай, хлеб осыпаться начал; оттого и свадьба кончилась, и на пиру гостей не осталось.

Свадьба кончилась, и свадебный пир гости позабыли, а верное любящее сердце Марьюшки навсегда запомнилось в русской земле.

СОЛДАТ И ЦАРИЦА

Жила-была в старину сердитая царица. Все ей было не по нраву. И то не так, и это не по ней, на всех она в обиде. С утра до вечера пороли, драли, лупили и повинных и невинных — всех, кто царице не угодил, а угодить ей никто не мог. Так уж и в обычай вошло. Особливо доставалось тем, кто к царице был близок. Сенные, дворцовые ее девушки, слуги коридорные, белые и черные мужики, кучера и портнихи каждое утро от вчерашних розог и палок чесались, а к нынешним готови-

лись. Вот гуляет однажды царица по саду, а солдат возле будки на часах стоит. Увидел солдат царицу, никогда ее не видел. «Ишь ты!» — подумал и ухмыльнулся. Не знал солдат — внове стоял при дворце, — что пред царицей ни ухмыльнуться нельзя, ни нахмуриться, ни умильным быть: все одно царица нравом кипела. Глянула царица на солдата:

— Ты чего ухмыляешься?

А простой солдат чего скажет царице, ничего он сказать не мог, и невзначай или сдуру, что ль, опять ухмыльнулся. Тут царица сперва и слова сказать не могла от злости. Потом кликнула кого надо.

— Давать, — приказывает, — этому солдату по двадцать палок каждый день с утра.

С тех пор с утра, как встанет, получает солдат двадцать палок. Били-били солдата, целый год били, — как проснется, так двадцать палок, хоть в будни, хоть в праздники. Измучился, исхудал солдат, бить его не во что стало. А царица и забыла про него: пусть бьют до смерти, она на других серчает.

Что тут делать солдату? Не миновать ему смерти от палок, забьют его. Солдат у того, у другого спрашивает — выбирает, кто поумней считается, — а умные ему в один ответ: терпи, говорят, чего с царицей сделаешь, она у нас сердитая.

Солдат выслушал умных, а сам подумал: «Эх, не вам терпеть, а мне», — и пошел к дураку.

При войске у них дурак жил, его солдаты с кухни кормили и выношенную одежду давали ему донашивать.

Солдат сказал дураку, как ему живется, а дурак и сам уж знал.

— Э, да не поможешь ты мне! — сказал солдат. — Ведь ты дурак!

А дурак захохотал:

— Как так не помогу! А не помогу, так и зла не сделаю, ты при своем останешься. Дай мне копейку!

Дал ему солдат копейку. Повел дурак солдата на край города. Шли они, шли, далеко ушли, кругом их бедные домишки стоят, дворцов давно нету.

«Эх, — думает солдат, — далече мы зашли, пропала моя копейка».

Пришли они в бедный домишко, жил там сапожник с женой. У этого сапожника была жена, сходственная с царицей, как родная сестра; поставь ее рядом с царицей, их и отличить нельзя, которая царица, которая сапожница.

За показ жены сапожник брал по копейке с человека — с купца там, с мастерового, с приказчика, — а солдатам и калекам показывал даром, а деньги пропивал.

Заплатил дурак копейку сапожнику, а солдат, конечно, даром прошел. Вошли они в комнату. Видят, на кровати женщина лежит и спит. Солдат дрогнул и во фрунт стал: вылитая была перед ним царица.

Дурак и говорит:

— Вот была бы она царицей, она бы тебя палкой не била.

Солдат согласен с дураком:

— Не била бы! Жалко, что она сапожница, из нее бы царица хорошая вышла!

Дурак засмеялся:

— А выйдет, — говорит, — из нее царица!

Солдат обнадежился:

— А как выйдет-то?

Дурак захохотал в ответ, а солдат увел его прочь, а то сапожница проснется. Идут они обратно. Дурак спрашивает у солдата:

— Ты где ночью на карауле стоишь?

— Нынче во дворце, в покоях буду стоять.

— Вот чего, — дурак ему, — я тебе ночью сапожницу приволоку!

— Это к чему же? А сапожник услышит!

— Нету, — дурак отвечает. — Сапожник ничего не услышит. Он днем наработается, потом вина напьется и спит крепко, на нем кривые гвозди выпрямляй — он не чует.

— А к чему мне сапожница?

— Эк ты какой! А говорят — я дурак! Царица-то заснет, ты мне и давай ее сонную, а я тебе на руки сонную сапожницу. Царицу я унесу к сапожнику, а ты сапожницу в царские покои отнеси, покуда она не проснулась.

Солдат подумал:

— А не страховито ли будет? При царице и моргнуть нельзя, а ты ее к сапожнику унесешь? А вдруг проснется, дознается, да она нам голову прочь!

А дурак думает иное:

— Царица целый день злится, с утра до вечера умается, а ночью спит-храпит — пузыри изо рта пускает. До своего времени она не проснется. А если и дознается, так я в дураках хожу — какой с меня спрос.

Солдат согласился:

— Ишь ты, обдумал как! А сам дурак! Так ладно будет, пожалуй, — тащи уж по темноте сапожницу во дворец.

За ночь дурак так и сделал: сапожницу в царские покои принес, а царицу утащил к сапожнику — они и не проснулись.

А как наступило утро, проснулся первым сапожник и толкнул жену в бок. Ему и воды испить захотелось, и курить надо, и голова у него болит: пусть жена ему воды подаст, трубку найдет и в утешенье что-нибудь скажет.

Царица проснулась, открыла глаза, не поняла ничего и опять заснула.

Сапожник ее опять в бок: ты что, дескать, иль не слышишь?

— Подымайся, баба! — сапожник говорит. — Пора!

Царица опять открыла глаза.

— Чего пора? — спрашивает. — Ты кто такой?

А сапожник ей:

— А ты кто такая?

Царица как закричит:

— Ах ты негодный! Ах ты окаянный! Да ведь я царица!

Сапожник как соскочит с кровати:

— Ах, так ты царица!

Схватил сапожничий ремень, шпандырь, и давай царицу пороть-охаживать.

— Ах, так ты царица! Ишь ты, лодырь, ишь ты, негодница, — только спать здорова! Я тебе дам — царица! Я тебе дам — как мужу своему не угождать!

Царица как крикнет:

— Эй, кто там! Забить этого негодяя насмерть!

А никто не идет — нету никого.

Царица и думает: «Что такое! Видно, я померла и в ад попала — так это, верно, черт!»

Подумала так и опять заснула: «Может, опять-де проснусь во дворце, в своем царстве, и ничего этого не будет; это мне снится».

Ан нет, черт-сапожник ремень положил да опять кулаком ее в бок:

— Баба, чего не встаешь?

— Отвяжись от меня, я царица.

— Как так — ты опять царица? — говорит сапожник и сызнова царицу хлоп да хлоп, злой был человек. — Подымайся, тебе говорят, — картошку вари, самовар ставь, комнату убирай, портки мне заштопай! Ишь ты, притворщица!

Оробела царица — опять ее этот черт бить да хлопать будет. А больно ей ведь, — ей больнее всех, до того она боли-то и не знала. Поднялась она, приоделась в платье сапожницы и стала работать по дому. Однако за что ни возьмется, ничего у нее не выходит, из рук все валится, оно так и быть должно: царица-то серчать да царствовать привыкла, только и всего.

Сапожник видит — дело у нее не идет, и опять — хлоп да хлоп ее.

Царица уж молчит и не говорит, что она царица, а сама работать старается.

Вот сготовила она кое-как обед, а его и есть нельзя — недоварено, пересолено, нечисто.

Съел сапожник одну ложку щей и говорит:

— Ты и правда, должно, царица: ничего делать не умеешь. Таких щей и псы не едят.

И снова за свое — хлоп ее, за плохие, значит, щи. Царица совсем оробела; сидит она перед сапожником и трясется от страха.

После обеда сапожник лег в кровать:

— Возьми гребень, жена, расчеши мне голову, а я дремать буду.

Стала царица голову сапожнику чесать; что ж делать-то, ослушаться нельзя.

А на другой день велел ей сапожник белье стирать. Стирает белье царица, сроду она не стирала, все белые руки свои истерла, исстирала, а белье не выбелила.

Так жила царица у сапожника — жила да мучилась; три дня жила.

А сапожница как проснулась в царицыной постели, огляделась кругом, видит — приятно везде. На кровати перины, одевания шелковые и ковровые, зеркала светятся, горница вся прибрана и цветами пахнет.

«Аль я в раю? — подумала сапожница. — Век того не видала, что вижу!»

Тут вошли в спальную горницу четыре горничные девушки, — вошли они, а подойти к царице боятся.

— Вам чего надо? — спрашивает их сапожница.

Девушки ей отвечают:

— Здравствуй, матушка царица! А мы тебя одевать, убирать пришли!

Сапожница им:

— А я сама оденусь, иль я калека!

А девушки стоят, не уходят.

Сапожница глядит на них:

— Чего ж вы стоите? Неужели дела у вас нету, бездельницы?

А девушки глядят на табуретку у кровати, на табуретке палка лежит и плетка.

— А бить-то нас будешь когда, матушка? — спросили девушки. — Теперь иль после?

— Да за что ж вас бить? Вам больно будет!

— А за то, матушка царица, что вам серчать надо!

Тут сапожница рассерчала:

— Дуры вы, что ли! Идите прочь да делом займитесь.

Девушки ушли. А сапожница поднялась, оделась, пошла на кухню и там чаю с бубликами напилась. На кухне повара и кухарки обращаются к сапожнице со страхом и почтением, сахару подают сколько хочешь, каждый думает, что она царица. И сапожница стала думать, что она царица.

«Чего это! — думает. — Царица я, что ль? Знать, и правда царица. Ну что ж, и царицей теперь побуду, сапожницей-то успею, пусть мужик мой по мне поскучает! Царицей-то оно легче быть!»

Вот живет она царицей и день, и два. С утра до вечера позади царицы вельможа ходит, все ее приказы и желанья пишет и исполняет. Царица уж привыкла к вельможе: кто ни обратится к ней с просьбой или с чем — она только укажет:

— Скажи заднему, он исполнит! — и далее идет.

Идет она и семечки грызет, а семечки для нее вельможа в горсти держит и руку наотлет вытянул.

В тот час наш солдат у деревянной будки стоял. Видит он — идет, гуляет сапожница-царица. А солдата по-прежнему палками бьют и нынче били с утра.

Глянул солдат на сапожницу-царицу, хотел суровое выраженье на лице сделать — и ухмыльнулся.

Сапожница-царица и обращается к нему:

— Ты чему ухмыляешься? Мне, что ль, обрадовался?

Солдат ей в ответ:

— Тебе, матушка!

— А чего радуешься — я тебе добра не сделала. Чего ты хочешь?

—А того хочу, матушка, пусть меня палками не бьют. Второй год с утра спозаранку колотят, мясо с костей стерли.

— За что же тебя?

— За ухмылку, матушка.

— Ну скажи заднему, пусть тебя не бьют.

— Нет уж, матушка, — солдат сапожнице-царице говорит, — заднему я говорить не буду, ты у нас передняя, ты сама упомни и прикажи.

Царица остановилась около солдата:

— Ишь ты, какой въедливый! Ладно уж, я сама прикажу и бумагу напишу — не будут тебя бить!

— И других прочих, матушка, пусть не бьют!

— Аль многих тут бьют?

— Да почитай что почти всех, матушка, колотят. Истерлись люди при дворце, а всё терпят.

— Дураки они, что ль? — спрашивает сапожница-царица.

— Не могу знать, матушка!

В тот же день сапожница-царица дала повеление, чтоб никого в ее царстве не били и не смели даже касаться палкой человека. А солдатам велела дать по двадцать пять рублей каждому, а сверх того по три дня гулянья и по полведра пива.

На третий день своего царствования сапожница соскучилась по сапожнику. «Пойду, — думает, — погляжу издали, как он там, небось горюет по мне».

Собралась царица и пошла из дворца к домишку сапожника, а за ней вельможа идет.

Вот идет она, царица, видит свой бедный домишко. А из ворот того домишка как раз ее сапожник выходит, и не один, как следовало бы, а с другою дородною женщиной, что не хуже самой сапожницы, и на лице у сапожника никакого горя нету.

Тут как вскрикнет сапожница-царица:

— Ах ты бессовестный, ах ты такой-сякой! — Да хвать сапожника по затылку, с того и картуз соскочил.

А сапожник никак не опомнится: глядит он и на ту женщину, и на эту, обе они на вид одинаковые, а которая жена — не разберет. Только когда сапожница-царица по спине его еще разок хлопнула, сапожник понял, которая его жена.

Взяла сапожница мужа за руку и повела домой, а про царство свое забыла.

А царица скрипнула зубами на вельможу и тоже домой пошла, во дворец.

Как явилась она во дворец и узнала, что бить теперь, драть, пороть и лупить никого нельзя — отмена вышла, — и будто она сама так повелела, — закипело злобой сердце царицы.

Позвала она кого ни на есть, — чтоб ударить кого было, — явилась кухарка, подняла царица на нее руку, да видит вдруг, рука-то ее, царицына, исстирана, работой истерта, и опустила она свою руку, никого не ударила.

Вспомнила она, как жила у сапожника: как бы опять ей в жены к нему не попасть, и оставила царица волю сапожницы как есть.

И солдат с дураком довольны остались. А только этой царице веры нет и не будет.

КОММЕНТАРИИ

Автор комментариев
Наталья Корниенко

Условные обозначения и сокращения

Архив — Архив А. П. Платонова. М.: ИМЛИ РАН, 2009.

Воспоминания — Андрей Платонов: Воспоминания современников: Материалы к биографии / Составление, подготовка текстов и примечания Н. В. Корниенко и Е. Д. Шубиной. М.: Современный писатель, 1994.

Горький — *Горький М.* Собр. соч.: В 30 т. Т. 27 / Статьи, доклады, речи, приветствия. 1933—1936. М.: Худож. лит., 1953.

ДЛ — «Детская литература», ежемесячный литературно-критический и библиографический журнал ЦК ВЛКСМ.

ЗК — *Платонов А.* Записные книжки. Материалы к биографии / Публикация М. А. Платоновой. Составление, подготовка текста, предисловие и примечания Н. В. Корниенко. М.: Наследие, 2000.

Крупская—4, 6. — *Крупская Н. К.* Педагогические сочинения: В 10 т. Т. 4, 6. М.: Изд-во Академии педагогических наук, 1959.

ЛГ — Литературная газета.

Первый всесоюзный съезд — Первый всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет. М., 1990.

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

Сочинения I (1), I (2) — *Платонов А.* Сочинения. Т. 1. Кн. 1—2. М.: ИМЛИ РАН, 2003.

ССП — Союз советских писателей.

СФ—1999, 2000, 2003 — «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 3—5. М.: ИМЛИ РАН, 1999, 2000, 2003.

Чуковский — *Чуковский К.* Дневник. 1901—1969: В 2 т. Т. 1. М.: Современный писатель, 2003.

В томе представлены произведения Платонова для детей и о детях — рассказы и сказки 1920—1940-х годов. Это объединение несколько условно: в сказках и детских рассказах Платонова «нет и следа той сглаженности, которая рассчитана иногда на милых деток, а иногда и на милых взрослых» (*Залыгин С.* Сказки реалиста и реализм сказочника // Вопросы литературы. 1971. № 7. С. 120). Это все тот же платоновский реалистический и одновременно сказочный мир, в котором живут его главные герои — сироты, взрослые и дети, а философские и нравственные вопросы истины и правды разрешаются с не меньшей, чем во взрослых романах и повестях, сердечной болью и интеллектуальной бескомпромиссностью.

Об условности разделения литературы на детскую и взрослую в тридцатые годы говорили многие писатели, призванные к работе на этом направлении литературы: «Товарищи, не пишите о детской литературе снисходительно» (*Шкловский В.* О будущем // *ДЛ.* 1938. № 3; С. 43); «...пускай будущие историки ломают себе головы над тем, к какому разряду отнести ту или другую хорошую книгу. Конечно, хорошую! Плохую дети не станут читать» (*Каверин В.* Ненаписанные книги // *ЛГ.* 1939. 15 авг. С. 3); «Взрослый читатель как-то обходится с плохим литературным произведением, он как-то примиряется и с дурным синтаксисом. <...> Что касается детей, то дети не соглашаются читать плохую продукцию, а провести или надуть маленького читателя в этом деле совершенно немыслимо. <...> Маленький читатель — это необычайно чувствительный прибор для литературных опытов. Во всяком случае, писателю, пишущему для народа, весьма полезно побывать в гостях у маленького читателя. <...>Я отвергаю так называемую специфику детской литературы. Ее нет или почти нет. Вернее, специфика одна — высокое качество. А высокое качество литературного произведения — это и есть высокое качество языка, темы, композиции» (*Зощенко М.* Дети и литература. Из речи тов. М. Зощенко на собрании комсомольского актива в Ленинграде // *ДЛ.* 1940. № 1. С. 41—42).

Вполне определенно на тему отношений детской и взрослой литературы высказался в эти годы и Платонов в рецензии на публикации детского журнала «Дружные ребята»:

«Понятие о “большой” литературе неправильно потому, что оно предполагает, допускает и как бы узаконяет существование еще и “малой” литературы. А что такое “малая” литература, как не

плохая литература или даже халтура? Зачем же тогда нам нужна малая литература? Ведь, будучи плохой, недоброкачественной, бесполезной, она не является предметом искусства и, следовательно, находится вообще вне пределов литературы... Если же в понятия "большая" и "малая" литература вложены количественные оценки — по размеру текста, то это также ошибочно. <...> Традиционное отношение к "толстым" журналам, как к лучшим изданиям, где скорее, вероятнее всего можно увидеть напечатанным прекрасное произведение, часто практически не оправдывается. Внешняя солидность таких журналов и авторитет литераторов, редактирующих эти издания, не гарантирует от помещения в толстых ежемесячниках плохой прозы и немощных стихов. То, что по инерции считается большой дорогой литературы, не является ею. Иногда бывает, что хорошие литературные произведения идут в народ через тонкие журналы. Но, к счастью, эти "боковые", обходные пути являются у нас не менее, а даже более удобными дорогами для прохождения литературы в народ, чем большие дороги толстых журналов. Ибо, если этими боковыми и вторыми путями считать тонкие и "второстепенные" журналы с точки зрения дурно понимаемой профессиональной литературы и критики, то ведь у этих изданий, как правило, тираж в несколько раз больший, чем у толстого журнала; авторитетность же последнего, случается, намного выше действительного его качества, то есть она, авторитетность, бывает величиной мнимой и не каждый раз заново заслуживаемой. И что не всегда удается толстому журналу, имеющему постоянные кадры профессиональных писателей, вдруг удается небольшому (по размеру текста) журналу, которым руководит молодежь, в котором авторы еще не известные, не знаменитые писатели, печатающиеся всего первый или второй раз в своей жизни» (*ДЛ*. 1939. № 10—11. С. 3—4).

Отношения «малой» (детской) и «большой» (взрослой) литературы не были столь очевидными, как это представляет Платонов. Следуя далее логике его размышлений о «малой» и «большой» литературе, это противопоставление исчезает, когда в написанном о детях и для детей есть поэзия, мысль, действие и «пророческая решимость». Симптоматично, что судьба поэтической и действительно «пророческой» «малой» детской прозы самого Платонова зеркально отразила судьбу его «большой» (взрослой) прозы: мирные новеллы о детях и литературные сказки отклоняли, жестоко

редактировали; его детские рассказы редко включались в учебники и антологии советской детской литературы.

«Малая» литература существовала, она не могла не существовать в новом государстве. Это была целая отрасль идеологии со своими институтами; ее обслуживали педагогическая, эстетическая и историческая наука, а отношения с «большой» литературой вписываются в общий политический и историко-культурный процесс и зеркально отражают идущие в нем идеологические процессы и все ту же литературную борьбу. С хроникальной точностью и летописной глубиной Платонов воссоздал в своем творчестве историю развития советской педагогической мысли, основные политико-идеологические концепты детства и юношества, описал основные эстетические модели «малой» советской литературы первого и второго советского десятилетия и с «пророческой решимостью» обнажил их разрушительный характер для детства и в целом русской культуры.

Сказки и детские рассказы Платонов писал всю жизнь. Первую записную книжку 1921 года открывает сказка для взрослых «Вера, знание и сомнение». Главным героем самого раннего известного рассказа Платонова, опубликованного еще по старой орфографии, является семилетний мальчик Сережка («Сережка»). Вполне определенно высказался Платонов о детской теме и пафосе искусства для детей уже в первые годы своей литературной деятельности. «Чудесное» и «сказочное» — главные понятия, которыми он оперирует в двух статьях 1920 года, написанных в рамках проведения «Недели ребенка» в Воронеже. «Главная сущность детского театра — чудесность, светлое обаяние сказочной, далекой жизни и совершенное преображение детей в героев золотой сказки. В театре же старых людей всегда много мертвых действительных вещей, настоящей, наглядной твердой жизни, которой в нашем детском, солнечном, смеющемся мире по правде нет. Дети — неполные сосуды, и потому туда может влиться многое из этого мира. Дети не имеют строгого, твердого своего лица, и потому они легко и радостно преображаются во многие лики. И те девочки, которые играли в сказке Андерсена принцесс Розу и Маргариту, на самом деле были принцессами — в этом им верили все, а сами они больше всех. Как живые пламенные знамена грядущего трепетали дети в восторге игры на сцене. И тайный стыд охватывал всех больших: почему мы такие плохие и ничтожные, а наши дети —

такие радостные и вольные. Большие — только предтечи, а дети — спасители вселенной» (*Сочинения—1 (2)*. С. 124), — писал он в рецензии на постановку «Свинопаса» Андерсена в воронежском детском клубе. В статье «Клуб-школа» (1920) он достаточно полемично высказался об утверждаемой советской педагогикой методике рациональных принципов воспитания детей, противопоставив ей «чудесный путь воспитания» как единственно правильный: «В ребенке сосредоточено все прошлое жизни, и в этом прошлом чуть очерчены контуры будущего, хрупкие фигуры еще не бывшего, но возможного. <...> Но воспитание надо начинать не прямо с высокого искусственного уровня, к какому близок большой человек — воспитатель, а следовать за естественным, физиологическим процессом маленького организма <...>. А воспитание есть работа за природу, но та же работа природы. И воспитание есть только великая имитация природы, и пусть оно будет им. Это его единственный, истинный смысл. Воспитатель же, педагог должен только идти в ногу с ребенком и не перебивать, не путать его, а поспевать за ним» (*Сочинения—1(2)*. С. 125—126).

С рождением сына Платона (1922) он пишет для малыша детские стихи, внимательно следит за педагогическими новациями времени и новой литературой для детей (модель детской литературы первого советского десятилетия найдет отражение в образах современных детей «Эфирного тракта», «Котлована», «Шарманки»). Новая — трудовая — школа («Положение о единой трудовой школе РСФСР» было утверждено ВЦИК Советов 30 сентября 1918 года) была призвана решить главные культурные задачи воспитания нового человека — разорвать связи ребенка с родной старой семьей со всеми ее религиозными и этическими представлениями и мещанским бытом, «научить ребят рационально, целесообразно работать»; старая русская школа оценивались однозначно отрицательно: эта школа «развращала» детей (*Крупская Н.* Трудовая школа и научная организация труда. [1923] // *Крупская—4*. С. 72). Социализация ребенка, утверждали идеологи новой педагогики, должна начинаться с самого раннего детского возраста. Примитивный детский сад «с хорошо инструктированной комсомолкой во главе», разъясняла Н. Крупская в 1924 году, позволит решить базовые государственные задачи: оторвать ребенка от «особенно темного и особенно чуждого общественного элемента» и дать «дошколятам запас переживаний, которые помогут им потом стать активными работниками в деле

кооперирования, в деле объединения мелких хозяйств, в деле направления деревни на путь коллективизации» (*Крупская Н.* Детский сад в деревне. [1924] // *Крупская—6*. С. 29). «Темный элемент» с индивидуалистической психологией — это мать. Подобным же образом оценивалась и роль отца в педагогической литературе для детей и юношества: «“Чти отца” — пролетариат рекомендует почитать лишь такого отца, который стоит на революционно-пролетарской точке зрения, который сознательно и энергично защищает классовые интересы пролетариата, который воспитывает детей своих в духе верности пролетарской борьбе <...>. Самодовлеющего “отцовства” для класса нет, нет и самодовлеющего “почитания” отцов» (*Залкинд А.* Революция и молодежь. М., 1924. С. 54—55. А. Залкинд — профессор Коммунистического университета).

Целенаправленное разрушение традиционной семьи — одна из важных политических задач нового государства. Так она сформулирована в книге «Азбука коммунизма», представляющей популярное изложении принятой в 1919 году программы партии: «...претензии родителей путем домашнего воспитания запечатлеть в психологии своих детей свою ограниченность необходимо не только отклонить, но и высмеивать самым беспощадным образом»; «Родители навязывают своим детям собственное тупоумие, невежество, выдают за истину всякую галиматью и страшно затрудняют работу единой трудовой школы. Освобождение детей от реакционных родителей составляет важную задачу пролетарского государства» (*Бухарин Н., Преображенский Е.* Азбука коммунизма. М., 1920. С. 182, 198). В соответствии с государственной программой коммунистического воспитания принимаются специальные постановления и инструкции, имеющие прямое отношение к новой детской литературе. В 1920 году инструкцией Наркомпроса из массовых библиотек, в том числе школьных, была изъята (и, следовательно, запрещена) практически вся дореволюционная детская литература: 1) «книги о воспитании и истории в духе основ старого строя» (за «религиозность, монархизм, националистический патриотизм, уважение к знатности»), 2) «журналы и книги для детей» — от «всех» сочинений Чарской до сборников русских сказок для детей и детских книг по русской истории (Инструкция по пересмотру книжного состава библиотек. М., 1924. С. 4—5). Все это «хлам», констатировала в 1927 году Н. Крупская: «От прошлого мы унаследовали большое количество литературы для детей. Однако огромная часть этого на-

следства для нас совершенно неприемлема, в корне противоречит нашим задачам воспитания» (статья «К вопросу об оценке детской книжки» // *Крупская—6*. С. 75). Борьба с русской дореволюционной детской литературой прошла через первое и второе советское десятилетие и откристаллизовалась в формулу «Убить Чарскую» (доклад С. Маршака на Первом всесоюзном съезде писателей // *Первый всесоюзный съезд*. С. 22).

Строго следуя программе детского материалистического воспитания, были объявлены вне закона и исключены из школьной программы и дошкольного воспитания русские сказки. «Новому ребенку — новую сказку» (название брошюры С. Полтавского 1919 года) — такова была установка Наркомпроса. Ребенку сказка вредна, ибо она мешает воспитать из него материалиста, а сделать из ребенка принципиально нового человека можно уже к восьми годам, утверждали теоретики коммунистического воспитания. «Волшебные сказки мы считаем вредными. Они мешают ребенку разобраться в окружающем, развивают суеверия, действуют на его нервы, вызывая чувства страха, питая нездоровую фантастику, притупляя чувство реальности» (*Крупская Н.* К вопросу об оценке детской книжки. [1927] // *Крупская—6*. С. 76). В государственных программах воспитания ребенка-читателя разрыв с прошлым и «старыми» книгами утверждался в своей почти абсолютной форме, а культ новой детской книги имел всеобщий характер, новая книга противопоставлялась не только старым, но и всей философии жизни народа.

Различиям прежнего и нового детского читателя посвящены десятки статей в газетах и журналах 1920-х годов:

«Прежний читатель был действительно приучен к зайцу.

Новый читатель — иной.

Когда он маленький, он поглаживает книгу ручкой и говорит ласково: “Это книжка про Эс-Эс-Эс-Эр”. Я не знаю, что такое Эс-Эс-Эс-Эр, знаю только, что хорошее.

<...> иногда он возьмет карандаш и скажет: “Теперь я нарисую что-нибудь красивенькое, например, серп и молот”.

А когда он постарше, он в детском саду празднует 8 марта — день работницы и, придя домой, рассказывает лукаво: “Мы сегодня интересный рассказик сделали из букв. Вот какой: “Детский сад раскрепощает женщину”. А если кто-нибудь из взрослых (воспитанных на зайце, крокодиле и квакающей королевне) недоверчиво

переспросит, то этот новый советский шестилетка спокойно вскроет ближайшую сущность лозунга: “Это значит, что, если дети уйдут в детский сад, то мать сможет заработать денег”. <...>

А вот запись уличных наблюдений советского четырехлетки, воспитанного без сказочной “нелепо-лепой” книги: “На Арбатской улице лежит в тарелке рак в окне, прямо убитый, с ногами, глаза, как пупырышки, а усы у него на боке. И птица с глазками лежит еще в тарелке под хлебом, крылышки прямо воткнуты в хлеб, никак не оторвется”.

Про знакомых старух советская шестилетка рассказывает так: “Они боженьке верят. Они молятся его портрету, в шкафчике через стекло видно. Эти старухи Ленина совсем не любят. Они просто неграмотные”.

А про Ленина она, лежа в постели, придумывает так: “Я его один раз видела. Он мимо нашего дома проходил. Я сказала: “Ленин, почему вы к нам не заходите, это наш дом” <...>.

Был обездоленный маленький обитатель индивидуальной детской, который любил собачку и зайца, и у слона искал утешения в скудости своего детства. Но пришел новый рабоче-крестьянский малыш. Он хлопнет ручкой по книге и спросит: “Это про СССР?” А узнав, что не про СССР, а умывальник (намек на “Мойдодыра” К. Чуковского. — *Н. К.*), досадливо пожмет шестилетним плечом» (*Гринберг А.* Книги бывшие и книги будущие (Для маленьких детей) // Печать и революция. 1925. № 5—6. С. 245—247).

К «бывшим» книгам для детей критик отнес русские народные сказки и сказки дореволюционных писателей М. Пришвина и К. Чуковского, много сделавших в первое советское десятилетие для возвращения сказки в советскую культуру. Инструкцией 1926 года в детские библиотеки частично были возвращены русские народные сказки и сказки русских писателей. Первые публичные, с большими оговорками, слова в защиту сказки прозвучат только в 1928 году, однако ситуация изменится не скоро. В первое советское десятилетие для «нового рабоче-крестьянского малыша» были созданы сотни «книг будущего» с новыми героями и образами. Советские дети долетали на аэроплане даже до Африки, учили детей всего мира петь «Интернационал» и «безбожные» песни, читали «машинные сказочки» на современные индустриальные темы. Советские детские писатели участвовали в антирелигиозной борьбе, в ежегодных декадах МЮД (международное юношеское движе-

ние), составляли для детей сборники «безбожных» сказок, стихов, рассказов и песен; литература культивировала подвиги детей в борьбе с темными родителями и душевное безразличие ребенка к природе, родителям и прошлому страны. «Нам людей давить не жалко / Не знакома пионеру / По уставу грусть» — в этих строках стихотворения, которое учит мальчик Егор в повести Платонова «Эфирный тракт» (1926—1927), передан пафос «красных дьяволят» (название повести П. Бляхина) — главных героев советской детской литературы первого советского десятилетия. «Что у нас происходит теперь! Если судить по детским книгам, ликвидация грамотности», — запишет 26 января 1926 года К. Чуковский в дневнике (*Чуковский*. С. 422). Ситуацию с детскими сказками прокомментирует старая казачка в рассказе Вс. Иванова «О казачке Марфе» (1927): «Воронят ей и в сказку вставить нельзя, — ноне в сказках-то аэроплан подавай, в ковер-то-самолет не верят».

Соединение детства с политикой — магистральное направление педагогической и детской литературы. «У нас есть много учеников, а крестьяне глупые. Мы позвали их на съезд и говорим...», — приведя это письмо детского корреспондента, педагог-новатор Е. Бобинская не скрывала восторга: «Деткор — это не мальчик и не девочка, которые пишут в газету. Деткор — это строитель новой деревни, это настоящий пионер новой жизни» (*Бобинская Е.* Юные строители // Наши достижения. 1929. № 4. С. 18). Столь же восторженными комментариями сопровождал другой теоретик-педагог плакаты пионеров, типа — «Мама, не будь отсталой! Иди на перевыборы Советов!», которые дети прикрепляли к родительским домам: «Один из лозунгов особо четко и прямолинейно ставил перед “мамашами” и “папашами” вопрос: “Кто не на выборах Советов, тот против Советов”. <...> К чести наших детей надо сказать, что они уже хорошо понимают отсталость своих родителей» (*Львович Г.* Дети и политика (Документы и факты об участии детей в перевыборах Советов) // Там же. С. 23—24).

Культом нового пролетарского ребенка освещены выступления Н. Крупской и М. Горького начала 1930-х годов. «...наши дошкольники всё знают — и где Германия, и какие там партии, и какая школьная политика, и что такое тайное голосование, и что такое Советская власть», — констатировала Крупская в рецензии 1932 года на детские книжки, объясняя, почему нельзя давать детям «сумбурных книжек» (*Крупская—6*. С. 259). В преддверии Первого съезда

писателей по вопросам детской литературы выступает М. Горький (статьи «Литература — детям», 1933; «О темах», «Вперед и выше, комсомолец», 1933; «Советские дети», 1934). Оценка дореволюционной детской литературы все более ужесточалась: «Наша задача осложняется тем, что мы можем взять из этого буржуазного наследия только очень немногое, гораздо меньше, чем взяла литература для взрослых: некоторые произведения классиков и мирового народного эпоса, — да и то в новых переводах и пересказах, — кое-что из научно-популярной литературы для старшего возраста ("Жизнь растений" Тимирязева, "История свечи" Фарадея и т. д.» (Литература — детям // *Горький*. С. 32). Новая литература для детей обязана вооружить детей к выполнению предстоящей им миссии — стать «еще более активными вождями мирового пролетариата»: «И для этого мы обязаны вооружать их с малых лет всею силой знаний, необходимых для сопротивления консерватизму старого быта, влиянию косной мещанской среды» (Там же. С. 32). От восхищения работой пионеров по истреблению полевых вредителей Горький переходит к главной теме — борьбе детей с «консервативными родителями», к немыслимому в мировой культуре подвигу — подвигу пионера Павлика Морозова, «мальчика, который понял, что человек, родной по крови, вполне может быть врагом по духу и что такого человека — нельзя щадить. Родные по крови, по классу убили Павла Морозова, но память о нем не должна исчезнуть, — этот маленький герой заслуживает монумента, и я уверен, что монумент будет поставлен» (Вперед и выше, комсомолец // *Горький*. С. 115). Сформулированная Горьким программа детской литературы будет принята на писательском съезде. Вновь звучали прежние оценки: «И вот пришла революция. Сразу оказалось, что герои большинства детских книжек больше нам в герои не годятся» (*С. Маршак // Первый всесоюзный съезд*. С. 29); «Чарская отравляла детей тем же сифилисом милитаристических и казарменно-патриотических чувств» (*К. Чуковский* // Там же. С. 180). Новый герой детской литературы — активный строитель нового и последовательный борец со старым миром, а сталинское высказывание об «инженерах душ» относится к детским писателям «вдвойне»: «Мы формируем души, начиная это формирование с примитива» (*А. Барто* // Там же. С. 254). Среди достижений советской детской литературы в докладе Маршака названы книги о переделке человека и природы: «Республика Шкид» Г. Белых и Л. Пантелеева, «Школа» А. Гайдара,

«Кара-Бугаз» К. Паустовского, «Кондуит и Швамбрания» Л. Кассиля. Приветствовавшие съезд пионеры потребовали от писателей создать новые книги о необыкновенной жизни советских детей и поставить памятник Павлику Морозову (Там же. С. 38). «Никогда еще дети не входили в жизнь такими сознательными и строгими судьями прошлого» (Там же. С. 15) — в этом положении из выступления Горького на писательском съезде заключен смысл радикального поворота, сделанного советской литературой о детстве.

Определились на съезде и с детской сказкой: «Мы не собираемся возрождать в советской стране старую сказку. Нам ни к чему воскрешать гномов и эльфов, даже тех гномов и эльфов, которые были еще рудокопами и пастухами. Мы знаем, что напрасно и наивно было бы ожидать возрождения тех художественных форм, которые некогда были целиком основаны на мифологическом отношении к природе. <...> Конечно, мы будем внимательно читать и изучать народный эпос, старую сказку, легенду, былину. Но у нас уже настало время для создания и новой сказки» (*Первый всесоюзный съезд*. С. 27—28) — в этом положении доклада С. Маршака подтверждена преемственность с первым советским десятилетием. Вновь прозвучали оценки дореволюционной литературы, теперь уже литературных сказок начала XX века: «туманная символика», «бедная символика» (Там же. С. 28). Сказки в русле концепции социалистического реализма означали видоизмененный, но все тот же разрыв с «синей птицей» народной сказки — «душой» окружающих явлений и предметов, скрытыми в памяти сказочного, чудесно мифического образа зернами истории, природы, географии и эстетики национальной культуры: «В нашей стране и в наши дни может возникнуть <...> настоящая сказка, потому что у нас люди вступили в состязание со временем, прокладывают пути в тех местах, где еще никогда не ступала нога человека, а главное потому, что они чувствуют свою правоту. Эта правота позволяет делать большие моральные выводы, каких уже никто не смеет делать на Западе» (*С. Маршак // Первый всесоюзный съезд*. С. 28).

Детский сказочный мир беспощадно разрушался в годы Гражданской войны, нэпа и «великого перелома», и «большая» литература рассказала, что на детях, переживших войну и голод, лежит трагическая печать недетскости («Правонарушители» Л. Сейфуллиной; 1922; «Ташкент — город хлебный» А. Неверова, 1923; «Пастух» и «Нахаленок» М. Шолохова, 1925; «Чевенгур» и «Котлован» Платонова), что не защищенные от насилия дети больше всего

любят играть в Губчека и расстрел. Играть «весело» и вдохновенно, и в этом, резюмирует автор «Правонарушителей»: «не было ни кощунства, ни жути, ни гнева. Они в простоте жизнь взрослых воспроизводили» (цит. по: *Сейфуллина Л.* Повести и рассказы. Новосибирск, 1948. С. 16. В поздних изданиях и Собраниях сочинений Сейфуллиной эпизод игры детей в Губчека был снят). Противостоянием магистральной линии советской детской литературы первого десятилетия отмечены поэзия и проза М. Пришвина, К. Чуковского, М. Шолохова, Вс. Иванова, В. Бианки, Е. Шварца, Н. Олейникова. По достоинству власть оценила работу в детской литературе обэриутов Д. Хармса и А. Введенского, арестованных в декабре 1931 года по сфабрикованному ОГПУ делу «О контрреволюционной группе детских писателей» (см.: *Устинов А. Б.* Дело детского сектора Госиздата 1932 г. // Михаил Кузмин и русская культура XX века. Л., 1990. С. 125—136).

Общекультурная ситуация разрушения детства, разрушения, в которое свой вклад внесла современная литература для детей, становится центральной и определяющей пафос главных произведений Платонова о современности («Чевенгур», «Котлован», «Шарманка», «14 Красных избушек»). «Наши дети жили и живут без ласки, без надзора, чего хранить старое?», «Отмен<ено> слово “мама”» (*ЗК*. С. 27, 43) — в этих записях к «Котловану» Платонов, по сути дела, подвел итоги педагогического воспитания и создания литературы для детей первого советского десятилетия.

Сотрудничество Платонова с детскими изданиями начинается в 1936 году и продолжается до конца жизни писателя. Сначала он попробовал переработать для детского журнала «Колхозные ребята» рассказы «Бессмертие» и «Среди животных и растений»; в 1936—1940 годы он создает цикл произведений о детях дореволюционной («Семен», «Алтеркэ») и советской России («Июльская гроза», «Корова», «Великий человек» и др.); начинает печататься в детских журналах; пишет для детей не только рассказы и сказки, но и пьесы и киносценарии; выступает с рецензиями на произведения классиков советской детской литературы. Детская тема занимает центральное место в рассказах военных и послевоенных лет; последние публикации Платонова связаны с детскими изданиями — журналом «Пионер» (сказка «Две крошки») и издательством «Детская литература», где в 1950 году вышла книга «пересказанных» им русских сказок.

Вхождение Платонова в детскую литературу кажется вполне естественным и одновременно определяется происходящим не только в детской, но и в большой литературе идеологическим поворотом конца 1935 — начала 1936 года. Взгляд на русскую историю с точки зрения целей мировой революции и диктатуры пролетариата (концепция главного историка и одного из руководителей Наркомпроса академика М. Н. Покровского) признается вульгарно социологическим и ошибочным, господствовавшая почти двадцать лет историческая концепция осуждается специальным партийным постановлением. В проекте новой конституции появляется главное новое понятие — советский народ, а «слово пролетариат упоминается в ней только в надписи на государственном гербе ("Пролетарии всех стран, соединяйтесь". — *Н. К.*)» (Выступление А. Толстого / Советские писатели обсуждают Сталинскую Конституцию // *ЛГ*. 1936. 26 июня. С. 4—5).

Обсуждение идеологического поворота в советской литературе началось с детского ее направления и предшествовало дискуссии о формализме и натурализме, в ходе которой изничтожению была подвергнута повесть о детстве Л. Добычина «Город Эн» — за формализм, но главным образом за детскую тему и отношение к прошлому — «любование прошлым и горечь от того, что оно потеряно...» (см.: *Бахтин В*. Под игом добрых начальников // *Добычин Л*. Полное собрание сочинений и писем. СПб., 1999. С. 13—18). Дискуссия о формализме, можно сказать, вернула разговор о детской литературе из области романтических мечтаний января 1936 года в реалистическое русло.

Мечтаний в писательской среде было немало, о чем рассказывают публикуемые в январской периодике материалы совещания по детской литературе (15—19 января 1936). От лица «большого знатока детской литературы» т. Сталина и ЦК ВКП(б) было заявлено об отставании детской литературы от возрастающих требований, а позиция Наркомпроса в области детской литературы признана ошибочной (см.: За большую детскую литературу // *ЛГ*. 1936. 26 янв. С. 1). Оказалось, что «у детской литературы не было до сих пор настоящего хозяина», теперь им становится комсомол, а партия берет на себя обязанность снять все преграды на пути развития детской литературы; объявляется новый курс строительства детской литературы: «Надо собрать все, что есть лучшего у нас в стране, и использовать для детской литературы. Только ли

надо ограничиваться кругом детских писателей? Нет, конечно! Надо снять те условные грани, которые, несомненно, мешают целому ряду наших видных советских писателей писать на детские темы в литературе. Некоторые наши видные советские писатели явно недооценивали значение детской литературы и поэтому не пишут для детей, а другие просто побаиваются браться за это дело. <...> Может ли <...> писатель, который прекрасно пишет романы для взрослых читателей, создавать детские рассказы или детские повести? Безусловно, может!» (О детской литературе / Речь секретаря ЦК ВКП(б) тов. А. Андреева на первом совещании по детской литературе при ЦК ВЛКСМ. 19 января 1936 г.) // *ЛГ*. 1936. 5 февр.).

Не было среди выступавших никого, кто бы не критиковал Наркомпрос; он оказался ответственен за все. Редактор «Комсомольской правды» А. Бубекин сетовал, что «в детских книгах нет героев, ребятам не с кого брать пример»; секретарь ЦК ВЛКСМ Косарев, говоря о соцреализме, утверждал, что в детскую литературу «нельзя этот лозунг переносить механически, нельзя забывать о свойствах ребенка фантазировать и мечтать, глубоко интересоваться будущим, перспективами нашей жизни, возможностями науки и техники» и т. п. (Совещание по детской литературе // *ЛГ*. 1936. 26 янв. С. 1). В унисон звучали голоса писателей, не щадивших прежнюю политику государственного строительства детской литературы. Детские писатели — тоже «инженеры человеческих душ», заявил К. Паустовский, и потому имеют право на свои детские темы, а не те, которые навязывает Наркомпрос (*Паустовский К.* Наши недостатки // Там же. 26 янв. С. 3). Верен себе был А. Толстой, заявив, что детская литература начинается с изучения писателем ребенка и с принятия заключенной в детстве правды: «Ребенок знает, что впереди — счастье» (*Толстой А.* Реальные чудеса // Там же. С. 3).

Для того чтобы по-новому строить детскую литературу, нужны были кадры новых детских писателей, на эту тему на совещании выступал К. Чуковский с призывом «вербовать» в детскую литературу лучших представителей «взрослой» литературы и инициативой «наладить немедленно» массовое производство детских писателей (*Чуковский К.* Дела детские // Там же). «Прежде она (детская литература. — *Н. К.*) была в каком-то зловонном подвале, и ВЛКСМ вытащил ее оттуда на сквозняк. Многие фальшивые ре-

путации лопнут, но для всего творческого, подлинного здесь впервые будет прочный фундамент», — записал К. Чуковский 17 января в дневнике (*Чуковский*. С. 155).

1936—1940 годы можно назвать годами строительства нового фундамента детской литературы советской России. С 1937 года издательство «Детская литература» начинает большими тиражами издавать для детей былины и русские народные сказки, сказки А. Пушкина, Л. Толстого, С. Аксакова, В. Жуковского и др. Отдельным изданием выходит изъятое в 1920 году из всех библиотек «Слово о полку Игореве». В 1938 году на страницах «Литературной газеты» начинается обсуждение школьного учебника по литературе, участники дискуссии потребовали вернуть в учебники русских писателей XIX века, которых «Наркомпрос исключил из русской литературы, существование которых “скрывалось” от учеников средней школы» (*ЛГ*. 1938. 10 июня. С. 3. Выступление московского учителя литературы А. Гуревича).

Теоретическими вопросами детской литературы активно занимается журнал «Детская литература», на страницах которого открываются писательские трибуны по самым разным вопросам детской книжки. Ежегодно в декабре ЦК комсомола проводит совещания по детской литературе, на которых обсуждаются планы изданий литературы для детей всех возрастов и работа издательства «Детская литература». Вопросы детской литературы не сходят со страниц «Литературной газеты». В январе 1939 года большой отряд советских писателей был награжден высшими наградами СССР; среди награжденных и работавшие в детской литературе: В. Катаев, С. Маршак, С. Михалков (орден Ленина); А. Макаренко, М. Ильин, Л. Квитко, К. Паустовский, Ю. Тынянов, В. Шкловский, К. Чуковский, Ю. Герман (орден Трудового Красного знамени), Л. Кассиль, А. Барто, А. Гайдар, А. Караваева, М. Пришвин, А. Толстой (орден Знак почета). «Этим награждением партия и правительство отметили высокое значение детской литературы в нашей стране. <…> К работе над детской литературой призваны люди искусства, художники, одушевленные большими воспитательными идеями и задачами» (*Маршак С.* В боевом отряде советской литературы // *ЛГ*. 1939. 5 февр. С. 1, 4).

Задач у детской литературы было немало. Постоянно возвращались к вопросу о привлечении в детскую литературу новых писателей со своими оригинальными новыми темами. Вопросы детской

литературы регулярно рассматривались на пленумах ЦК ВЛКСМ, на которых писателей не только хвалили, но и ставили перед ними новые задачи коммунистического воспитания с перечнем не освоенных литературой направлений: «До сих пор нет высокохудожественных произведений о великих творцах коммунизма, о героической борьбе партии большевиков, о богатствах нашей родины, о народах Советского Союза, о комсомоле, о пионерском движении <...> о советской школе, о семье, <...> о советском патриотизме» (На X пленуме ЦК ВЛКСМ // *ЛГ*. 1939. 26 дек. С. 1—2).

В январе 1940 года на заседании президиума ССП с активом секции детской литературы ССП (руководитель С. Маршак) были рассмотрены и утверждены группы писателей, отвечающие за разные направления и разделы литературы для детей: по классике, по литературе народов СССР, по истории и сближению с наукой; дошкольная группа, группа по среднему и старшему возрасту; составлены списки кандидатур на написание детских рассказов о Ленине и биографии Сталина для детей и т. п. «Детскую литературу еще надо строить. Это литературострой» — в этом определении С. Маршака (выступление на комиссии по детской литературе ССП, январь 1940 года; см.: *РГАЛИ*, ф. 631, оп. 15, ед. хр. 436, л. 12) точно подмечен государственный масштаб создания литературы для детей.

Имени Платонова на январских совещаниях 1940 года по детской литературе не назовет никто из выступавших, однако именно после выхода рассказа «Июльская гроза» отдельной книгой (1940) детского писателя Андрея Платонова признают ведущие критики детской литературы. Он становится постоянным автором журнала «Дружные ребята», редактор которого шлет ему письма с приглашением печататься (см.: *РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 25, л. 2—5); в 1941 году в журнале пройдет обсуждение рассказов Платонова для детей. Выступавшие детские писатели, как и взрослые его современники, задавали ему все те же вопросы «почему» — о доминировании философской мысли и ее содержании: «Но я хочу обратить внимание, — тут как в клинику попадаешь. Меня поражает настойчивость, с которой к теме отцовства возвращается Платонов, к теме спасения сына. Тема эта, конечно, очень волнует, а в наши дни особенно. Человек последовательно в трех рассказах обращается к этой теме» (выступление детского прозаика С. Григорьева; см.: *Суровова Л.* Семейная трагедия Ан-

дрея Платонова (К истории следствия по делу Платона Платонова). С. 635).

Платонов пристально следил за строительством детской литературы этих лет и высказывался весьма нелицеприятно о детских произведениях К. Паустовского, Л. Кассиля и М. Пришвина в рецензиях на их книги. Его также интересует обсуждение проблематики литературной сказки на страницах «Детской литературы» и «Литературной газеты», он читает сказки для детей М. Пришвина, В. Катаева, А. Толстого, А. Гайдара, Е. Шварца, С. Михалкова и др. Среди современных сказок Платонов особо выделил «уральские сказы» П. Бажова, которым посвятит исполненную восхищения статью. Он пишет свои «волшебно-реалистические сказки», с призывом к созданию которых постоянно выступают его именитые современники: «Не создана советская сказка, реалистически-волшебная. Нашей детской литературе не хватает смелости воображения. Вокруг так много сказочного, а сказка еще не создана» (Речь А. Барто на общемосковском собрании писателей, посвященном обсуждению итогов 18 съезда партии // *ЛГ*. 1939. 20 апр. С. 2—3). В «Письме к читателю» М. Пришвина после иронической аллюзии в адрес борьбы со сказками первого советского десятилетия («...я хочу создать сказку без Ивана-царевича и Бабы-яги и сделаться современным сказителем») описана матрица детской сказки второй половины 1930-х годов: «Я заказываю написать такой рассказ, таким русским простым языком, чтобы он был понятен всему народу, независимо от образования того или другого читателя. Другой мой заказ дать рассказ, который, подобно сказке, интересен для всех возрастов и соединял бы своей легендой приходящее и уходящее поколение, старого и малого» (*ДЛ*. 1938. № 4. С. 41—42).

В рецензиях и рассказах Платонов откликнется и на обсуждение темы положительного героя в детской литературе. Она не сходила со страниц детской периодики. Не раз повторялось очевидное, что детская «воспитывающая» литература не может строиться без идеала и решения вопросов «высокой морали», но как эту воспитательную задачу соединить с детской психологией, написать о высоких идеях на языке детской литературы — «легко и понятно» (*Шкловский В*. О будущем / Трибуна детской книги // *ДЛ*. 1938. № 3. С. 44). «Дети ищут в книгах подвигов и приключений. А мы еще не дали им ни одной книги, которую имели бы право назвать героической», — констатировал в 1938 году С. Маршак (*Маршак С.*

Задачи детской литературы // *ДЛ*. 1938. № 18. С. 1). В дискуссиях о стиле детской книжки и детском читателе в 1939 году даже прозвучало признание, что сохраняется интерес к книгам Чарской, потому что «в детской литературе какое-то определенное место осталось незамещенным», а детские советские литераторы «как бы стесняются говорить во весь голос о душевных переживаниях героев, и, по-видимому, опасаясь впасть в сентиментальность...» (*Наркевич А*. О сочинениях Лидии Чарской // *ДЛ*. 1939. № 7. С. 74). Сославшись на широко известные строки из «Братьев Карамазовых» Ф. Достоевского о русских мальчиках и карте звездного неба, В. Каверин так описал основной пафос и стратегию решения вопроса морали и положительного героя в литературе для юношества: «Русский школьник получил в свои руки звездную карту открытий, путешествий, искусства. Каждый день он наносит на нее новые звезды. Он по праву требует новых хороших книг о себе. Он их получит» (*Каверин В*. Советский школьник // *ЛГ*. 1939. 7 нояб. С. 3).

Платонов весьма сдержанно относился к положительным героям детской литературы этих лет, во многом ориентированных на идеальный образ «великого человека» эпохи тридцатых годов: артиста, летчика, изобретателя, ученого, спортсмена, журналиста, композитора, кинописателя. В этом он оставался верен своей главной теме «Чевенгура» и «Котлована» — преодоления сиротства как главной катастрофы XX века, возвращения ребенка домой, в семью, а также замыслу «пушкинского» романа «Путешествие из Ленинграда в Москву», над которым он работал с 1937 года. В записной книжке, заполненной Платоновым во время его поездки из Ленинграда в Москву в феврале 1937 года, содержатся зерна основных тем его рассказов о «колхозных ребятах» 1938—1939 годов (см.: *ЗК*. С. 191—208). В одной из последних предвоенных статей, посвященных русской классической повести о детстве С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука», он прямо скажет о главном направлении детской литературы, которую он создает, и о ее пафосе: «...чувству родины и любви к ней, патриотизму человек первоначально обучается через ощущение матери и отца, то есть в семье. <...> Сиротства человек не терпит, и оно — величайшее горе».

Рассказы Платонова о детях 1938—1940-х годов погружены не только в современный им литературный контекст. Платоновская

«мысль семейная» в детских рассказах утверждает себя в самые трагические годы в жизни писателя: его сын-школьник Платон с 28 апреля 1938 года (по октябрь 1940) находится в сталинских лагерях, а не в той «стерилизованной действительности», с благородными героями и «оргией гуманизма», как это утверждают его именитые современники. «Слишком любимое и драгоценное мне страшно, я боюсь потерять его, потому что боюсь умереть тогда» (*Архив*. С. 449) — признавался он в письме к жене из Тамбова о четырехлетнем сыне. «Ребенок в Чевенгуре» — беспощадное время вернуло писателю его рассказ о гибели ребенка в мире чевенгурской коммуны. Но никогда, пожалуй, не было в платоновской прозе столько света и добра, сколько в его рассказах этих лет о детях. Не великими идеями и глобальными проектами эпохи, а строительством и сохранением доброты заняты платоновские «добрые люди» в рассказах о детях. На героях его «детской» прозы, стариках и детях, совершающих тихое дело добра в современной жизни, лежит печать смиренномудрия, скрытого благородства, «сложной простоты» речи или молчания и — полной свободы писателя. Платонов стремительно будет заполнять лакуны беспамятства «безотцовщины», «неистового человечества», что неотвратимо влекут его к «вечному» Чевенгуру. Он выскажется в рецензиях на тему воспеваемого детской литературой «главного отца Сталина», однако в его детских произведениях главной является тема обретения ребенком родного и единственного отца. Дом-очаг, детская первозданность становятся в рассказах Платонова о детях тем излучением времени, в котором человек ощущает себя внуком, правнуком, где соединяются прошлое и настоящее, волшебная сказка и наполненная трагическими знаками природа и история.

Платонов, как того и требовалось, напишет рассказы для всех возрастов. Для самых маленьких и дошколят он будет писать и в последние годы жизни, когда в его доме вновь были дети: дочь Маша и внук Саша.

Отношение современников к детской прозе Платонова было вполне адекватным. При всей естественности автора «Котлована» работать для детей (особенно на фоне несмолкающих призывов в детскую литературу), его участие в этой отрасли литературы оказалось столь же драматичным, как и во «взрослой». Дело не только и не столько в специфичности платоновского письма, сколько в радикальном мировоззренческом противостоянии Платонова

пафосу, стилю, тематике и проблематике советской детской литературы этих лет. Уничижительная критика именитых современников не прибавила ему веса в детской литературе. Погруженность детских текстов Платонова в современный контекст развития детской и взрослой литературы второй половины 1930 — 1940-х годов и одновременно верность писателя и в детских произведениях своим главным заветным темам определили судьбу детского литературного наследия Платонова.

С 1938 года Платонов предпринимал не одну попытку издать книгу детских рассказов и сказок, однако ни одна из них не увенчалась успехом. Сохранился лист с записью «Сдано в Детиздат // 5/X 38» и оглавлением книги: «5 рассказов: / Июльская гроза / На заре тум<анной>юности (рукопись) // Корова (рукопись) // Тверской бульв<ар>// Семен» (*РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 99, л. 16). Точные мотивы отказа нам пока не известны: из пяти рассказов к этому времени опубликованы только три, за двумя из них — «Семеном» и «На заре туманной юности» («Ольга») уже тянулся шлейф отрицательных оценок критики. Несмотря на все усилия автора, неопубликованными оставались «Корова» и «Тверской бульвар» (первое название «Путешествия воробья»). Все это могло сказаться на решении издательства. До войны в издательстве «Детская литература» отдельным изданием выйдет только рассказ «Июльская гроза».

В годы войны Платонов не раз предлагал Детиздату книги, в которые включал не только военные, но и довоенные «мирные» рассказы о детях. Так, в сданную в Детиздат 28 декабря 1943 года книгу «О живых и мертвых» им включено одиннадцать рассказов; четыре военных рассказа 1943 года («Маленький солдат», «Взыскание погибших», «Седьмой человек», «Добрый Кузя»), а другие — из мирного времени: «Железная старуха», «Избушка бабушки», «Вся жизнь», «Корова», «Июльская гроза», «Путешествие воробья» (см. оглавление книги: *РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 99, л. 24). Безуспешной окажется попытка опубликовать в журналах 1943 года не увидевшие свет в предшествующее десятилетие рассказ «Корова» и сказку «Путешествие воробья». О публикации «Коровы» сохранилась исполненная уверенности запись Платонова 1943 года: «Будет печататься» (см.: *РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 99, л. 23). Однако он поторопился с оптимистической записью. Мотивы отказа в публикации можно вычитать из отзыва критика «Знамени» Н. Четуновой

на рассказ «Путешествие воробья»; отзыв подписан 29 апреля 1943 года: «Если в принципе напечатание в “Знамени” рассказа, никак, никакой стороной не связанного с войной, — возможно, то рассказ можно бы, конечно, напечатать, т. к. это настоящее художественное произведение. Но мне лично думается, что не только в “Знамени”, но м. б. даже и вообще в дни войны таких уже очень удаленных от современности вещей печатать не следует. Будет время и для таких рассказов — сейчас читателю нужно что-то другое» (*РГАЛИ*, ф. 618, оп. 9, ед. хр. 5, л. 20). Редколлегия журнала учтет мнение своего постоянного автора и откажется и от сказки, и от «Коровы» — произведений, наполненных теми «странными мыслями», за которые совсем скоро Платонова и журнал будет прорабатывать газета «Правда». Скорее всего, именно в эти месяцы Платонов внесет добавление к финалу рассказа «Путешествие воробья» (см. примечания к рассказу в томе «Счастливая Москва», с. 617).

В 1944 году Платонов вновь пытается издать книгу рассказов для детей. Судя по сохранившемуся черновику оглавления, книга с условным названием «Вся жизнь» из девяти рассказов была сдана 29 декабря (см.: *РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 99, л. 15). Книгу открывал рассказ «Цветок на земле», а заключал — «Вся жизнь». После очередной неудачи Платонов в 1945 году составляет книгу «Вся жизнь», в которую включает рассказы о детях, для «взрослого» издательства «Советский писатель» (см.: *Антонова Е.* Андрей Платонов в 1942—1945 гг. // *Архив*. С. 418—424). С конца 1945 и весь 1946 год рецензенты читали книгу, сопоставляли идеологию детских рассказов со взрослой прозой Платонова, читали внимательно, не без удивления, порой смешанного с нескрываемым восхищением. «Рассказы, в которых показаны дети, и которые в наименьшей степени разъедены идеологической и морализующей работой Андрея Платонова, читаются мало сказать с удовольствием: они читаются с восхищением. Цитировать их невозможно, пришлось бы целиком привести в рецензии следующие произведения: “Цветок на земле”, “Июльская гроза”, “Никита”, “Червь”», — писал первый рецензент книги прозаик Ю. Либединский, утверждая, что четыре названных им детских рассказа Платонова «являются значительным событием сегодняшнего дня советской литературы». К другим детским рассказам книги у Либединского были претензии, и он рекомендовал от них отказаться (рецензия датирована 10 октября 1945 г.; см.: *РГАЛИ*, ф. 1234, оп. 10, ед. хр. 200, л. 29—52. Далее отзывы на книгу

«Вся жизнь» цитируются по данному источнику без дополнительных указаний).

Безо всяких оговорок книга «Вся жизнь» была принята только поэтом П. Антокольским:

«Большинство рассказов посвящено детям, их светлому и таинственному росту, тесно связанному с тайниками природы, их первому прикосновению с мирозданием, грозой, солнцем, звездной ночью, цветами, мильонами маленьких существ, населяющих каждый клочок земли. Если детство задолго до нас не раз уже было предметом внимания и изображения в мировом искусстве, то и на этот, тысячу первый раз, Андрею Платонову, художнику значительному и взыскательному, удалось многое увидеть и раскрыть заново. И это новое согрето и любовью к детям, и уважением к их достоинству.

Рядом с детьми живут в рассказах Платонова противопоставленные им и в то же время родственные детям старики и старухи. Сталкивая малых и старых, начало и конец существования, Платонов в нехитрых фабулах доходит до поэзии и своеобразного драматизма. Смысл его рассказов ясен и прост для любого читателя. Пробуя определить этот смысл на свой лад, я знаю, что так или иначе упрощу или искажу автора, но это грех всякого пересказа поэзии. Творчество же Платонова прежде всего поэтично, в нем всегда есть неразложимый осадок, который не поддается рассудочному и деловому анализу, и этот осадок самое дорогое. Жизнь прекрасна и огромна. Она началась задолго до появления живущих сейчас и продолжается в далеком будущем новых рождений и смертей. В этом ее волшебство, явственное для наивного и жадного внимания ребенка. В мире человеческих отношений господствует или должна господствовать доброта. Доброта первородный признак всякой жизни и единственная движущая и направляющая человека сила. Так можно определить если не смысл, то пафос этой книги, который своими молниями освещает ее лучшие страницы» (рецензия не датирована).

Другие рецензенты не были столь патетичны, указывали на идеологические пороки детских рассказов, давали рекомендации по составу, однако замысел и нерв книги были в целом поняты вполне адекватно, а многие оценки философского смысла сюжетов встреч и диалогов платоновских стариков и детей не потеряли своей значимости и для сегодняшнего этапа понимания детской прозы писателя:

«Героев всех его рассказов сближает одна черта. Им томительно и страшно жить на земле, на которой рядом с жизнью ходит смерть.

Томительно и страшно жить мальчику Акиму из рассказа “Вся жизнь”, который семилетним мальчиком обиделся на мать, ушел из дома и вернулся в родной дом через пятьдесят пять лет, когда не осталось уже ни матери, ни родного дома, ни родного села: все съела, все отняла, все умертвила холодная неумолимая машина жизни. Томительно и скучно жить Юшке из одноименного рассказа <...> Томительно и страшно Васе Рубцову слышать, как мычит корова, у которой отняли телка. <...> Страшно, скучно, пусто и невероятно томительно жить мальчику Тишке <...>. Томлением охвачены все действующие лица рассказов Платонова. Их сердце удивлено мыслью о бесплодности человеческих усилий, о тяготе и пустоте земной, загадочной, такой кратковременной и трудной, такой как будто бы бессмысленной и все же такой пленительной и заманчивой жизни.

Все герои Платонова правдоискатели. Всем их поступкам свойственно некое однообразие душевного томления, толкающего каждого из них на совершения порой весьма различных по внешнему виду поступков; но внутренний смысл этих поступков один: нельзя жить, не узнав правды жизни, и в первую очередь, не узнав всей правды о... смерти. Для Платонова вопрос о смерти — центральный вопрос, который должен быть решен, чтобы стала возможна на земле настоящая, а не мнимая жизнь. Пока же этот вопрос не решен, жизнь для людей это только видимость жизни, это томление и “прокисание вещества”, а не жизнь» (прозаик П. Скосырев; рецензия датирована 11 апреля 1946 года);

«Герои большинства рассказов Платонова (в книге “Вся жизнь”) — это старики и дети.

Дети, которые не попали еще под власть повседневных дел и отношений, у которых еще ничего нет за плечами. Поэтому они неподкупны и прямо стремятся познать, в чем сущность жизни.

Старики же в рассказах Платонова уже вышли из-под власти человеческих дел и отношений, жизнь прошла, события ее забылись. Остался лишь неосознанный, общий, живущий в сердцах вывод.

Жизнь — реальная человеческая жизнь, — действия, отношения, поступки, события — это для героев Платонова только сон. В первом же рассказе сборника “Вся жизнь” автор утверждает это с воинствующей настойчивостью. Мы знакомимся с героем-ребенком, когда он лишь готовится “испытать жизнь”, и мы снова встречаем его уже стариком. Пятьдесят с лишним лет труда, любви, забот, борьбы, легшие между детством и старостью, — это сон.

В сущности об этом — с небольшими вариантами — говорят все рассказы книги, будь то “Цветок на земле” или “Июльская гроза”, “Избушка бабушки” или “Семья Иванова”.

Мир, который встает в большинстве рассказов Платонова — странен, как его герои. Потому что преломлен этот мир сквозь сознание героев. <...>

Людей, героев своих Платонов любит, жалеет горячо, мучительно, искренне. Но этот гуманизм <...> противоположен горьковскому. Это страстная борьба за право господина Голядкина оставаться самим собой без “двойника”. Внешние приметы сегодняшнего дня (Колхоз, Ордер на дрова, “Племсовхоз”, Война) остаются за пределами рассказов.

“Вся жизнь” — это книга легенд о бедном слабом человеке, написанная для защиты его от лукавого разума и веры в видимый мир.

Написаны эти легенды, эти апокрифы и жития “блаженных” превосходно. Изобразительная сила, свое, тонкое ощущение языка и власть над ним — все это отличает рассказы Платонова.

Религиозный, христианский гуманизм Платонова для меня лично не приемлем, но в его творчестве это не новость» (критик Е. Книпович; рецензия датирована 19 апреля 1946 года).

Решение о публикации книги «Вся жизнь» принималось зимой 1947 года, начавшегося истребительной кампанией критики рассказа «Семья Иванова» (см. комментарии к тому «Смерти нет!», с. 536—540), и рассказы о детях военных и мирных лет так и не будут изданы отдельной книгой. Нет рассказов о детях и в вышедшем в издательстве «Детская литература» сборнике Платонова «Солдатское сердце» (1946). Платонов мыслил книгу рассказов о детях как особый самоценный эстетический мир, правду которого он хотел утвердить в своей этической и исторической актуальности для послевоенной России. Об этом свидетельствует и дошедший до нас опыт цикла детских рассказов «Добрые люди»; под этим заглавием Платонов предлагал в июне 1945 года «Новому миру» опубликовать три его рассказа о стариках и детях, совершающих тихое дело добра в дореволюционной и современной жизни: «Добрый Кит» («Никита»), «Юшка» и «Цветок на земле» (см.: *РГАЛИ*, ф. 1702, оп. 1, ед. хр. 757, л. 1а; *Корниенко Н.* «Добрые люди» в рассказах А. Платонова конца 30 — 40-х годов // Творчество Андрея Платонова. Исследования и материалы. Кн. 2. СПб., 2000. С. 3—16).

В 1952 году прозаик А. Чаковский проведет четкий водораздел между советской литературой и детскими рассказами писателя:

«“На заре туманной юности”, “Июльская гроза”, “Еще мама”, “Никита”, “Сухой хлеб”, “Цветок на земле”, “Корова”, “Железная старуха”, а также из числа относящихся к войне “Маленький солдат” — это рассказы о якобы советских детях. Однако в этих рассказах нет детства с его светлым, радостным восприятием жизни, но зато есть беспамятность, скорбь или одиночество. В своем, очевидно, философски неосознанном стремлении выразить мировую скорбь, общечеловеческое страдание как незыблемые основы жизни Платонов приходит к стиранию граней между жизнью и смертью, между детством и старостью. У Платонова нет роста самосознания человека, даже в те годы, когда происходит общий процесс духовного и интеллектуального формирования. Ребенок по годам у него старик по ощущению. <...> Многие рассказы Андрея Платонова о детях написаны в основном для того, чтобы выразить отвлеченную философскую идею, противостоящую материалистическому пониманию жизни. Абстрактная идея “Цветка на земле” заключается в уже отмеченном нами стирании граней между жизнью и смертью. Жизнь возникает из праха и обращается в прах, чтобы возникнуть снова. В основе рассказов “Июльская гроза”, “Никита”, “Железная старуха” лежит анимизм, которым проникнуто платоновское ощущение природы и который служит у него для усиления мотива беспамятства, одиночества, необратимости смерти. Природа у Платонова — порождение чувств его героев, их настроений безысходности, отчаяния, страха, смирения. Поэтому природа у Платонова лишена красок и конкретности пейзажа. У него просто деревья, просто листья, просто ночь или день. Этот пейзаж не объемен — он только абстрактно пространственен, и его пугающая беспредельность призвана усилить чувство одиночества и беспомощности.

В “Июльской грозе” разбушевавшаяся природа — вторичное явление, она отражение тоски и одиночества, возникших у детей после их прихода к бабушке. Встреча детей со стариком во время грозы, как и всегда у него, при сближении юности и старости вызывает мысль о смерти. Оставаясь в одиночестве, мальчик Никита (в одноименном рассказе) одухотворяет окружающие его предметы, заселяет внешний мир враждебными и опасными духами.

В рассказе “Еще мама” ребенок впервые проходит короткий путь от своей избы до школы, но как опасен пройденный путь. Чувство тревоги за него — чувство неоправданное — появляется тем не менее у нас, и в нем смысл рассказа. Образно это напоминает канатоходца, балансирующего под куполом цирка. У зрителя вырывается вздох облегчения, когда он заканчивает свой опасный номер.

Образы взрослых людей, людей, которые должны принимать деятельное участие в строительстве новой жизни, выглядят еще более ущербно» (*РГАЛИ*, ф. 1234, оп. 17, ед. хр. 773).

В настоящем томе рассказы печатаются по изданию: *Платонов А.* Избранные произведения: В 2-х т. Т. 2 / Текстолог М. Н. Сотскова. М.: Худож. лит., 1978. Другие источники, по которым нами подготовлены тексты рассказов, отмечаются в примечаниях к конкретным произведениям. Это — автографы, прижизненные и авторизованные машинописи, машинописи с авторской правкой; в некоторых случаях в качестве источника текста приняты первые публикации.

РАССКАЗЫ И СКАЗКИ

Сережка (с. 11)

Впервые: воронежская периодика (источник не выявлен).

Датируется условно: ранее 1918 года (напечатан по старой орфографии).

Печатается по: *Архив*. Публикация Е. Антоновой.

Теченье времени (с. 11)

Впервые: *Платонов А.* Неопубликованное / Публикация Е. Колесниковой // Звезда. 1999. № 8.

Печатается по первой публикации.

Датируется серединой 1930-х гг.

Июльская гроза (с. 18)

Впервые: *ЛГ*. 1938. 30 сент.; Октябрь. 1938. № 11; отдельное издание: *Платонов А.* Июльская гроза. М.—Л.: Детиздат, 1940.

Печатается по машинописи с авторской правкой, с восстановлением сокращенных редактором фрагментов (*РГАЛИ*, ф. 619, оп. 1, ед. хр. 336; ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 55).

Первое название в рукописи — «Спасение брата».

Рассказ носит программный характер. В феврале 1938 года Платонов опубликовал в журнале «Литературное обозрение» статью-рецензию на книгу прозы А. Грина, в которой высказался по широкому кругу вопросов советской литературы для детей среднего и юношеского возраста. Эти вопросы широко обсуждались на страницах литературной периодики и специального журнала «Детская литература». Полемический выпад против романтической повести А. Грина «Алые паруса» имел адресатом, на самом деле, не столько Грина, сколько авторов и теоретиков приключенческо-романтической повести для юношества этого десятилетия (К. Паустовский, Л. Кассиль, А. Гайдар, В. Каверин и др.). Платонов сформулировал, говоря его словами, «в лоб» свои вопросы к школьной романтической повести и рассказу: как соединить, и соединимы ли романтические грезы о прекрасной дальней волшебной, но «специальной» стране с низовой реальностью жизни страны Советов; в чем воспитательный эффект таких произведений для юношества; как грезы о «дальней стране» соединяются с провозглашенным курсом на возрождение в советской литературе народности. И дал ответ на прямо поставленные им вопросы, исключающий всякую двусмысленность по поводу его отношения к советским романтическим детям-героям:

«Бедный народ деревни увидел образ плывущего счастья в виде корабля под алыми парусами. Но деревенские люди знали: это счастье плывет не за ними.

И действительно, лодка с корабля взяла к себе одну Ассоль. Народ по-прежнему остался на берегу, и на берегу же осталась большая, может быть даже великая, тема художественного произведения, которое не захотел или не смог написать Грин. <...>

А чем питаться Ассоль и Грею в пустынном море и в своей любви, замкнутой лишь самой в себе? Нет, тот народ, оставленный на берегу, единственно и мог быть помощником в счастье Ассоль и Грея. Повесть написана как бы наоборот: против глубокой художественной и этической правды».

«Июльская гроза» представила образ «моршанской Ассоли», к созданию которой Платонов призвал советскую литературу для юношества.

О полемичности платоновской «моршанской Ассоли» свидетельствует издательская судьба «Июльской грозы». В 1938 году рас-

сказ был опубликован в журнале «Октябрь» с немалыми купюрами и исправлениями, которые сохранялись во всех его переизданиях до 2000 года. Возражение редакторов вызвали тревожные платоновские пейзажи, страницы, посвященные бабушке, тем вечным ценностям крестьянской жизни, которые она исповедует (бабушкины размышления почти полностью будут изъяты из текста), описание мистических переживаний детьми угрозы смерти и т. п. На полях рядом с редакторскими пометами типа «недетские мысли», сокращениями и замечаниями, Платонов оставит лаконичные возражения: «Нужно», «Прошу оставить как есть. А. П.», однако редакторы решат по-своему (см.: РГАЛИ, ф. 619, оп. 1, ед. хр. 336).

Положительную оценку рассказу дал В. Ермилов в полемической статье о позиции журнала «Литературный критик»: «Некоторые из рассказов Андрея Платонова, особенно последний его рассказ “Июльская гроза”, дает основание надеяться на то, что вместе с подавляющим большинством советских писателей этот художник будет участвовать в поисках героя нашего времени — в том верном направлении, в котором ищет героя советская литература» (*Ермилов В.* Верно ли, что у нас «иллюстративная» литература (О взглядах «Литературного критика») // *ЛГ*. 1938. 15 дек. С. 2).

После публикации рассказа отдельным изданием об «Июльской грозе» напишут авторитетные в детской литературе критики А. Ивич и С. Решетин. «До опубликования этого рассказа Андрей Платонов был трудно представим как детский писатель» (*ДЛ*. 1941. № 4. С. 46), — делал заключение С. Решетин. «Превосходный» рассказ действительно отвечал самым высоким требованиям к детской литературе, как они формулировались в 1940 году с самых высоких трибун: рассказ о «нравственной красоте и силе простой человеческой жизни» (С. Решетин) обладал высоким воспитательным пафосом; рассказ народен и патриотичен по существу и главной его идее жертвенности; рассказ хорошо написан. Все это и отметил рецензент: «Сила Платонова в слове, всегда точном, необыкновенно ясном, ярком и жизненном. В слово здесь вложено огромное чувство родины, и потому оно с великой силой озаряет картины родной природы, воодушевляет и наполняет этой силой читателя»; «Платоновский человек тогда хорош, когда он живет для других». Рецензент не без оснований отметил в детском рассказе те же черты платоновских «взрослых» произведений и героев, за которые писатель был подвергнут жесточайшей проработ-

ке: «Рассказ превосходен. Однако нельзя отделаться от некоторой, впрочем, едва уловимой, мрачности, чуждой духу этого жизнеутверждающего рассказа. Ночь с ее добрыми сверчками почему-то кажется Наташе лучше дня, “печального и страшного”. <…> В рассказе слишком много “тьмы” и “смерти” — образов, кочующих из одного произведения автора в другое и назойливо, с какой-то болезненностью повторяемых где надо и где не надо» (там же. С. 45—46). А. Ивич и вовсе написал абсолютно положительную рецензию на книгу: «простой сюжет и сложное внутреннее содержание»; «Исчезает разлад между миром и человеком <…> нет цепи несчастий и страданий, нет ни иронического, ни трагического пессимизма»; «Рассказ наполнен конкретными деталями, очень точно увиденными и наглядными, как рисунок»; «Ничего не упрощая, не подгоняя к пониманию ребят, Платонов создал рассказ, в котором за простотой письма скрыто большое литературное мастерство, а за видимой простотой жизни — не скрытые от читателя сложность и многообразие простых человеческих отношений» (Литературное обозрение. 1941. № 4. С. 21—23).

Рассказ включался в книгу «Вся жизнь». Прозаик, секретарь президиума ССП по оргвопросам П. Скосырев отмечал в рецензии на книгу «Июльскую грозу» как большую удачу Платонова: «Я бы его отнес к числу лучших рассказов не только одного А. Платонова. Безупречно художественно выполненный, он хрестоматиен в лучшем смысле этого двусмысленного слова. Я думаю, Платонова будет ждать постоянная большая удача именно на тех путях, каких он придерживался при создании этого рассказа».

Корова (с. 37)

Впервые: *Платонов А.* В прекрасном и яростном мире. М.: Худож. лит., 1965.

Печатается по автографу и машинописи с авторской правкой (*РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 44).

Датируется 1938 годом.

Платонов не раз включал рассказ в сборники 1940-х годов, однако почти все рецензенты книги «Вся жизнь» рекомендовали исключить его как «ненужный» для советского читателя. Порочность видели в общей печальной интонации рассказа, но главным образом — в теме сочинения («Как я буду жить и работать, чтобы принести пользу родине») и самом тексте, который пишет мальчик

Вася. Так критик Л. Субоцкий, высоко оценив все детские рассказы, включенные в книгу «Вся жизнь» («Июльская гроза», «Цветок на земле», «Червь», Никита»), советовал рассказ «Корова» переработать — «умерить» любование страданием и снять сочинение Васи: «Сочинение Васи, данное как концовка рассказа, будучи по форме ложно-значительным, а по сути бессодержательным, звучит пародийно, и вместе с тем, как бы стремится придать рассказу о частном случае характер чересчур широкого обобщения». На неверные акценты сочинения Васи обратил внимание и прозаик Ю. Либединский и гневался по этому поводу: «Интересный рассказ "Корова" испорчен юродским концом. <...> Следует спросить автора, зачем понадобилось ему приплести рассуждения о коровьей доброте к такому серьезному чувству, как любовь к родине». Тема и сам текст сочинения были радикально исправлены и так печатались во всех посмертных изданиях рассказа.

В пристальном внимании рецензентов к теме сочинения мальчика был свой резон. Сочинение о корове напоминало современникам Платонова прежде всего об эстетическом и этическом космосе давно изъятых из советской литературы «Избяных песен» Н. Клюева, «Корове» любимого Платоновым С. Есенина и «юродских» стихах Н. Заболоцкого. В творчестве Платонова сочинение о корове 1938 года является антитезой подобного же текста, над которым писатель тщательно работал в 1932 и 1933 годах. Сначала он появился в записной книжке 1932 года:

«Рассказ девочки о корове.

У коровы по четырем углам [поставлены] стоят ноги. Из коровы делают [мясо] котлеты, а картофель растет отдельно. Корова сама дает молоко, а индюк старается, не может» (*ЗК*. С. 115. В квадратные скобки заключены вычеркнутые слова).

Платонов обратится к этой записи, работая над текстом сочинения, которое в детдоме 1920-х годов пишет сирота Москва Честнова (роман «Счастливая Москва»).

Первый вариант:

«Рассказ девочки без отца и матери о корове. — Коров бывает мало, их ведь едят. У коровы по четырем углам стоят ноги. Из коров делают котлеты, всем дают по одной, а картофель растет отдельно. Корова сама дает молоко, другие животные стараются, не могут. Жалко, что не могут, лучше бы могли. Девчонки наелись котлет, сами лежат спят и пахнут. Мне скучно» (*Платонов А.*

Счастливая Москва [Динамическая транскрипция] // *СФ—1999*. С. 10).

Этот вариант текста для ребенка, выросшего вне дома и природы, не устраивал Платонова, возможно, своей откровенной литературностью, и он возвращается к этой странице рукописи романа и на отдельном листе с пометой «Вставка» заново пишет текст сочинения, усиливает в нем исторический аспект, вводя мотив обучения ребенка и будущего мира коммунизма. Переработка идет по линии усиления химеричности сознания ребенка, в котором плавают различные идеологемы взрослой жизни, и одновременно акцентируется тоска ребенка по натуральному строю детской и общей жизни:

«Рассказ девочки без отца и матери о корове, о своей будущей жизни. — Нас учат теперь уму, а ум в голове, снаружи ничего нет. Надо жить по правде с трудом, я хочу жить будущей жизнью, пускай будет печенье, варенье, конфеты, и можно всегда гулять в поле мимо деревьев. А то я жить не буду, если так, мне не хочется от настроения. Мне хочется жить обыкновенно со счастьем. Вдобавок нечего сказать» (там же).

В пору завершения работы над романом Платонов постоянно возвращался на страницах записных книжек к миру «животных и растений», размышлял о значении «первой природы» в воспитании человека и возвращении из химерического мира к жизни с ее естественным строем и ладом:

«Человечество — без облагораживания его животными и растениями — погибнет, оскудеет, впадет в злобу отчаяния, как одинокий в одиночестве» (*ЗК*. С. 155).

«Животные и растения — всегда наши современники, и дело совсем не в атавизме, а в дружбе, в санитарии души» (*ЗК*. С. 155);

«О животных надо тоже писать: у них много свободы воли, независимого ума etc.» (*ЗК*. С. 175);

«О животных, о животных — целый мир свободы и счастья втуне лежит» (*ЗК*. С. 175).

Великий человек (с. 48)

Впервые: Смена. 1941. № 4.

Печатается по автографу (*РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 72).

Датируется условно 1939 годом.

В записной книжке 1939 года:

«Выбор профессии;

Все хотели быть летчиками, музыкантами, писателями etc., а один мальчуган гончаром, — гений» (*ЗК*. С. 212).

Вся жизнь (с. 63)

Впервые: 30 дней. 1939. № 8—9; *Платонов А.* Под небесами родины. Уфа, 1942. Под названием «Свет жизни».

Печатается по авторизованной машинописи (*РГАЛИ*, ф. 618, оп. 12, ед. хр. 53).

Другое название — «Вся жизнь»; под этим названием рассказ был представлен в редакцию журнала «Знамя» в 1943 году и включался в книги рассказов «О живых и мертвых» и «Вся жизнь» (обе не вышли).

Уля (с. 77)

Впервые: Семья и школа. 1966. № 4.

Датируется условно 1939 г.

Алтеркэ (с. 84)

Впервые: Дружные ребята. 1940. № 2; Общественница. 1940. № 4—5 (под названием «Мученье ребенка»; в сокращении).

Рассказ был отмечен среди лучших публикаций журнала за 1940 год (см.: *Чертова Н.* Журнал для колхозных детей // *ДЛ*. 1940. № 11 — 12. С. 33).

Железная старуха (с. 97)

Впервые: Дружные ребята. 1941. № 2 (под названием «Ты кто?», в сокращении); Знамя. 1943. № 4; *Платонов А.* Под небесами родины. М., 1942; *Платонов А.* Рассказы о Родине. М., 1943.

Этому рассказу посвящено исполненное восхищения выступление Виктора Бокова на обсуждении рассказов Платонова в редакции журнала «Дружные ребята» (18 февраля 1941 года): «Платонов принадлежит к тем писателям, которые не гонятся за остротой сюжета и не острота сюжета отличает его рассказы. В рассказах даже серьезные события, катастрофы не так порой замечаются, как вообще ткань рассказа, потому что в каждом его рассказе, помимо какого-то сюжета, от первой до последней строчки присутствует какой-то сильный дух, какая-то большая духовная мощь, с которой автор пишет о чем угодно, пусть о листе, о червяке, — о чем бы он ни написал,

исключительная сила, исключительное чувство <...> Действительно, читатель должен почувствовать — ты кто? Чувствуется, что каждый вновь созидающийся человек узнает мир, но то чувство веры, те знания, которые в основе своей поэтические знания, исключительно прочувствованы в этом рассказе. Весь мир скрыт от человека, он ничего не знает и все, что он видит в мире, вызывает у него вопрос: ты кто? Даже сам он — ты кто? Это обращение держит весь рассказ. <...> Много писалось рассказов о жучках, паучках, но это звучало пошло и смешно, я впервые прочитал рассказ, где чувствуется раскрытие этого вопроса. <...> Это есть высокое мастерство, это есть подлинная литература, когда вы не чувствуете сюжета, а чувствуете такое напряжение, когда человек берет не сюжетом, а исключительно силой ощущения мира, мощи духовной, которая чувствуется в каждой строчке» (*РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 474, л. 17—19).

От хорошего сердца (с. 103)

Впервые: 30 дней. 1941. № 6.

Печатается по первой публикации.

Избушка бабушки (с. 108)

Впервые: Наш современник. 1966. № 3.

Печатается по первой публикации и авторизованной машинописи (*РГАЛИ*, ф. 618, оп. 12, ед. хр. 53).

В 1943 году рассказ предлагался в журнал «Знамя» (машинопись находится в фонде журнала среди неопубликованных произведений; см.: *РГАЛИ*, ф. 618, оп. 12, ед. хр. 53; редакционная дата поступления: 21 сентября 1943 года) и включался в книги «В сторону заката солнца» и «О живых и мертвых»; в 1945 — в книгу «Вся жизнь». Рецензенты книги «В сторону заката солнца» рекомендовали отказаться от публикации рассказа; отмечались неслучайность главных афоризмов деда Сарая, идеологическое подполье сознания героя и его антипедагогический пафос: «Старого полоумного Сарая автор в своем рассказе осуждает, он явно иронизирует над ним. И, тем не менее, что-то есть общее в рассуждениях этого деревенского Шопенгауэра и героев других рассказов сборника. Дядя Сарай, полагая, что он все в мире превзошел и до всего достиг, поучает подростка Тишку, да так, что у того, в конце концов, помутнела душа и даже от пищи его отбило» (прозаик В. Бахметьев, рецензия на книгу «В сторону заката солнца», 2—3 октября 1943);

«В рассказе “Избушка бабушки” Платонов пытается нарисовать картину распространения (или возникновения) в нашем обществе нигилизма (!). Причина, вызывающая это явление, по мнению автора в том, что “человек во всем мире стал подлым”. Нигилизмом заражены философствующий старик-колхозник дед Сарай, по-видимому, слышавший что-то о Шопенгауэре, и соблазненный дедом Сараем десятилетний мальчуган. Рассказ мало правдоподобен. К тому же написанный на тему о русском “пустодушии”, он явно перекликается с другим рассказом сборника — о пустодушии немецком (речь идет о рассказе «Пустодушие». — *Н. К.*); таким образом, снова перед читателем — тот же неделимый Платоновский мир» (прозаик Г. Шторм, рецензия на книгу «В сторону заката солнца», 20 октября 1943); «Дядя Сарай занят тем, что пытается умертвить на протяжении всего рассказа для Тишки всю прелесть жизни, все радости ее, и мешает детскому счастью Тишки. <...> Начало, воплощенное им в дяде Сарае, — неприятно автору, и то в одном, то в другом рассказе — он как бы полемизирует с ним. Этому холодно-аналитическому, представляющему гордый разум прозаическому и недоброму началу противопоставляется начало доброе и поэтическое, и смиренно деятельное. Идеал подобного рода людей воплощается в Юшке, герое одноименного рассказа, который при жизни считался последним человеком, и только после смерти выяснилось, что он всю жизнь творил добро <...>. И нетрудно обнаружить, что мировоззрение Платонова несовершенно, что, если автор всерьез полемизирует с доморощенным экклезиастом дядей Сараем, то и выводимый положительный идеал — смиренномудрый Юшка, воплощение христианской морали, подставляющий правую щеку, когда его бьют в левую, и лечащий зло мира гомеопатическими порциями малых дел, — в такой же степени достоин осмеяния, как и дядя Сарай» (прозаик Ю. Либединский, рецензия на книгу «Вся жизнь»).

Цветок на земле (с. 122)

Впервые: Мурзилка. 1945. № 4.

Печатается по автографу (*РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 58).

В рецензии на книгу «Вся жизнь» критик О. Резник рассматривал рассказ как яркий пример проявления «болезненного пессимизма», свойственного всем детским и взрослым рассказам Платонова, и предлагал не обольщаться «советскими» сентиментальными фи-

налами: «Действие рассказа происходит, по-видимому, в наши дни, а атмосфера его такова, словно со времени детства Акима (герой рассказа «Вся жизнь». — *Н. К.*) ничего не произошло. Впечатление такое, что дед Тит и внук его Афоня живут в пустыне. В чувствах мальчика ничего не напоминает о советской эпохе, и уже перестаешь верить, “что жизнь в людях стала выше” (цитируется рассказ “Вся жизнь”, в книге он предшествовал “Цветку на земле”. — *Н. К.*). Такое же ощущение вызывает рассказ “Юшка”».

Никита (с. 126) •

Впервые: Мурзилка. 1945. № 7 (под названием «Добрый Кит»); Новый мир. 1945. № 7.

Печатается по автографу и авторизованной машинописи (*РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 52; ф. 1702, оп. 2, ед. хр. 102).

Поэт П. Антокольский, давший в рецензии на книгу «Вся жизнь» самую высокую оценку рассказам о детях Платонова, отметил в «Никите» чрезмерные увлечение автора своими идеями, что ведет, по его мнению, к стилизации: «...слишком прямолинейно и назойливо показан антропоморфизм в мироощущении ребенка. Мальчик Никита добросовестно и явно по авторскому внушению занимается нехитрым делом: солнце для него покойный дедушка, в колодце, в траве, в гнилом пне, в полуразрушенной бане, в цветах узнает он черты добрых и злых существ. Все это хорошо, но чуть меньше было бы куда лучше!»

Осьмушка (с. 133)

Впервые: Литературная Россия. 1984. 23 нояб.

Печатается по авторизованной машинописи, поступившей 7 июля 1945 года в журнал «Новый мир» (*РГАЛИ*, ф. 1702, оп. 1, ед. хр. 758).

Варианты названий в рукописи: «Сказка о детстве», «Осьмушка», «Червь» (*РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 94).

Под названием «Червь» рассказ включался в книгу «Вся жизнь». Как удача был отмечен критиком Л. Субоцким, но в основном оценки рецензентов были отрицательными. Так, прозаик П. Скосырев рекомендовал убрать его из книги наряду с другим «плохим» и «совершенно ненужным» читателю рассказом — «Коровой»: «Автор в них не то перехитрил, не то недохитрил себя. Трудно понять, что должно означать разрывание червя сперва на две части, потом на четыре, потом на восемь. Автор как будто нащупал какой-то ши-

рокий и своеобразный образ и утерял, недораскрыв его». Критик Е. Книпович, напротив, прочитала образ «червя» как конденсированное выражение платоновского гуманизма, противоположного в своем пафосе горьковскому гуманизму: «Человек Платонова — маленький, согнутый — тленная, жалкая оболочка искорки добра. Недаром же носитель действенной доброты в “Рассказе о детстве” (подзаголовок рассказа. — *Н. К.*) — это дождевой червяк, раб муравьев, который разрывает себя пополам, затем на четвертки и осьмушки, чтобы, без порухи своим обязанностям раба, помочь ребенку в его горе. Людей, героев своих Платонов любит, жалеет горячо, мучительно, искренне».

Разноцветная бабочка (Легенда) (с. 143)

Впервые: Костер. 1965. № 3.

Печатается по машинописи с авторской правкой (*РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 44). В конце декабря 1946 года рассказ поступил в журнал «Новый мир» и был отклонен редакцией; резолюция на машинописи рассказа, возвращенной Платонову: «Рассказ “Новому миру” не подходит» (там же, ед. хр. 44, л. 46).

Замысел легенды-притчи возник в процессе написания рассказа «Осьмушка». На полях эпизода о встрече Мити с разноцветной бабочкой имеется запись Платонова: «Отдельная сказка: “Он все принимал за правду”...» (*РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 94, л. 27). Здесь же первые наброски к рассказу; они не будут реализованы, но остаются своеобразным комментарием темы блудного сына — «голосом матери»:

«— Ты опять заигрался и забегался, и ты забыл про меня.

— Сейчас, мама, я только бабочку поймаю» (л. 28).

«И матери не нашел. Но мать нашла его» (л. 28, 30).

Сухой хлеб (с. 152)

Впервые: *Платонов А.* Течение времени. М.: Московский рабочий, 1971.

Печатается по авторизованной машинописи (*РГАЛИ*, ф. 1702, оп. 2, ед. хр. 923).

Машинопись рассказа находится среди трех не опубликованных журналом произведений Платонова 1947—1948 годов, объединенных темой первого послевоенного года и постигшей среднюю Россию засухи («В 1891 году» и «Житейское дело»). Рассказ

поступил в редакцию 8 июля 1947 года (там же. Л. 1). Платонов находился в командировке от ССП в Воронежской и Тамбовской областях в ноябре 1946 года; от журнала «Новый мир» и газеты «Известия» в Рязанской области — в июне-июле 1947 года (см.: РГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 16, л. 15, 16).

Пук-пук (с. 158)

Впервые: Нева. 1966. № 7.

Печатается по первой публикации.

Сохранился лист записей к рассказу:

«3 периода (до двух лет) в жизни ребенка

а) — блаженное ощущение матери

1) Дай-дай-дай-дай!

2) я — тебе!!.

3) Где мама — где мама?

4) Все — животн<ые> и растения, маленькие, — плачут по матери: где мама, где мама?» (*ЗК*. С. 278).

Две крошки (с. 169)

Впервые: Пионерская правда. 1948. 6 янв.

Печатается по первой публикации.

Мирная детская сказка возмутила читателя самой взрослой газеты страны, мгновенно откликнувшейся на публикацию «Пионерской правды»: «Вся эта — надуманная даже для сказки — ситуация выглядит как нелепость. Что же касается морали, то она является и ложной, и вредной. Нам хочется замолвить слово в защиту пороха. Редакция “Пионерской правды” зря настраивает против пороха своих читателей. Конечно, хлеб нужен человеку. Но человеку же нужен порох. <...> “На земле мир и в человецех благоволение” — к этому идеалу еще не пришла наша планета. И сказочник Андрей Платонов, и редактор “Пионерской правды” В. И Семенов, надо полагать, не хотят уносить своих читателей в заоблачные выси, начисто отрывая их от тверди земной. Зачем же они пишут и печатают сказку, от которой разит дешевым пацифизмом?» (*Рябов И.* К вопросу о порошинке. Маленький фельетон // Правда. 1948. 9 янв. С. 4).

Еще мама (с. 171)

Впервые: Вожатый. 1965. № 9.

Печатается по автографу (*РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 53).

Неизвестный цветок (Сказка-быль) (с. 178)
Семья и школа. 1969. № 2.

НЕОКОНЧЕННОЕ

Земля (с. 185)

Впервые: *Платонов А.* Неопубликованное // Звезда. 1999. № 8. Публикация Е. Колесниковой.

Печатается по первой публикации.

Черноногая девчонка (с. 187)

Впервые: *Платонов А.* Неопубликованное // Звезда. 1999. № 8. Публикация Е. Колесниковой.

Печатается по первой публикации.

В качестве эпиграфа использованы строки из раздела «Буржуазная критика проекта Конституции» доклада И. Сталина на VIII чрезвычайном Всесоюзном съезде Советов (открылся 25 ноября 1936 года), посвященном обсуждению и утверждению проекта новой Конституции СССР:

«Четвертая группа, атакуя проект новой Конституции, характеризует его как “сдвиг вправо”, как “отказ от диктатуры пролетариата”, как “ликвидацию большевистского режима”. “Большевики качнулись вправо, это факт”, — говорят они на разные голоса. <…> Не может быть сомнения, что эти господа окончательно запутались в своей критике проекта Конституции, и, запутавшись, перепутали правое с левым. <…>

Нельзя не вспомнить по этому случаю дворовую “девчонку” Пелагею из “Мертвых душ” Гоголя. Она, как рассказывает Гоголь, взялась как-то показать дорогу кучеру Чичикова Селифану, но, не сумев отличить правую сторону дороги от левой ее стороны, запуталась и попала в неловкое положение. Надо признать, что наши критики из польских газет, несмотря на всю их амбицию, все же недалеко ушли от уровня понимания Пелагеи, дворовой “девчонки” из “Мертвых душ”. *(Аплодисменты)*. Если вспомните, кучер Селифан счел нужным отчитать Пелагею за смешение правого с левым, сказав ей: “Эх ты, черноногая… не знаешь, где право, где лево”. Мне кажется, что следовало бы так же отчитывать наших незадачливых критиков, сказав им: Эх вы, горе-критики… Не знаете, где право, где лево»

(*Сталин И.* Доклад о проекте Конституции Союза Советских социалистических Республик // Известия. 1936. 26 нояб. С. 2—3).

Как отмечено первым публикатором рассказа Е. Колесниковой, смысл эпизода в «Мертвых душах» несколько иной, чем в пересказе Сталина: «Пелагея не попадала в “неловкое положение”, она показала дорогу правильно. Мало того, Гоголь говорит, что без девчонки вообще было бы трудно разобраться в дорогах, которые “расползались во все стороны, как пойманные раки”. Выведя с помощью жестов чичиковскую бричку на столбовой тракт, Пелагея удостоилась презрительно сказанным сквозь зубы: “Эх ты, черноногая”» (Звезда. 1999. № 8. С. 115).

Первый день на свете (с. 191)

Печатается впервые по автографу (*РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 49).

Дар жизни (с. 191)

Впервые: Домовой. 1994. № 4. Публикация Н. Корниенко.

Печатается по автографу (*РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 49).

Датируется условно: не ранее 1944 года (на обороте автографа находится страница записей к рассказу «Афродита»); при первой публикации ошибочно датирован началом 1930-х годов.

Сохранились записи к повести о детстве, комментирующие главную этическую идею произведения и образ главного героя Ивана Гвоздарева (затем вместо Гвоздарева в записях и записных книжках появляется сначала Анкудинов, затем Аркин):

«Важно. Утрата матери И. Гвоздаревым = утрате души: и поиски души всю остальную жизнь»;

«Конец:

“Пусть люди на свете живут!”

Пусть все люди на свете живут. <…>

и ей стало вдруг трудно себя чувствовать живой, точно ее измученное тело утомило ее и надоело ей. — А больше никого не надо: пусть за меня все люди на свете живут…

Кто, Юшка?» (*РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 99, л. 6, 7);

«Мученье — первая категория жизни; вторая — радость: Ив<ан> Гвоздарев.

Инстинкт самосохранения надо превратить в инстинкт самопожертвования, питаемый патриотизмом.

Любовь к родине» (*ЗК*. С. 266);

«Анкудинов — не могущий существовать, не знающий, что он, — и существующий наиболее правильно и счастливо»;

«Смысл существования* — в непрерывном удовлетворении своей совести. Совесть грызет человека непрерывно, п. ч. живешь всегда бессовестно, хотя бы потому, что ешь, пьешь, уничтожаешь, чтобы жить

* и в мучительной привязанности (у Анкудинова) к другому человеку» (*РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 99, л. 8, 9);

«[Гвоздарев] Анкудинов — дитя человечества.

А Тот (главный) — дитя всего мира.

Для "Путе<шествия> в человечество"» (*ЗК*. С. 267).

Судя по записным книжкам, замысел большой книги для детей «Путешествие в человечество», в которую мог войти текст неоконченной повести «Дар жизни», появляется у Платонова в 1942 году:

«Чрезв<ычайно> важно

Путешествие

Надо идти именно туда, в сверхконкретность, в "низкую" действительность, откуда все стремятся уйти» (*ЗК*. С. 235);

«Оч<ень> в<ажно>

Есть такой низовой человек, на которого опирается весь мир, как на вершину опрокинутого конуса, — это и есть Аркин из "Путешествия".

Нет, не Аркин — но некто больший Аркина» (*ЗК*. С. 238).

В донесениях осведомителя НКВД от 18 мая 1945 года упоминается о работе Платонова над большой повестью "Иван — трудолюбивый" (см.: *СФ—2000*. С. 871). Судя по сохранившемуся листу записей, речь идет о дальнейшей работе над историей героя повести «Дар жизни». Причем будущая высокая судьба Ивана Гвоздарева поверяется главной этической темой «Дара жизни» — памятью о матери.

«Ив. Трудолюбивый

Ученый, котор<ый> радуется, что его истина прежняя разрушена новой — и жизнь его состоит в череде душевных потрясений. Он идет на них с готовностью, хотя это и больно»;

«Россия держит мир»;

«Бедность есть честь»;

«Образ Ивана —

Или — поиски смысла жизни, измучившие его»;

«Образ

Одаренность жизнью — все»;

«Всего на свете много, а если снять со всех ложь, то все будут похожи — как будто существование всегда однажды»;

«Есть же, д<олжен> быть — стыд за счастье жизни, п<отому> ч<то> счастье незаслуженно»;

«“Стушеваться”

Постоянное чувство слабело со стыда жизненной радости — и желание заглушить его жертвой, работой»;

«Буквы не мог читать: видел в них людей, картины, живое»;

«Всюду — мать» (*РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 99, л. 11).

В первый послевоенный год Платонов обсуждает возможность заключения договора на книгу «Путешествие в человечество» с издательством «Детская литература». Сохранился черновик письма с изложением темы новой книги, указанием примерного ее объема (15 листов); Платонов просил директора издательства заключить с ним договор и тем самым материально поддержать его работу. Поверх письма и на полях — детские каракули (дочери Маши или внука Саши) и записи к «Дару жизни»:

«После смерти матери он словно утратил душу и ищет ее как <1 слово нрзб>»;

«Мать ему не досказала сказки, которая есть жизнь; он ищет продолжения сказки»;

«Труд есть совесть»;

«Он есть совесть» (*РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 28, л. 16).

Как следует из записей, этический идеал героя новой книги ориентирован на христианские ценности, а в собственном творчестве — на образ страдальца и смиренного творца добра Юшки из одноименного рассказа.

В письме в издательство Платонов описал стратегию и главные узлы дальнейшего развития главной идеи, заключенной в образе Ивана Гвоздарева:

«Изображается с детства человек, воспитываемый сначала матерью, а позже, после смерти матери, одним зрелым большевиком. Дается история образования его души. Человек вырастает; у него есть одна душевная, личная особенность: он не может жить собою и для себя, но может существовать за другого с тем, чтобы этот другой получил возможность жить тою высшей, лучшей жизнью, какой он желает жить (у каждого есть это желание), — и наш герой представляет, как может, эту высшую жизнь другому человеку, а сам на себя берет его судьбу. И так идет и проходит череда образов

людей нашего времени, людей труда и народа, чей подвиг берет на себя наш герой, освобождая их для высшего дела, которое они делают. Сам же наш герой временно существует воспринятой им чужой судьбой, это дает ему смысл существования, затем он переходит к следующему человеку. Это движение, подвиг совести, совершается от трудного к труднейшему — все более и все далее в глубину нашего народа, в направлении к основам нового человеческого мира, где живут великие труженики, сохраняющие и созидающие все, что есть, что будет. И наш герой, таким образом, "путешествует" в человечестве, меняется, преображается в сторону высокого совершенства. Наконец он встречает такого великого труженика и подвижника народа, судьбу которого он уже не может <взять> себе, — он лишь может стать с ним в ряд, в помощь ему — и здесь открывается вся мощь его души и личности, дотоле лишь постепенно как бы приобретаемая от других, в среде народа, внутри которого он двигался» (*РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 28, л. 15—16).

Замысел книги «Путешествие в человечество», скорее всего, остался не реализованным. Письмо в издательство датируется нами не позднее 1947 года (начало кампании истребительной критики рассказа «Семья Иванова»). Обращаясь в издательство с просьбой заключить с ним договор и выплатить аванс, Платонов указывает на не зависящие от него «неблагоприятные обстоятельства» (болезнь), которые заставляют его постоянно прерывать работу над книгой. Фамилия героя «Дара жизни» Гвоздарева использована в рассказе «Житейское дело» (1947).

Афоня (с. 210)

Печатается впервые, по автографу (*РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 46).

Автограф представляет монтаж страниц первых двух (довоенных) редакций рассказа с новым текстом; отсюда неоконченные фразы; невыбранные варианты (в этих случаях воспроизводится первый вариант), разнобой в возрасте мальчика. С изменением времени событий, очевидно, связаны сокращения двух страниц текста первого варианта, посвященные мирному утру и сну Афони:

«Потом он посмотрел, как там без него светит солнце и растет трава, и сказал им всем:

— Сейчас я встану и приду к вам. Я только потянусь, у меня глаза чуть-чуть закрываются, а я им не велю.

Афоня снова заснул поутру, а проснулся, когда уже было жарко на дворе. Бабушка Марфа не стала будить Афоню. Она подумала, пускай он спит, летний день еще долог, Афоня успеет (Фраза не окончена. — *Н. К.*)

— Глядите! — говорил он своим глазам. — Я не хочу, мне скучно спать! <...>

Но нынче приснилась ему умершая мать. Афоня увидел во сне далекое темное поле, которое было ему незнакомо, и его худая мать уходила от него по тому полю все далее и далее в сумрак, где начиналась тьма ночи, и она говорила ему издалека слабым шепчущим голосом: “Афоня, Афонюшка, ты не ходи за мной, ты играй во дворе, где бабушка живет, а я хлеб буду в поле растить, чтобы ты сытым был, я к тебе бабочек пришлю, чтобы ты ловил их, и цветы для тебя выведу у нашего плетня, а ты гляди на них, ты любуйся ими и помни обо мне; днем я солнцем буду тебе светить, а ночью звезды посею на небе и с каждой звезды сама стану глядеть на тебя, чтобы тебе не страшно было, чтобы ты знал, что я с тобою...” — “Мама, а ты вырастешь к нам назад из земли, куда тебя дедушка посеял?” — спросил Афоня.

Он не услышал ответа матери, потому что мухи соскучились по Афоне, они кусали его в лицо и он проснулся.

В избе, во дворе, на всем свете все скучали по Афоне» (*РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 46, л. 2— 4).

В 2000 году (с. 213)

Печатается впервые, по автографу (*РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 46).

<Из записных книжек> (с. 214)

Впервые: *Платонов А.* Деревянное растение. Из записных книжек / Составление и подготовка текста М. А. Платоновой. Предисловие и комментарий Г. А. Елина. М.: Правда, 1990.

Печатается по: *ЗК*.

БАШКИРСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ (с. 221)

Впервые: Башкирские народные сказки / (Литобработка А. Платонова). Сост. А. Усманов. Предисл. Н. Дмитриева. М. —Л.:

Детгиз, 1947. Серия: «Школьная библиотека»; Башкирские народные сказки. (Литобработка А. Платонова). М.—Л.: Детгиз, 1949. Серия: Школьная библиотека. Для нерусских школ».

Печатается по: *Платонов А.* Башкирские народные сказки. М.—Л.: Детгиз, 1953.

К эпическому наследию народов СССР Платонов обращался не раз: «Песчаная учительница»; туркменский цикл произведений. Эпическому и лирическому наследию народов Азии посвящены его статья о Джамбуле и развернутая рецензия на коллективное издание «Творчество народов СССР». Не исключено, что во время эвакуации Платонов познакомился в Уфе с книгой «Башкирские народные сказки» (Уфа, 1941), вышедшей под редакцией известного тюрколога профессора Н. Дмитриева.

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ (с. 261)

Впервые: Волшебное кольцо: Русские сказки / Пересказал А. Платонов. Под общей редакцией М. Шолохова. М.—Л.: Детгиз, 1950. Серия: «Для младшего и среднего возраста».

Печатается по: *Платонов А.* Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. М.: Советская Россия, 1985.

Замысел обработки русских народных сказок датируется началом 1946 года.

Отвечая 26 февраля на анкету Бюро секции прозы ССП, Платонов среди других текущих работ называет сказки: «...обрабатываю том русских сказок (для свода русских сказок, издаваемых Детиздатом под главной редакцией Шолохова)» (*Воспоминания*. С. 462). В 1945 году умер А. Толстой, академик АН СССР, возглавлявший работу по подготовке к изданию русского эпоса. После ухода из жизни А. Толстого это направление работы одновременно от ССП и АН СССР мог возглавить только М. Шолохов (избран академиком в 1939 году). То, что редактором русских сказок Платонова становится М. Шолохов, свидетельствует не только о давних и прочных дружеских отношениях писателей, но и об общей литературной ситуации послевоенных лет. Из русских сказок под редакцией Шолохова выйдут только две книги: «Волшебное кольцо» — «в обработке А. Платонова» (1950, октябрь) и «Иван меньшой — разум большой» — «в пересказе» фольклориста А. Нечаева (1951, август).

О связях Шолохова этих лет с фольклористами Академии наук СССР свидетельствует такой факт общекультурного значения, как частичная реабилитация имени и части наследия В. Даля, запрещенного в СССР в 1920-е годы. Первое в СССР издание В. Даля «Пословицы русского народа» (1957) готовилось к изданию известным фольклористом В. И. Чичеровым и вышло с предисловием Шолохова. В письме Шолохову от 20 ноября 1947 года Платонов благодарит его за чтение и поддержку трех его сказок, прямо говорит, что без его помощи трудно будет осуществить не только издание его книги: «Один вопрос — и самый главный — это организация дела издания русского эпоса. Ты сам понимаешь, что это значит. Оно имеет общенациональное значение. Без тебя мы этого дела не вытянем, с тобою оно пошло бы легко» (см.: *Корниенко Н.* Письмо А. Платонова М. Шолохову и некоторые контексты работы писателя над книгой сказок «Волшебное кольцо // *СФ—2003*. С. 965).

Уже весной 1947 года первая пересказанная Платоновым русская сказка «Финист — Ясный Сокол» была представлена в издательство «Детская литература»; ее начали обсуждать рецензенты, среди которых — известный фольклорист А. Н. Нечаев и прозаик М. Пришвин. В эти же месяцы в рецензии на книгу А. Толстого «Русские народные сказки в обработке А. Н. Толстого» (1946) Платонов изложит свой взгляд на проблематику авторской народной сказки. Вот основные положения платоновской методологии работы с фольклорным материалом и пересказа сказки, своеобразная эстетическая программа и манифест.

1. Сказки — это «высокая бессмертная народная литература», и своеобразие сказки в том, что она принадлежит устной литературе, т. е. «не является однажды созданным и навсегда запечатленным произведением: она движется из уст в уста, от сказителя к сказителю, от переписчика к переписчику; каждый такой рассказчик почти всегда является и соавтором сказки, то есть что-то изменяет в ней, при этом от его творчества сказка иногда улучшается и приобретает более глубокий смысл, а иногда обедняется и утрачивает свои первоначальные высокие качества. Процесс творчества сказки продолжается десятилетиями и столетиями, в нем участвуют представители нескольких поколений народа. В этом сложном процессе мудрое, поэтическое начало сказки, оформленное в конкретный сюжет, может стушеваться, измениться, переработаться в другое начало, в другую идею, может

быть, столь же ценную, но иную; сказка, наконец, может предаться забвению и умереть».

2. Собрания русских сказок, составленные фольклористами, даже лучшими из них (собрание сказок А. А. Афанасьева), не являются истиной в последней — народной — инстанции, а всего лишь «обработкой», причем обработкой ученого, но не художника.

3. Опыт сказок А. С. Пушкина, «идеального обработчика» народных сказочных сюжетов, подтверждает, что не «книжным» ученым, а только художнику под силу «составить» и «обработать» сказку. Причем не всякому художнику, а только «корифеям литературы» (названы Пушкин и Лев Толстой) и «большим художникам» современности (назван Алексей Толстой) удалось, по Платонову, выполнить сверхзадачу и приблизиться к цели — «восстановление, воссоздание наилучшего коренного варианта данной сказки из всех вариантов, созданных народом на эту тему».

Посвященная не столько сказкам самого Толстого, сколько тому большому делу, которое тот курировал как прозаик и академик АН СССР, рецензия Платонова завершается формулировкой задач глобального проекта: «издать весь свод русских сказок. Этот свод, помимо своей великой художественной и этической ценности, должен явиться как бы материальным хранилищем сокровища русского языка, драгоценнейшего достояния нашего народа» (Огонек. 1947 (26 июня). С. 24).

В рамках данного большого коллективного проекта Платонову удалось сделать не так много: «пересказать» всего девять сказок. Из них только сказка «Финист — Ясный Сокол» выйдет отдельным изданием (100 тысячным тиражом в 1947, 150-тысячным — в 1948), другие семь — только в составе книги «Волшебное кольцо». Издание книги сказок явно затянулось, на чем, безусловно, сказалось общее отношение к Платонову после разгромной критики «Семьи Иванова» 1947 года. Публичное выступление Платонова с размышлениями об обработке сказок фольклористами и писателями явно не способствовало его отношениям с фольклористами, курирующими издание сказок в издательстве «Детская литература».

Отдельному изданию сказки «Финист — Ясный Сокол» в 1947 году предшествовало обстоятельное ее рецензирование. Развернутый отзыв представил в начале года известный фольклорист А. Н. Нечаев. Как и многие рецензенты, он не удержался от искушения указать на необходимость редактирования Платонова

и составил список платоновских странных сочетаний слов. Таких «мелочей» (название 1-й части отзыва) набралось 23: «вышла нужда»; «самая древняя старуха», «пробудись ко мне» и т. п. Во второй части отзыва Нечаев составил свод отступлений Платонова от фольклорного источника — варианта сказки в собраниях фольклористов: «пересказ более свободен, чем надо»; «есть детали мало характерные для р<усской> н<ародной> с<казки>»; «характер скромницы и доброй дочери перегружен излишним смирением, паче гордости, не свойственным характеру девушки»; «мотив первого отказа» Марьюшки от подарка «не правдоподобен и излишен»; «откуда старик знает про кручину, раньше не сказано»; «лучше, когда сестры усыпили ее сонным зельем или булавочкой, а то такая аккуратная, добрая и любящая вдруг заснула сама, ведь она не соня»; «получается как-то неправдоподобно, что любящий Финист не узнает героиню, а где же сердце-вещун и глаза у него — и т. д., в сказках проще...»; «Почему любящая Марьюшка невеста боится своего мужа оттого, что он стал еще краше; противоположно и чуждо человеческому характеру» и т. п.

Вывод рецензента был в целом положительным: «Следует сказать, что данный сюжет мало благодарен для обработки и его творческая интерпретация труднее, чем других сказок, но автор справился лучше, чем кто-нибудь другой, преодолев традицию лубочной обработки. Я считал бы удачной сказку как редакцию в первоначальном варианте» (*РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 84, л. 1—2 об). Отзыв Нечаева вместе со сказкой был передан второму рецензенту, одному из блистательных знатоков и обработчиков русской сказки М. Пришвину. Его отзыв был лаконичен, первая часть — собственно о сказке Платонова, вторая — ироническая реплика в адрес известного фольклориста: «Сказка Финист — Ясный Сокол в обработке Андрея Платонова удачно выбрана и отлично обработана. Заметки А. Н. Нечаева сделаны во малых случаях правильно и во всяком случае дают автору драгоценную возможность проверить себя в таком ответственном деле, как обработка народной сказки. Михаил Пришвин. Москва. 12.4.1947» (*РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 84, л. 4). Сказка вышла в свет отдельным изданием в ноябре 1947 года (см.: Книжная летопись. 1947. № 42. С. 53). Платонов предпринимал не одну попытку отдельного издания и других русских сказок, но его «пересказы» не поддерживали рецензенты-фольклористы.

31 мая 1950 года директор издательства сообщал Платонову, что работа редакции над сборником сказок закончена: «У редакции вызывает сомнение сказка “Чудесный мальчик” как менее ясная и по мотивам и менее удавшаяся в литературном отношении. Этот вопрос редакция решит с Вами дополнительно, но это не послужит какой-либо задержкой в дальнейшей работе над сборником» (*РГАЛИ*, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 25, л. 6). Сказка «Чудесный мальчик» будет изъята из сборника (опубликована впервые в 1967 году в журнале «Дон», № 5), а сам сборник сказок выйдет в свет действительно теперь уже без задержки в октябре 1950 года — за несколько месяцев до кончины А. Платонова. Это — последняя книга, вышедшая при жизни писателя.

Сборник русских сказок и в целом работа Платонова по пересказу для детей народных русских и башкирских сказок положительно оценены известным фольклористом Л. Н. Пушкаревым в его рецензии на сборник «Волшебное кольцо», опубликованной в специальном журнале АН СССР «Советская этнография». Платоновский пересказ большинства сказок признан удовлетворительным и образцовым. Особенно рецензентом выделялась «лучшая сказка» сборника — «Финист — Ясный Сокол», рекомендованная «в качестве образца» (подчеркивалось сравнением с пересказом «Финиста...» А. Любарской). Отмечая высокий художественный уровень языка платоновских сказок («прост, доступен и художественен»), рецензент повторил замечания, постоянно звучавшие в адрес писателей из уст фольклористов; они в основном касались писательских «вольностей» в отношении сказочной традиции, изменения сказочного сюжета («Умная внучка», «Безручка», «Морока»), а также обратил внимание на языковые промахи в сказках Платонова: неоправданное введение стилистических оборотов, характерных не для сказочной, а для религиозной литературы; злоупотребление псевдонародным стилем и нарушающими принятые языковые нормы устаревшими оборотами, почему-то «чуждыми» русскому языку — такими «устаревшими» словами как «страховито» и т. п. Последние замечания адресовались в основном редактору платоновского сборника сказок, «без нужной ответственности и внимания» отнесшегося к шероховатостям языка и стиля Платонова, «которые легко было бы устранить при более тщательном и строгом редактировании» (Советская этнография. 1951. № 2. С. 246—247).

СОДЕРЖАНИЕ

НЕОКОНЧЕННОЕ

БАШКИРСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

КОММЕНТАРИИ

Литературно-художественное издание

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

СУХОЙ ХЛЕБ

редактор
Татьяна Тимакова

художественный редактор
Валерий Калныньш

корректор
Ирина Машковская

Подписано в печать 22.11.2011
Формат $84\times108^{1}/_{32}$
Усл. печ. л. 21,84.
Бумага писчая. Печать офсетная
Тираж 3000 экз.
Заказ № 766.

«Время»
115326 Москва, ул. Пятницкая, 25
Телефон (495) 951 5568
http://books.vremya.ru
e-mail: letter@books.vremya.ru

Отпечатано в соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620990, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
http://www.uralprint.ru
e-mail: book@uralprint.ru